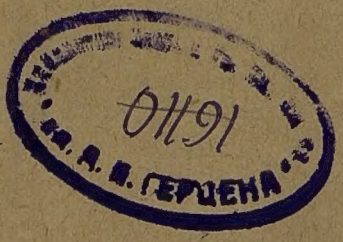
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК

Пров. 50

7832



9 1936

В НОМЕРЕ

ПРОЗА: М. Горький, М. Козаков, А. Мариенгоф, В. Тоболяков, С. Марвич, Петро Панч.

СТИХИ: Б. Корнилов, А. Гитович, Б. Кежун, И. Авраменко, М. Толстая.

НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ: В. Гофман, М. Майзель.

АЛЕКСАНДР БЛОК: С. Тутолмина, Д. Максимов, Н. Степанов.

КНИЖНАЯ ПОЛКА.

ГОСЛИТИЗДАТ • ЛЕНИНГРАД

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

IV пункт

01191
им. А. И. Герцена

00088516 «РГПУ им. А. И. Герцена»

СЕНТЯБРЬ • 1936

9

ЛЕНИНГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

М. Горький — Рассказы 3

Мих. Козаков — Девять точек (конец III книги) 24

Борис Корнилов — Дети (стихи) . . . 55

А. Мариенгоф — Екатерина (фрагменты из романа) 57

Александр Гитович — Стихи 84

В. Тоболяков — Голос (рассказ) . . . 90

С. Марвич — Ижорцы (роман, продолжение) 100

Петро Панч — Наши встречи с Горьким 148

Бронислав Кежун — Барабан. Перед полетом (стихи) 152

Илья Авраменко — Туман (стихи) . . 154

М. Толстая — Дорожному товарищу. Встреча (стихи) 156

НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ

В. Гофман — Горький в борьбе за язык 158

М. Майзель — Поиски решения . . . 170

АЛЕКСАНДР БЛОК

Речь на вечере Союза поэтов . . . 183

С. Тутолмина — Мои воспоминания об Александре Блоке 186

Д. Максимов — Блок и империалистическая война 191

Н. Степанов — Письма А. А. Блока к В. Я. Брюсову 195

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А. Экк — К. Паустовский — Черное море 209

И. Эвентов — Геннадий Фиш — Ялгуба 210

А. А. — М. Бронштейн — Солнечное вещество 211

Т. Хмельницкая — Шервуд Андерсон — История рассказчика 213

Д. Выгодский — Рамондель. Валье Инклан — Арени иберийского цирка . 215

М. ГОРЬКИЙ

О ТОМ, КАК ПОЙМАЛИ СЕМАГУ

(НАБРОСОК)

Семага сидел в кабаке один за своим столиком пред полбутылкой водки и поджаркой за пятиалтынный.

В прокопченном табачным дымом подвале с каменным сводчатым потолком, освещенным двумя лампами, подвешенными к нему, и лампой за стойкой, было страшно накурено, и в тучах дыма плавали темные, рваные неопределенные фигуры, ругались, разговаривая, пели и делали все это очень возбужденно, очень громко и с полным сознанием своей безопасности.

На улице выла суровая вьюга поздней осени, носились крупные липкие хлопья снега, а в кабаке было тепло, привычно пахуче и шумно.

Семага сидел и зорко сквозь пелену дыма наблюдал за дверью, особенно зорко, когда она отворялась с улицы и в кабак входил кто-нибудь. Он в этом случае даже нагибался несколько вперед своим крепким и гибким корпусом, а иногда приставлял к бровям ладонь руки как щит и долго пристально всматривался в физиономию вошедшего — на что у него были весьма основательные причины.

Рассмотрев нового гостя подробно и, очевидно, убедившись в том, в чем ему нужно было убедиться, Семага наливал себе новую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и, насадив на вилку с полдюжины кусков картофеля и мяса, отправлял их вслед за водкой и долго медленно жевал, смачно чавкая и облизывая языком свои щетинистые солдатские усы.

От его мохнатой, большой головы на серую и сырую стену падала странная взъерошенная тень, и, когда он жевал, она содрогалась; это было похоже на то, как бы она кому-то усиленно, но безответно кланялась.

Лицо у Семаги было широкое, скуластое, бритое, глаза большие, серые, прищуренные, над ними темные мохнатые брови, и на левую бровь спускался, почти прикасаясь к ней, курчавый клок волос какого-то неопределенного сивого цвета.

В общем Семагино лицо не возбуждало к себе доверия и даже несколько смущало выражением решимости, несколько напряженной и неуместной, даже и посреди той компании и обстановки, среди которой Семага находился.

На нем было надето рваное драповое пальто, подпоясанное веревкой, рядом с ним лежала шапка и рукавицы, а к спинке стула он приставил свою дубинку довольно внушительных размеров, с шишкой из корня на одном конце.

И так он сидел, кейфовал и, допив свою водку, собирался спросить еще, как вдруг дверь с дребезгом и визгом распахнулась и в кабак вкатилось что-то круглое, лохматое и похожее на большой раздерганный пук пакли, вкатилось и закричало по-детски звонко и очень возбужденно:

— Стрема! Подбирай голяшки, дяденьки!

Дяденьки все вдруг осеклись, замолкли, озабоченно засуетились, из среды их раздался густой и несколько смущенный вопрос:

— Не врешь?

— Лопни глаза, с обеих сторон валят. Конные и пехтурой... Двое частных, околотошники... множество!

— А кого им надо, не знаешь? Не слыхал? — спросили еще.

— Семагу должно. Никифорыча про него спрашивали, — звенел детский голос, в то время как шарообразная фигурка его обладателя суетилась под ногами дяденек, все ближе подкатываясь к стойке.

— Рази Никифорыч попал?—спросил Семага, напяливая на свою мохнатую голову шапку и неторопливо поднимаясь со скамьи.

— Втюрился... сейчас цопнули.

— Где?

— В стенке у тетки Марьи.

— Ты оттуда, что ли?

— Э-э! Я огородами задал лататы, да сюда; а сейчас улепетну в Баржу, там, чай, тоже есть кто.

— Валяй!

Мальчик мгновенно выкатился вон из кабака, и вслед ему раздался укоризненный возглас сидельца, благообразного седенького старичка Ионы Петровича, богобоязненного и сухонького человечка в больших очках и в черненькой скуфейке.

— Экая протобестия, иудин сын!.. А? Хамово окаянное семя! На-ко? Целую тарелку слизал!

— Чего? — спросил Семага, идя к двери.

— Печенки... все с тарелки-то очистил. И как ему, анафемскому змеенышу, доспелось? Хап — и чисто!

— Ну, разорил он тебя! — сурово заметил Семага, скрываясь за дверью.

Вьюга сырая и тяжелая глухо шумела, крутясь над улицей и вдоль ее, мокрые хлопья снега летали в воздухе такой густой массой, точно каша кипела и пенилась.

Семага постоял на одном месте с минуту и прислушался, но ничего не было слышно, кроме тяжелых вздохов ветра да шуршания снега о стены и крыши домов.

Тогда Семага пошел и, пройдя шагов с десять, перелез через забор на чей-то двор.

На него залаяла собака — и как бы в ответ на ее лай где-то фыркнула и стукнула копытом лошадь. Семага решительно перекинулся вновь на улицу и пошел по ней, направляясь к центру города уже быстрее.

Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошел по двору, дошел до отворенной калитки в сад и вскоре без приключений, миновав еще несколько заборов и дворов, шел по улице, параллельной той, на которой стоял кабак Ионы Петровича.

Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.

Все надежные места в эту ночь, когда чорт дернул полицию делать обход, являлись уже не надежными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть в лапы обхода или ночного сторожа,—это не могло улыбаться Семаге.

Он шел медленно и, сощурив глаза, смотрел вперед себя в белую муть вьюжной ночи — из нее навстречу ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и все это было облеплено мягкими комьями снега.

Странный звук раздался в шуме вьюги — точно будто тихий плач ребенка где-то впереди. Семага остановился и, вытянув шею вперед, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.

Звуки замерли.

Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобучив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега нападало за воротник.

У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхая что-то завязанное в узел от снега, засыпавшего эту находку.

— Вот так фунт! Ребенок... Ах ты, сделай милость! — в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.

Находка была теплая, шевелилась и была вся мокрехонька от растаявшего на ней снега. Рожица у нее была немного меньше Семагиного кулака, красная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот все открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротишко текла вода.

Семага совершенно отупел от недоумения, но, чтоб избавить ребенка от неприятной необходимости глотать снежную воду, догадался, что нужно оправить тряпки, и для этого перекувырнуть ребенка вниз головой.

Тому это, должно быть, показалось неудобным, и он жалобно запищал.

— Нишкни! — сказал Семага сурово. — Нишкни! А то я тебе задам. Я чего вот с тобой сделаю? А? Куда мне тебя нужно? А ты ревешь? Ишь ты, дурачина.

Но на находку Семаги нисколько не подействовала его речь — ребенок все пищал и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.

— Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно... и что ты мал ребенок. Но, одначе, куда ж я тебя дену?

Ребенок все пищал.

— Совсем даже мне некуда тебя девать, — решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил ее на снег.

— Так-то вот... А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам вроде как подкидыш в моей жизни. Прощай, значит... Больше никаких!

И, махнув рукой, Семага пошел прочь от ребенка, ворча про себя:

— Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон—обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя—шкуреха. Кабы мне ее узнать, я бы ей ребра обломал и все печенки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе ни покрышки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоска-сухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя... свинья ты! должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они слабые, как в рот снегу нанесет — они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай свое дитя. В сухую ночь и проживет оно дольше и главная вещь увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх ты!

Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял ее на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперед, охваченный чем-то тоскливым, смятенный и от жалости к ребенку, сам уже жалкий как ребенок.

Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжелым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальто у Семаги была только одна рваная рубаха — отчего скоро Семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ребячьего тельца.

— Ах ты, живой! — ворчал Семага, идя сквозь свет куда-то вперед по улице. — Не хорошо твое дело, братец мой! Потому, куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя — ты не возись, лежи! Вывалишься.

Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубахе теплое личико ребенка трется о его, Семагину, грудь.

И вдруг Семага, как пораженный, остановился и громко прошептал:

— А ведь он это грудь ищет! Матернюю грудь... Господи! Матернюю грудь — у меня-то! у Семаги-то?!

Семага задрожал даже от чего-то — нето от какого-то стыда, нето от страха — от странного и сильного, больно и тоскливо щемящего сердце чувства.

— Я... как бы мать! Вразуми, Господи, младенца. Ах, ты, братец мой! Ну, и чего же ты ищешь? И что ты со мной делаешь? Я, брат, солдат, вор я, коли говорить правду...

Ветер шумел глухо и так тоскливо.

— Заснул бы ты. Ты засни. Ну, баю. Спи! Ничего, брат, не вычмокаешь... Спи ты... Я тебе песню спою. Мать бы спела. Ну, ну, ну... О, о, о! Баю, бай. Я не баба. Спи!

И Семага вдруг тихо и, насколько мог, нежно и протяжно запел, наклонив свою голову к ребенку:

Ты, Матанька, дура, шкура,
Не велика ты фигура.

Это он пел на мотив колыбельной песни.

Белая муть на улице все кипела, а Семага шел по тротуару с ребенком за пазухой, и в то время как ребенок, не умолкая, пищал, вор сладко над ним мурлыкал.

Как приду я к тебе в гости,
Обломаю тебе кости.

И по его лицу от глаз текло что-то, талый снег, должно быть; он то-и-дело вздрагивал, у него щекотало в горле и щемило в груди, и было ему до слез тоскливо итти по пустынной улице среди вьюги с этим ребенком, пищавшим за пазухой.

Он все шел, однако.

Сзади его раздался глухой топот копыт, показались в мутной мгле силуэты всадников, и вот они поравнялись с ним.

— Кто идет?

— Что за человек? — раздались сразу два оклика.

Семага дрогнул и остановился.

— Что несешь, говори! — подъехав вплотную к тротуару, спросил его один всадник.

— Несу-то? Ребенка!

— Кто таков?

— Семага. Ахтырский.

— Приятель! А тебя ведь и искали! Ну-ка, айда, становись к морде лошади!

— Нам надо сторонкой итти. За домами-то меньше дует. А середь дороги нам не с руки. Мы и так уж.

Полицейские едва поняли его и позволили итти сторонкой, а сами поехали рядом, не сводя с него глаз.

Так он и шел вплоть до части.

— Ага! Попал, сокол. Ну, вот и отлично! — встретил его частный пристав в канцелярии.

Семага тряхнул головой и спросил:

— А как же теперь ребенок? Куда мне его?

— Что! Какой ребенок?

— Подкидыш. Нашел я. Вот.

И Семага вытащил из-за пазухи свою находку. Она дрябло перегнулась на его руках.

— Да он мертвый уж! — воскликнул частный пристав.

— Мертвый? — повторил Семага и, посмотрев на ребенка, положил его на стол.

— Ишь ты, — подумал он и, вздохнув, добавил: — Сразу бы мне его взять. Может бы он и не того. А я не сразу. Взял, да опять положил.

— Ты чего ворчишь? — с любопытством спросил частный.

Семага сумрачно оглянулся вокруг себя. Со смертью ребенка в нем умерло многое из того, с чем он шел по улице.

Вокруг него была казенщина, впереди тюрьма и суд. Семаге стало обидно. Он укоризненно взглянул на трупик ребенка и со вздохом проговорил:

— Эх ты! Задарма, значит, я втрескался из-за тебя! Диковинка! Я думал и впрямь... ан ты и умер... Штука!

И Семага ожесточенно стал скрести себе шею.

— Увести! — приказал частный пристав полицейским, кивая на Семагу головой.

И увели Семагу под арест.

Вот и все.

1895 г

ТРУБОЧИСТ

РОМАН

Звали его Федька; это был парень лет восемнадцати, светлорусый, с голубыми, ясными глазами, с круглым лицом, шесть дней в неделю вымазанным сажей, хорошо оттенявшей два ряда частых, белых зубов, всегда открытых веселой и доброй улыбкой толстых губ. Проводя большую часть своего рабочего дня на крышах, Федька, несмотря на трехлетнюю жизнь в городе, еще не успел вполне утратить деревенской наивности, шум и бойкая жизнь города не заглушали в нем застенчивости дикаря, и среди печников, своих товарищей, уже просвещенных городом, он пользовался репутацией дурака и „облома".

Почти всегда над ним смеялись — он давал к этому слишком много поводов: не пил водки, не ходил в веселые дома, не играл в орлянку и аккуратно каждый месяц посылал отцу в деревню свой заработок, стараясь тратить только те деньги, которые изредка перепадали ему „на чай" за то, что он вымажет глиной чело печи, выправит „под" или вставит вывалившийся из трубы кирпич.

Над ним смеялись, он в ответ конфузливо улыбался или тоже вместе с товарищами весело хохотал над собой. Это их уже прямо-таки злило, и тогда их шутки над ним принимали все более обидный характер, а это его отталкивало от них и, мешая ему войти в колею их жизни, оставляло Федьку простым и славным парнем среди артели разгульных и циничных печников. Он всегда уходил из дома с бо́льшим удовольствием, чем возвращался в него, и ему очень нравилось лазить по высоким крышам городских зданий, откуда пред ним развертывалась картина города, утопающего в зелени садов, омываемого широкой рекой, за которой могуче развернулись и убежали вдаль к небу яркозеленые луга с темными островами деревень на них, с черными полосами леса, с серебряными пятнами воды, оставшейся от разлива.

Широкий горизонт всегда ласкает глаз и душу и как бы расширяет ее восприимчивость. Часто Федька, усевшись на трубу и покуривая самодельную папиросу, целый час просиживал в молчаливом созерцании жизни внизу, у его ног, и ему очень странным казалось то, что, чем выше он поднимался над землей, тем более суетливыми, маленькими и какими-то несчастными становились все эти люди, бегавшие взад и вперед по улицам города, тем шире и дальше развертывались луга за рекой, чище и глубже было небо над ним. С высоты вся жизнь кажется не такой, какова она на самом деле, — люди мельче, природа — красивее и сильнее, и только небо всегда одинаково недосягаемо для человека. Развивало ли созерцание ум Федьки, и какие мысли рождались в его голове, когда он смотрел вниз и вдаль со своих обсерваторий, — на это трудно ответить, но, несомненно, что на чувства его эти наблюдения действовали, развивая у трубочиста

мечтательность, овевая его душу красотой жизни и вводя в нее склонность к красоте и пониманию ее...

И, быть может, благодаря именно взаимодействию всего этого однажды с Федькой случилось вот что.

Он работал в одном из самых скученных кварталов города, на крыше высокого трехэтажного дома; опуская в трубу веревку с гирей и тряпками, он напевал вполголоса песню и поглядывал по сторонам. Откуда-то снизу к нему тоже неслась песня — такая хорошая, веселая, ясная, точно этот день, весь из солнца и чистой синевы небес. Федьке захотелось узнать, кто это и где поет; он, гремя железом, спустился с конька крыши и заглянул во двор.

Песня была ближе к нему — она неслась из окна чердака противоположного дома. На окне стояли два горшка цветов, и сквозь их листву Федька увидел русую голову девушки, склоненную над работой, длинную косу, перекинутую через плечо и свесившуюся на колена, белые маленькие руки, круглое плечо, обрисованное тонкой белой материей кофточки, ухо, с кудрявой прядью волос над ним, бровь, темную и густую, маленький, задорно вздернутый нос, и угол румяных губ. Видна была еще стена комнаты, оклеенная голубыми обоями, кровать с белыми подушками и в ногах кровати — вешалка с одеждой. Девушка усердно, не поднимая головы, шила и пела, а Федька уселся на краю крыши и, обняв колена руками, с улыбкой смотрел на нее.

А ее головка, точно в рамке, рисовалась в окне и цветах... Солнце не заглядывало еще к ней в комнату, и она сидела в тени такая белая, красивая. Трубочист, наверное, долго бы сидел так, разглядывая ее, но вдруг она подняла голову и взглянула в окно. Черная рожа с оскаленными белыми зубами смотрела с крыши прямо на нее. Она отшатнулась. Сконфуженный Федька встал на четвереньки и снова, гремя железом, полез на конек, к трубам.

И вот с этого момента в его памяти запечатлелась эта русая головка девушки в окне и цветах. В ближайшую субботу он чисто вымылся в бане, а в воскресенье, надев на себя свой праздничный костюм, он отправился к этому дому с чердаком и почти целый день дежурил около него. Он не имел никакой определенной цели, но ему было бы очень приятно увидать ее, эту девушку.

Но он не видел ее... И ушел к себе на квартиру с чувством какой-то странной скуки, неведомой ему до той поры. Он знал, что долго не увидит ее — до следующей чистки труб в том доме. В нем трубы чистились два раза в месяц, и Федька едва дождался следующей чистки, и то ускорив ее на день.

Он снова долго просидел на крыше, с мечтательной улыбкой уставив к ней в окно свое черное лицо. Он смотрел на нее и ничего не думал, но ему было хорошо. В этот раз она не пела, а шила молча и очевидно торопясь — Федька следил, как быстро сверкает иголка в ее руках, слушал треск разрываемой руками девушки материи и все улыбался. Ему казалось, что никто не умеет шить так ловко, как эта девушка.

Но вот он нечаянно задел ногой за жолоб крыши — звук железа заставил девушку вздрогнуть и взглянуть в окно. Федька смутился и притворно начал рыться в жолобе, как бы что-то делая, а когда он искоса взглянул в окно — девушка уже шила, не обращая на него внимания. Ему же захотелось снова вызвать его; он был бы очень доволен, если б ему удалось

рассмотреть, какие у нее глаза, и вот, чтобы заставить ее еще раз взглянуть на него, он изо всей силы стал громыхать ногами по железу крыши, сделав себе озабоченное лицо, хотя это и было излишним, ибо густой слой сажи на щеках и на лбу скрыл бы даже выражение ужаса.

Его прием оказался недействительным: больше она не взглянула на него.

Неохотно, опечаленный, полный какого-то смутного и давящего чувства, слез Федька с крыши. Потом он еще видел ее раза два, — все там же, с крыши; на улице — как усердно он ни дежурил перед домом, где она жила, — он ни разу не встретил ее. А ее головка все ярче и рельефнее вырезывалась в его памяти, и он почти всегда имел ее перед своими глазами; следовало только закрыть их — она тотчас являлась как живая. И представляя ее себе, Федька довольно улыбался, как бы сам перед собой хвастался силой своего воображения, — а среди его товарищей его улыбки еще более укрепляли за ним репутацию придурковатости.

Однажды, счастливый предвкушением видеть ее, он быстро как кошка взобрался по лестнице на крышу, торопливо съехал на другую ее сторону, радостно взглянул в окно... Медленно отклонился назад, уперся ногами в жолоб и замер, глупо и смешно раскрыв рот.

Был вечер уже. Красноватые и косые лучи солнца падали через окно в комнату, прямо на белую постель у стены и на обнаженную грудь девушки, сидевшей на ней. И постель, и белое тело казались посыпанными розовато-золотистой пылью и на листах цветов в окне тоже трепетало солнце летнего вечера. Рядом с девушкой сидел мужчина в черных, больших усах, он обнимал ее одной рукой за шею, а другой отклонял ее голову назад, подолгу целовал ее прямо в губы, и при этом один его ус ложился к ней на плечо; она же сжалась вся в маленький комок и, прильнув плечом к его груди, гладя руками то его щеки, то голову и шею, улыбалась ему, и губы ее, когда Федьке было видно их, все двигались.

Не вычистив трубы, Федька слез с крыши и пошел на квартиру. Пришел, разделся, вымылся и лег спать. Но не мог уснуть.

Ему все чудилось это давешнее. С удивительной реальностью возникала в его голове эта картина счастья и, наконец, ему стало тошно и душно в сарае, где он спал. Он вышел к воротам дома, на улицу, и всю ночь, до рассвета, просидел, прижавшись к стене, неподвижный, прислушиваясь к тому, что делалось внутри его и не понимая ничего. Так чувствовал он себя года два тому назад, когда кто-то украл у него семь рублей с полтиной, — первый его заработок, который он хотел послать отцу, в деревню. Но тогда все-таки было будто бы легче. Прошел день и другой, но память Федьки не хотела освободиться от этого впечатления. Ни работа, ни утомление, ни обидные шутки товарищей, говоривших ему, что он с каждым днем становится все более бестолковым, — ничто не стирало из его памяти той красивой сцены.

Пришло воскресенье. После обедни Федька, по обыкновению, отправился с артелью пить чай в трактир и вдруг, ко всеобщему изумлению, спросил себе бутылку пива. Это вызвало смех и ряд глумлений над дурковатым парнем, с бледным лицом и большими, печальными, широко раскрытыми глазами, смотревшими как-то неопределенно, точно за всем, на чем они останавливались, им рисовалось что-то другое. Он выпил один стакан, другой, потом ему поднесли водки — любопытно было посмотреть, каков этот дурень пьяный? Но он оказался совсем неинтересным — напился и вдруг заплакал... Молча, ни слова не говоря никому, он сидел за столом, по-

ставив на него локти, и его слезы, падая со сморщенного лица на залитый пивом, чаем и водкой поднос, смешались со всем этим. Некому было пожалеть этих слез, достойных лучшей участи, но кто-то после долгих измывательств над этим парнем отвел его на квартиру и там уложил спать.

С этого дня Федька все чаще и чаще прибегал к единственному источнику забвения для простой, темной души, к жидкому, бесцветному огню, быстро и верно выжигающему из человеческого сердца все человеческое. В глазах товарищей это возвышало его — он становился угрюм и драчлив в пьяном виде, они даже несколько побаивались его и уже не смеялись над ним так, как прежде. Это всегда так бывает — чем ниже и хуже человек, тем он нам понятнее и ближе, пожалуй, и дурные люди всегда пользуются у нас бо́льшим вниманием, чем хорошие, ибо для каждого из нас сравнение с дурным выгоднее, чем с хорошим. Прошло много времени для Федьки, три раза уже он был на той крыше и все три раза устоял от искушения взглянуть в окно той девушке. А хотелось...

В четвертый — не устоял. Это было в августе, уже в конце месяца... Дыханье осени уже позолотило зелень деревьев, и по небу все чаще бродили обрывки туч, а воздух стал прозрачней, и даль горизонта глубже.

В день, когда случилось это с Федькой, шел мелкий, спорый дождь и всюду — на земле и небе — было скучно, серо и сыро. Однообразно окрашенные тяжелые тучи закрывали все небо своим хмурым пологом, и из них сыпался бесконечный, точно сквозь сито просеянный, уныло шумевший дождь. Железо крыши было мокро и скользко. Федька, стоя у трубы, весь мокрый, чувствовал, что воздух какой-то прелый и тяжелый, что у него, Федьки, с похмелья болит голова и что, сойдя с крыши, нужно будет еще раз зайти в кабак и еще раз выпить.

И вдруг его ноги как-то сами собой поехали вниз по крыше, туда, к окну... За ним с грохотом катилась гиря. Федька доехал до края крыши, уперся в жолоб ногами, как это он делал, бывало, раньше, заглянул в окно...

Его сердце радостно забилось, и он чуть не захохотал от удовольствия. Она была там, эта русая девушка, и он, он, черноусый, был с ней, но она прижалась боязливо к стене, а он, выпятив грудь колесом, стоял перед ней и, поднеся к ее лицу большой кулак, грозил ей. Она спрятала руки за спину и была вся такая расстроенная.

— Не дашь? — густо, вполголоса крикнул ей человек с усами и подвинулся на шаг ближе к девушке, как бы намереваясь втиснуть ее в стену своей выпяченной грудью.

Она, молча вынув одну руку из-за спины, протянула ее к нему, а другую подняла над своей головой.

— То-то! — сказал он ей. — Испугалась, бестия. А теперь, — прощай! Опять придешь, покланяешься мне; тогда, может быть, я приду... Знаю я вас!.. Не ты первая у меня... Ну — целуй!

Она, обняв его за шею, поцеловала в губы. Тогда он ушел, ни слова больше не сказав ей, а она бросилась грудью на стол перед окном и крикнула сдавленно и глухо:

— Господи!

Федька видел, как ее толстая коса метнулась в воздухе, как она хлопнула себя ладонями по щекам, как потом задрожали ее плечи. Он слышал воющие звуки ее рыданий. Сначала ему понравилось видеть ее так. Сладкое, новое для него чувство защемило ему сердце, и он хотел что-нибудь гаркнуть ей с крыши, но когда она заплакала — ему стало до боли жалко

ее. Ведь он по себе знал, что чувствуют люди перед тем, как у них потекут из глаз слезы. Горячее желание сказать ей что-нибудь ласковое охватило его.

— Барышня! — зашептал он, наклоняясь с крыши.

Она, конечно, не могла слышать его шопота.

— Барышня! — громче, и больше наклоняясь, крикнул он.

Она не шевелилась, а плечи ее все дрожали, и она схватилась руками за голову.

— Гляньте-ка сюда, барышня!.. — тревожно крикнул Федька.

Тут она вздрогнула и подняла голову, но он был несколько выше ее, а ее глаза были затуманены слезами — она не видела его, свесившегося с крыши к окну.

Он же все ближе к ней старался вытянуть свое лицо, в этот день не особенно черное — шел дождь и Федька после каждой работы умывался из водосточных труб.

Она снова бросила голову на руки и снова раздались воющие звуки.

— Э-эх! — крикнул Федька — и что...

Теперь она увидела его — большим, черным комом он пролетел в воздухе мимо ее окна и на секунду скрыл собой свет.

Потом, снизу до нее долетел глухой, тяжелый звук. Она бросилась вон из комнаты вниз и скоро стояла на дворе, глядя изумленными и заплаканными глазами на Федьку. Он лежал на спине, глаза его были открыты, одна рука на груди, другая отброшена в сторону.

Около него уже стоял дворник и задумчиво чесал поясницу, какая-то кухарка с воплем мчалась по двору, всюду на дворе раскрывались окна.

— Сверзился... — сказал дворник, вздыхая.

— Я видела, как он летел около моего окна... Какой молодой... глаза-то какие большие, добрые... — вздрагивая всем телом, говорила девушка.

Но Федька не мог уже слышать ее — он умер от того, что разбил себе череп и переломил спину. А если бы слышал — наверно был бы очень доволен ее словами...

... Да, роман этот скучен, но у него есть два достоинства: он краток и правдив.

Вы, быть может, не верите в такую любовь трубочиста?

Полноте, все мы люди одного бога и слишком самонадеянно и смешно претендовать кому-либо из нас на исключительность *чувств*.

1896 г.

СНЫ

I

КАТАСТРОФА

... Пароход шел вниз по течению. Перед ним стояла гора, а над ней собрались густые тучи. Тени ночи ложились на воду, она была спокойна и казалась впереди парохода широкой полосой темного бархата, а сзади его, разрезанная железным килем и разбитая плицами колес, волновалась, была покрыта пеной, и над ней плавал такой звук, точно она роптала на это железное чудовище, нарушившее ее покой.

Глухие, ритмически правильные удары плиц и этот ропот недовольной реки порой позволяли уловить еще один звук — он доносился откуда-то издали и был слаб и печален. Должно быть, это волны бились о берега. Небо было покрыто обрывками облаков — глаз не мог уловить, куда они плыли — пароход шел так быстро. Между облаками на синих пятнах неба поблескивали звезды, казалось, они только что проснулись. Впереди парохода было очень темно, и река как бы упиралась в гору и уходила под нее. Кое-где по берегам мигали огоньки, иногда доносился лай собак, печальный звук деревенского колокола вздыхал протяжно и уныло.

Угрюмо работала машина парохода, и корпус его вздрагивал в напряженном стремлении вперед. На воде, взволнованной и вспененной, отражались огни. Светлыми пятнами, лишенными форм, они скользили по пене волн и, если долго смотреть на них утомленному глазу, они рисовались в форме стаи полурыб-полуптиц, молчаливых и любопытных, плывших около борта парохода и готовых взлететь на него. Что-то мечтательное, смягчавшее ум и душу, смутное и ласковое, несла с собой приближавшаяся ночь. Все, чего она касалась своими темными крыльями, становилось мягче; звуки, концерты далеких берегов, были так меланхоличны, а звезды блестели все ярче...

В шумном стремлении гигантского здания из дерева и железа — стремлении таком обычном для глаза и ума днем, было что-то фантастическое этой ночью. Впереди так темно, небо так печально, шум парохода мрачно глух и голоса его пассажиров так разнообразны. И все это слито в одну гармонию, сильную и полную странных намеков на что-то. Там, далеко во тьме, чуть виден огонек, и кажется, что это именно к нему стремится по реке судно, полное людей. А он что-то обещает...

Сидя на галлерее парохода, я смотрел на него, охваченный мечтательным настроением и отдаваясь разным фантазиям, возникавшим в мозгу, полной грудью вдыхал влажный и теплый воздух ночи. В такие моменты всегда хочется счастья и, как это ни глупо, ждешь его с чувством сладкой грусти о нем и со странным упорством, совершенно забывая, что оно не только никогда не идет навстречу, но еще требует усиленных и долгих и большей частью бесполезных поисков его. Едва ли кому известное, но всеми желаемое, оно неуловимо, как мечта.

... Я долго сидел, охваченный этим настроением, как вдруг она снова явилась на галлерее.

Она — это девушка, которую я еще заметил на берегу и несколько раз в течение дня встречал на пароходе. Не скажу, чтоб она была очень красива — нет. Высокая, тонкая, гибкая, она ходила мимо меня беззвучно как тень, лицо ее было овально, строго, бледно, глаза, темные и большие, были задумчивые, и вот в них именно, в их рассеянном, неопределенном взгляде было что-то, что возбуждало во мне желание выдвинуться пред этой девушкой и обратить на себя ее внимание и остановить на себе ее взгляд. Почему-то думалось, что если этот взгляд, ласковый, внимательный и нежный, сосредоточится на моем лице, — в этом и будет мое счастье. Оно сразу вместе с ее взглядом проникнет в мое сердце, оживит, освежит его, зажжет многими желаниями, возбудит мой дух, изощрит ум. Даже и тогда, когда поиски счастья трагичны, — человек несколько смешон, гоняясь за ним, я же просто мечтал. Я насвистывал нежные мелодии и принимал красивые позы, но она не обращала на меня внимания. Мне было обидно это, как и всякому мужчине было бы обидно. Но затронутое самолюбие не подавляло собой моих фантазий, и мысленно я уже очень близко подошел к этой девушке. Я говорил с ней об одиночестве, и она, еще не глядя на меня, уже слушала мои речи. Вокруг нас была элегия и я старался гармонировать с ней. Я говорил о том, как это бывает мучительно, когда человек удаляется от жизни вследствие недоверия к ней, не понимая ее, или вследствие того, что он оскорблен ею. Она, равнодушная к его думам и чувствам, кипит вокруг него, а он, не умея слиться с ней, сидит в своей маленькой комнатке, и из всех углов этой комнаты на него смотрят темные глаза одиночества. Гибнут мысли, потому что их некому высказать, вянут чувства, ибо их не с кем разделить, и человек умирает ранее, чем его коснется смерть.

Один ласковый взгляд, слово, сказанное сердцем, быть может, со многим помирили бы его.

Рука товарища-женщины указала бы ему место в жизни, ободренный, облагороженный дружбой, согретый любовью, он мог бы жить и делать жизнь, а не медленно умирать и только думать о ней.

Потом я говорил этой девушке о ней самой. Что в том, что я ее вижу впервые? Она мне кажется именно той, которая могла бы научить меня жить. Я с первого взгляда почувствовал, что именно она может сделать это. Я уже люблю ее, да люблю! Разве на это много нужно времени? Хорошо любят именно сразу. Пусть она позволит мне быть ее рабом, если думает, что я не стою ее любви и дружбы. В ней так много скрытой внутренней силы — это видно по ее темным глазам. Пусть же она, богатая, будет и щедрой, пусть она поделится со мной тем, чего у нее много, а у меня — нет...

Я погибну, я чувствую, что именно она, только она могла бы оживить меня, и я погибну, если она не поможет мне.

— Послушайте... — начала она, не поднимая головы и не глядя на меня, — послушайте, ведь согласитесь, что все, что вы говорите, по меньшей мере странно...

Какой у нее был мягкий, глубокий, за сердце хватающий голос! Я с наслаждением дождался, когда его последний звук погас, и мне стало жалко его и себя. Я все горячее продолжал убеждать ее. Я говорил ей, что она одним пожатием руки и взглядом может пробудить во мне силу и сделать способным на подвиги.

Да, я и теперь уже способен на них — ее близость оживила меня. Разве это не доказательство моей любви? Пусть она испытает меня! Я готов на все ради того, чтобы заслужить ее ласковый взгляд. Чего она хотела бы?

— Я верю вам... — тихо шепнула она.

Я громко крикнул от восторга и бросился к ее ногам.

И в тот же момент, как бы в виде стоустого эха моего восклицания, по всему пароходу пронесся крик ужаса и смятения:

— Горим!

— Пожар!

Тысячи змей шипели в воздухе, гулко грохало какое-то железо, ревел свисток парохода, рыдали женщины, кричали мужские испуганные и грубые голоса, слышались всплески воды, точно в нее падали тяжелые камни. На темном небе надо мной пылало зарево и сзади парохода было неестественно светло для этой ночи без луны — там, на корме, где громко топали ноги по палубе, что-то шуршало, как будто тяжелый кусок материи волочили по дереву. Детский звонкий голос пронзительно кричал:

— Мама-а!

И тонул в этом адском шуме. Гремели цепи. И все шипели змеи — это огонь сладострастно пожирал судно. Я оцепенел. Мимо меня неслись и куда-то прыгали во мрак люди с бледными физиономиями. Их волосы развевались по ветру, рты были открыты, они хрипели, кричали, и страшно сверкали в дрожащей тьме белки их широко раскрытых от ужаса глаз.

Клубы дыма то-и-дело опахивали меня, становилось жарко и тесно на носу парохода, где я стоял, прижавшись к стене кают.

Человек в белой куртке и в колпаке повара, размахивая перед собой тяжелой кастрюлей, добежал до перил галлереи, вскочил на них, и, бросив вперед себя кастрюлю, прыгнул в реку вслед за ней. Полураздетая женщина хотела сделать то же, взглянула через перила в темную воду и с криком отчаяния, закрыв лицо руками, опрокинулась назад. Кто-то вскочил ей на грудь, чья-то нога наступила на ее белую руку и скрыла ее под собой.

А пароход все мчался вперед, и все яростно шипел и трещал огонь на его корме. Река сзади его стала багровой, пена на ее волнах казалась кровью, и черные точки плавали в ней, неистово взывая о помощи. Снопы искр летали в воздухе и падали на эти фигуры.

Высокая женщина с распущенными по плечам черными волосами взмахнула над своей головой чем-то маленьким, белым и плачущим, и это, мелькнув в воздухе, исчезло с пронзительным криком за бортом. Человек в соломенной шляпе, которая тлелась на его голове, испуская от себя струйки дыма, сел у моих ног и стал раздеваться. Кто-то большой, хрипло кричащий, наскочил на него и с проклятием покрыл его своим телом, кто-то еще вспрыгнул на них, на перила и исчез...

— Руби топором! — грозно ревели внизу...

Слышались удары, вода все всплескивала, и огонь шипел, монотонно, однообразно, не торопясь, уверенный, что все, что хочет он пожрать, он пожрет.

Происходило что-то неуловимое глазом, но грандиозно трагическое. Люди являлись, исчезали, сбивали друг друга с ног, дрались, вырывая один у другого из рук какие-то доски, стулья, тащили тяжелую скамью и бросали ее за борт, откуда раздавался дикий крик о помощи, которой все просили и никто не давал.

Толстая, полуобнаженная старуха в белых лохмотьях, развевавшихся по

ветру, медленно шла ко мне, держась рукой за стену, и заунывно пела. Подбородок ее трясся, открывая беззубую нижнюю десну, и в глазах не было ничего, кроме ужаса. Кто-то ударил ее сзади, и она упала и тотчас же на нее упали другие, образовалась куча барахтавшихся людей. Они выли как звери, били друг друга, на них падали еще и еще люди. Вот эта гора живого мяса подкатилась к перилам галлереи... Треск и все упали вниз, воя и рыча.

Становилось нестерпимо жарко, вода шипела, соприкасаясь с огнем, в воздухе летали горящие головни, и их отражения в воде мелькали как золотые рыбы.

— Господи, спаси! — отчаянно воззвал кто-то.

Два мальчика, взяв друг друга за руки, мелькнули мимо меня как птицы. Люди все метались, полные животного ужаса, действуя без признака ума, толкая друг друга, ударяя, ругая, бросались с воплем в воду! Где-то лопались стекла с надрывающим душу тоскливо-громким звуком. Пароход все летел вперед, и казалось, что теперь он идет еще быстрее, подгоняемый огнем на его корме.

Огонь опрокидывался назад и развевался в воздухе как громадное знамя, цвета крови, и вода под ним была тоже пурпурная.

— Руби! Спускай! — ревели внизу.

И вдруг предо мной впереди встало что-то высокое, черное, страшное, уходившее вершиной в небо. Оно быстро приближалось ко мне, и я понял, что буду раздавлен, когда оно столкнется с пароходом. Но я не мог сделать ни одного движения, хотя мне было жарко и уже над головой моей где-то шипел и свистал огонь. У моих ног возилась и стонала раздавленная, сумасшедшая старуха. Все ближе, ближе надвигалось то, что было впереди... это горный берег реки, почти отвесный...

Удар и страшный треск и толчок. Я был сорван с места и, пролетев как камень сквозь пелену пламени, упал в воду...

Во мне как бы разорвалось что-то с глухим шумом... Вода свистела мимо моих ушей, выбрасывая меня на свою поверхность.

Я вижу пароход, весь объятый пламенем, вонзившийся на берег, исковерканный... он был бел и красив как лебедь! Вокруг меня борются с водой, поглощающей их, люди. Но они уже не кричат. Они тяжело дышат, хрипят странно, ухают и исчезают в воде. Иные держатся за какие-то доски, скамьи...

О, если бы и мне доску! Я жадно смотрю вокруг, и мне так трудно удержаться в воде под градом огненных искр, осыпающих меня. И вдруг она сама толкнула меня в грудь. С радостным рычанием, счастливый и жадный, я крепко обнял руками кусок дерева и прижал его к себе со страстью, с негой, так, как бы это была моя возлюбленная. Я смеялся даже... Но доска стала погружаться в воду.

— Мы утонем оба...— вдруг услышал я дрожащий тихий голос.

Кто это говорит? Кто это? На другом конце доски, в расстоянии не более четырех аршин от своего лица, я увидел лицо... ее лицо! Лицо той девушки, которая была со мной там, на пароходе, которой я говорил о любви... Ей, этой девушке, я обещал совершить подвиги... Неужели она сейчас будет требовать от меня их? О!

Я опустил глаза, чувствуя, что она пристально смотрит на мое лицо... Доска же погружалась в воду.

— Возьмите себе другую...— услышал я.

Но когда я посмотрел вокруг, то не увидал ничего, за что можно бы было ухватиться.

— Мы не удержимся вместе...— говорила девушка.

Разве я не понимал этого?

— Кто-нибудь должен рискнуть собой...

Да, один из нас должен выпустить доску из рук, это так. Но ведь права всех людей на жизнь одинаковы...

Я захлебывался уже. Мне очень хотелось с силой дернуть доску к себе. Тогда она выпустила бы ее из рук. Но, может быть, где-нибудь близко плавает другая доска?

Вокруг нас была гладкая поверхность, и кое-где на ней порой виднелись какие-то черные пузыри. Это были головы утонувших. Я тоже утопаю.

Пароход горел так, как бы это цвел колеблемый ветром громадный куст красных и желтых цветов.

Вода шумела у меня в ушах, и голова моя кружилась. Я медленно погружался в воду...

— Ну, пусть тогда я...— едва коснулся моего слуха тихий шопот.

И вслед затем я почувствовал... что доска приподнимается кверху... Пора было! Пора, ибо еще момент, и я вырвал бы ее из рук этой девушки. Вырвал бы...

Ее голова еще раз мелькнула на поверхности воды. Потом показалась рука.

Потом все исчезло. Остался я, и много спокойной, темной, тяжелой воды вокруг меня. Она тянула меня книзу, коварно лаская мне плечи и щеки.

Но я уже не боялся ее — доска могла свободно удержать меня. Я спокойно плавал с ней, ожидая помощи... Она должна была скоро притти— ведь видят же с берега этот догорающий пароход, слышат, как шипит вода вокруг него и как свистят языки пламени. Вода все толкала меня книзу. Она тихонько упиралась в мое левое плечо и сотрясала его...

— Вы уроните за борт шляпу... проснитесь!

Я вздрогнул... вскочил... И изумился — утопленница, мягко улыбаясь, стояла на галлерее сгоревшего парохода и смотрела мне в лицо мягким ласковым взглядом темных глаз...

— Вы уронили бы вашу шляпу в воду,— повторила она.

— Сударыня, простите...— умоляюще начал я,— т. е. благодарю вас, сударыня!

— Не за что...— ласково сказала она и, кивнув мне головой, бесшумно ушла.

Я с волнением посмотрел ей вслед. Как я был рад, что не утопил ее!

Светало. На небе загорался румянец утра, а река блестела как сталь, вся такая холодная и важная. Зеленый горный берег был так приветно ласков, вдали туман носился...

На небе гасли звезды. В душе горела радость.

Так я не утопил эту девушку?!

1896 г.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

(ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ)

...Летом Варвара Дмитриевна часто уходила с дочерью на целые дни в Черемухинский бор, и почти всегда ее сопровождала нянька купца Хрянова с его внуком, шестилетним Ванюшкой. Был он такой же солидный, как Люба, — крепенький мужичок, большелобый, остриженный в скобку. Иногда за ними шагал, толкая перед собой колясочку с безногой и немой Лидочкой, дочерью воинского начальника Будоговского, денщик его, черноусый Нифонт Капендюхин, человек невеселый.

Приходили к лесу, и где-нибудь на опушке его дети играли в траве, разглядывая близкую им жизнь букашек, а солдат, вздыхая, рассказывал о своей родине и вполголоса, задумчиво напевал родные песни.

Тихо качают зелеными лапами огромные душистые сосны, осеняя детей пахучей тенью, шуршит, опадая с ветвей, прошлогодняя золотистая хвоя, звенят серые, пушистые московки, стучит дятел, гудят пчелы и осы, в кустах орешника заливаются красногрудые малиновки и пеночки, в кронах сосен щелкают клесты — служит земля свою летнюю обедню, кадит в голубое небо благовонными запахами и молитвенно-тихо льется в воздухе поток ласкающих душу звуков.

Капендюхин неотрывно смотрит в широкое доброе лицо Марьи, тихонько, певуче выводя мягким голосом сердечные слова песни:

Не дай, боже, смерти,
В чужини умерти,
Там нихто не посумуе
О твоей смерти...

Люба и Ванюшка лежат на земле, рядом друг с другом, и девочка, протягивая руку вперед, таинственно внушает товарищу:

— Ты смотри не вниз, а прямо так...

— Я знаю, — басом говорит Ваня.

Если лечь грудью на землю и смотреть в зеленые сети трав, глазам откроется множество чудесных вещей, развернется перед ними забавная жизнь маленьких умных существ.

Дети знали это; набегавшись, усталые, они подолгу молча и неподвижно наблюдали острыми глазками то, что делалось в траве.

Тяжело покачиваясь на растопыренных лапках, идет круглый черный букан, задевает боками за стебли, золотые и серебристые у корней, кружится, путается, шевелит усиками.

— Это — колдун, — шепчет Люба.

Ванюшка, подумав, говорит:

— Купец. А то — поп.

— Почему?

— Толстый.

— А колдуны не бывают толстые?

— Я не знаю. Это — купец. Он пьяный — видишь?

Рубиновая божья коровка долго ползла вверх по стеблю травы, дошла, наконец, до метелки, раскрыла надкрылия, затрепетала и, наткнувшись на лист буковицы, свалилась на землю, лежит на спине, перебирая черными ножками в воздухе; большеголовый муравей тащит куда-то кусочек рыжей хвои, к нему подбегают другие и, пощупав труженика усиками, озабоченно бегут дальше.

— Видно — плотник, — соображает Ванюша, посапывая широким носом.

Ползет бронзовая жужелица:

— Монахиня, — говорит Люба, а Ванюшка, взяв в руку тонкую былинку, мешает монахине итти своим путем.

— Не трогай, — просит Люба, останавливая его руку, — она домой идет, а там дети...

На листе подорожника притаился незаметно зеленый лесной клоп. Ванюшке почему-то кажется, что это мировой судья.

Жизнь растет перед глазами детей, и они, погруженные в созерцание ее маленьких чудес, воспринимают их как букашки: невысокая трава для них — густой, мощный лес, комок земли — огромный холм и жуки — становятся близки, понятны.

В коляске неподвижно лежит Лида, полуоткрыв большие серые глаза. Марья покачивает зыбкую коляску, тихонько скрипят рессоры и немолчно раздается задумчивый голос черноусого солдата.

Марья, не мигая, смотрит в лицо ему добрым бабьим взглядом и порою просит, смущенно улыбаясь:

— Варвара Дмитриевна, ну-те-ка, скажите ему, чтоб он еще попел чего-нибудь... Уж больно хорошие песни у них, такие жалостные, так сердце и обнимут...

Капендюхин, не ожидая, когда казначейша попросит его, приподнимает густые брови, лицо у него становится удивленным, и он вполголоса, точно шелковой ниткой, вышивает в мягком воздухе красивую песню:

Ой, бида, бида,
Чайци небози,
Що вивела диток
При бытий дорози...

Песня вызывает детей из сказочной зеленой страны и, разморенные солнцем, они лениво подкатываются к ногам солдата.

Там чумаки йшли,
Чаенят найшли,
Чаечку загнали,
Чаенят забрали...

Жалобно и тихо сказывает Капендюхин, потирая левый глаз, а Марья, опустив голову, сморкается.

Непрерывным широким потоком над землею течет густой и тихий шум жизни. Гудят пчелы, поют птицы, шелестит трава, сладостно сочными звуками отвечают всему древний хвойный бор и всех выше, звонче и радостней разливается в голубом жарком небе невидимый жаворонок.

Маленькая девочка Люба, покачивая кудрявой головкой, на четвереньках подходит к матери и, влезая на колени к ней, тихонько спрашивает:

— Отчего они плачут?

— Им жалко чайку...

Варвара Дмитриевна сидит с книгой в руках на обнаженном корневище мачтовой сосны, могучая ветвь дерева протянулась в поле, под солнце, и душистой, узорчатой тенью своих лап осеняет маленькую женщину в сером платье с добрым и строгим лицом.

Дочь смотрит вверх, вокруг и, улыбаясь, говорит:

— Мама, ты тоже как букашка ма-аленькая, вот такая — знаешь!

И показывает матери верхний сустав своего мизинца, выпачканного землей и смолой.

— У дида моего було до двадцати пар волив, — гудит солдат, покачивая головою, — чумаковал он, и отец мой, и дядья то же; отец, когда был еще маленький, ходил за рыбою, а до моря, у самый Крым, сулу возили, табак и тарань. Сто три года було диду, когда помер он, да. А перед волей — разорил его помещик, чисто разорил...

Ванюшка, лежа на коленях солдата, усердно старается закрутить вверх его жесткие, черные усы и мешает ему говорить.

— Тоскуете о своей земле? — вздыхая, спрашивает Марья.

— Эх, ненько, ненько! — отвечает солдат, осторожно отводя руку мальчика от усов. — Та як же не тоскувати?

— Не говори, — просит Ванюшка.

И всех поочередно измеряет, щупает из коляски странный взгляд немого ребенка. Голова Лидочки острая, вытянутое личико старообразно, и на нем беспокойно катаются круглые черные глаза. Но если на коляску сядет бабочка, муха или какая-нибудь букашка, — темные зрачки сбегаются к переносью, замрут в остром взгляде, тонкая сухая ручка осторожно вытягивается к живому существу и если успеет схватить его, то сосредоточенно и медленно обрывает ему ножки, крылья, а когда живое улетит, глаза девочки долго и тоскливо следят за ним.

— Чортова дура! — кричит мальчик, высовывая язык и грозя кулаком.

— Ай, Ванюшка, — останавливает его Марья, — разве можно ругаться!

— Дедушка же ругается...

— Лидочка больная ведь, она убогенькая...

— Живодерка! — бунтует Ваня.

А Люба обиженно просит:

— Мама, не вели ей ловить мух. И никого не вели...

Варвара Дмитриевна, успокаивая взволнованных детей, рассказывает им что-нибудь, они оба прижимаются к ней, полудремотно слушают, глядя в ее красивое лицо, и неуловимыми словами, тонкие, как золотые паутинки, мудрые думы опутывают их легкой сетью.

Капендюхин и Марья в такие минуты незаметно отходят в сторону, за деревья, идут они туда не торопясь, будто нехотя, точно повинуясь чьему-то приказанию, возвращаются, не глядя друг на друга, нето смущенные, нето поссорившиеся.

Но однажды Марья вышла из леса быстро, лицо ее было облито слезами, она отирала их со щек ладонью — и, улыбаясь виноватой улыбкой, подошла к Варваре Дмитриевне, опустилась на землю около нее и, поцеловав ее в плечо, громко всхлипнула или засмеялась.

— Ну, побегайте еще немножко, — торопливо сказала казначейша детям, — а потом — домой! Живо!

— Я буду ласточка! — вскрикнула Люба, бросаясь бежать.

— А я — ворон! — объявил Ванюшка, подумав; сел на корточки и,

прыгая вслед за подругой, как лягушка, начал басом каркать, а потом поднялся и, широко разводя руками, плавно побежал в поле.

— Что, Маша? — ласково спросила казначейша, гладя женщину по голове.

— Милая, — задыхаясь и покраснев, начала шептать нянька, — милая вы моя барыня, согрешили мы! Не думала, не гадала, так — сразу: говорили, говорили все о хорошем, да как-то вдруг и обнялись, да крепко-крепко — ах, мать пресвятая богородица! Как же теперь? Посоветуйте вы мне, поучите вы нас — что делать-то будем? Боюсь уж теперь, сама я не своя буду и уж не знаю ничего...

Шептала, а в голосе ее и на лице горела пьяная радость и глаза блестели великим счастьем.

— Дай вам бог добра, — тихо и ласково сказала барыня, — он, кажется, хороший человек...

— Ай, Варвара Митриевна, какой славный! Так хорошо на смешном языке говорит — ненька моя! а я его на три года моложе! — спасибо говорит, за ласку вашу — это он-то мне! И все на вы, ей богу! Нифонт! — радостно и громко закричала она, — идите сюда! скорее...

А он, наклоня голову, уже стоял сзади них, отковыривая пальцем кору сосны, и на зов Марьи ответил смущенно и виновато:

— Тут, пани Варвара, дело божие; вона, Марья, така гарна людина и стала як сестра ридна мини. И говорим вместе, и молчим вместе. Ту божью мне ласку, той подарок, ее я ж принимаю честным сердцем — вы не беспокойтесь, пани, и вы, ненько! Мы поженимось — мне що один год семь месяцев и одиннадцать дней служить, а потом я уже и свободен весь.

— Голубушка, — перебила Марья, — не могу даже сказать, как жалею его: говорит он про степи, про волов этих — а я реву! Один, сторона чужая, говор другой даже... Думаю-Господи!

Варвара Дмитриевна смотрела на них, весело улыбаясь, ей хотелось сказать им какие-то хорошие, на всю жизнь памятные слова, сказать от полного сердца, но в нем тихонько билась маленькая грусть и было в нем немножко зависти чужому счастью.

Подбежали дети, красные, встрепанные, задыхаясь, свалились на землю, причем Ванька больно стукнулся коленом о корень и густо выругался:

— Лешай!

Возвращались домой по нагретому солнцем полю, притаптывая увядшую от дневной жары короткую траву дерна, срывая по дороге бессмертники, белые и розовобледные, золотую куриную слепоту и лиловые повилики.

Шли молча, задумчиво и не спеша, иногда солдат предлагал детям:

— А ну, — садитесь мне на плечи!

Люба отказывалась, а Ванюшка, широко улыбаясь, влезал на шею Капендюхина и, сидя там, покрикивал своим басом:

— Но-но! Шагай!

Из-за холмов поднимались разноцветные крыши города, осененные темной зеленью деревьев; на стеклах слуховых окон блестело солнце, в густом воздухе однотонно плыл небогатый, тихонький шумок уездной жизни.

— Подумайте про нас, милая барыня! — тихо шепчет Марья. — Научите вы нас!

Улыбаясь, барыня тоже тихо отвечает:

— Не бойтесь ничего, Маша. Надо любить так, чтобы всем, кто на вас взглянет, хорошо было и радостно было бы и захотели бы люди сами

крепко любить. Я не знаю, что сказать вам, я такая — какая-то бедная...

А Марья жалостно говорит, глядя в лицо барыни добрыми и влажными, точно у лошади, глазами.

— Знаю я, ох, знаю житье ваше сиротское, сердечная вы моя барынюшка!

Насытясь солнечным воздухом, напоенная пьяным ароматом леса, устала, от беготни и добрых впечатлений дня, девочка идет рядом с матерью, чутко слушает ее тихие слова и запоминает их, а вечером, лежа в постели, спрашивает:

— Мама, ты бедная?

— Да.

— И я бедная?

— И ты.

— Это хорошо, если бедные?

— Спи, дружок...

Помолчав, Люба заявляет:

— Я сегодня не умею спать. Почему у тебя нет кольца — дай руку — видишь? — нет. А у папы есть. И часы есть. Он — богатый?

— Не мешай мне спать, Любашка, — шутливо-строгим голосом говорит женщина, кутаясь простыней.

В комнате жарко, ночная бабочка мягко бьется в стекла окна, трещит сверчок и гудят комары, путаясь в кисейном пологе кровати.

— Вовсе ты не хочешь спать, — говорит дочь, влезая на грудь матери, сжимает ей щеки маленькими ладошками и целует в губы.

— Мм-а, вот как поцеловала Любашка мамашку-букашку, — и подпрыгивает на груди, тискает мать и щекочет ее, а когда та хочет сказать что-нибудь, целует ее.

Обе смеются и, незаметно, девочка засыпает с непогасшей улыбкой на лице.

1912 г.

М. Горький исключительно сурово относился к отбору написанных им произведений при включении их в сборники своих же рассказов или в Собрание сочинений. Так, с о т н и написанных им рассказов, художественных очерков, очерков-воспоминаний, отрывков из незаконченных повестей, не вошли в известное многотомное Собрание его сочинений, в силу того, что М. Горький не счел нужным о них вспомнить или же, пересматривая, оценил их отрицательно. Тем не менее, эти забытые произведения М. Горького, оставшиеся на страницах старых газет, журналов и сборников, представляют для нас огромный интерес, свидетельствуя об исключительном разнообразии художественного таланта М. Горького, о поразительной широте его тематики, о богатстве литературных форм, лиц и мотивов его творчества. Не все в этих рассказах художественно выдержано и значительно, — но все оригинально и характерно для своеобразного писательского пути М. Горького. В этих „несобранных“ своих произведениях М. Горький многократно обсуждает вопросы новой человеческой морали, подлинной человечности, дает пеструю галлерею характеров из среды пролетариата, необычайно реалистически и тепло рисует типы люмпен-пролетариата. Поучительно, прочитывая эти „этюды“, „наброски“, „сценки с натуры“ — как их определял сам М. Горький,

следить за появлением в них тех мотивов, образов, тем, которые в дальнейшем с большой художественной силой будут раскрыты в известной серии его бытовых рассказов.

Из большого числа забытых произведений М. Горького мы привели несколько рассказов 90-х годов и один отрывок неоконченной М. Горьким повести более позднего времени — 1912 года. Эти ранние рассказы объединяются тем признаком, что в свое время, задумав в конце 1898 года выпустить третий том своих избранных „Очерков и рассказов", М. Горький предполагал включить их, видимо в переработанном виде, в этот том.

Первоначально рассказы были напечатаны за подписью М. Горького в следующих изданиях: „О том как поймали Семагу"— в „Самарской газете", 1895 г., № 250, 19 ноября; „Трубочист" — в „Нижегородском листке", 1896 г., № 164, 16 июня; „Сны. 1. Катастрофа" — в „Нижегородском листке", 1896 г., № 220, 11 августа; „Большая любовь"— в сборнике „Белый цветок", изд. Всерос. Лиги борьбы с туберкулезом, Полтава, 1912 г. и в „Правде", 1913 г., № 1, 1 января.

С. Балухатый.

ДЕВЯТЬ ТОЧЕК

Михаил Козаков

КНИГА ТРЕТЬЯ

X

У дяди Жоржа, кроме автомобиля, была еще „кукушка" — коляска с кучером позади. В нее впрягали статного, серого в яблоках жеребца, ставшего известным всему Киеву. Георгий Павлович предпочитал автомашину, и на коляске старинного типа (и потому бросавшейся в глаза) ездила преимущественно тетя Таня, Татьяна Аристарховна, два раза катавшая Иришу по городу.

Два громадных пятнисто-серых дога с больно ударяющими хвостами, задень они случайно человека, сопровождали Татьяну Аристарховну, когда совершала променад по улицам.

Десятилетнего кузена Костеньку одевали в костюмы такого же цвета и покроя, какие носил и отец, и Костенька совсем уж теперь походил на точный слепок с Георгия Павловича, — детальному сходству мешало только отсутствие цыганских карабаевских усов. Георгию Карабаеву доставляло особое удовольствие лицезреть себя в уменьшенном виде.

Огромная, в десять комнат, квартира, занимавшая весь второй этаж, с двумя парадными ходами, потому что соединили две самостоятельных раньше квартиры, была меблирована по эскизам известного русского художника, и, как было это еще в провинциальном, смирихинском доме, двери всех комнат были открыты, каждая комната спокойно смотрела на другую и стерегла ее, каждая дружелюбно созерцала своих соседок, и все вместе — уверенно и услужливо — своего создателя и хозяина.

— Та дверь крепче всего заперта, которую можно оставить открытою! — афористически поучал своих домочадцев Георгий Павлович.

У карабаевской семьи были теперь, помимо обычной прислуги, среди которой повар Михей был особо отмечаем хозяевами, свои врачи (для взрослых и второй — для Костеньки), парикмахер — мужской и дамский, свои портные и сапожники, свой фармацевт из польской аптеки, который мог доставить любые лекарства, и ряд людей других профессий, услуги которых почему-либо могли понадобиться карабаевской семье.

О том, как живет она, водительствуемая дядей Жоржем, обо всем этом Ириша сообщила в письме к своим родителям. Но она ничего определенного, кроме того, что он „служит у дяди Жоржа и что бывает здесь в доме", не могла написать им о старом знакомом Карабаевых — об Иване Митрофановиче. Между тем, Теплухин был именно тем человеком, которым Георгий Павлович дорожил больше всего, считая его наилучшим приобретением за последние годы своих больших удач.

Георгий Карабаев умел ценить *своих* людей. Выслушав возвратившегося из Смирихинска Ивана Митрофановича и получив от него заверенные нотариусом документы, он сказал:

— Мне кажется, что теперь я имею возможность сделать вам приятное. Я давно решил это сделать, но теперь представился удобный случай.

— То есть? — спросил Теплухин.

— Освободился семнадцатый номер, — я велел заведующему домом никому не сдавать этой квартиры. Я вам предлагаю эту отличную квартирку: там три комнаты. Оставьте вашу Прорезную улицу и переезжайте сюда. Не все еще, не все, Иван Митрофанович!.. — готовил Карабаев новый сюрприз. — Вам придется еще одобрить гарнитур мебели, который я лично рискнул выбрать для вас по своему вкусу. И я хотел бы, чтобы вы заплатили за него из тех денег, сумма которых обозначена на этой бумажке... Я хочу таким маленьким подарком поддержать свою большую дружбу, которую питаю к вам.

И Георгий Павлович, подойдя к Теплухину, обнял его за плечи и, приветливо улыбаясь, вложил в боковой карман его пиджака какой-то конверт.

Выйдя из карабаевского кабинета, Иван Митрофанович не без любопытства посмотрел на вытащенный из конверта чек: на нем значилась сумма в пять тысяч. „Да три из твоих денег Пантелейке отдал, итого — все восемь!.." — холодно усмехнулся он про себя.

Некогда, отбывая каторгу, он пристрастился, уподобляясь многим другим каторжанам, к наркозу фантазии: причудливая игра воображения скрашивала действительность. Грани между реальным и вымышленным пересекались, и Теплухин жил тогда двойной, приподнятой жизнью.

Как все на „колесухе", как все замурованные в казематах Шлиссельбурга и Петропавловки, как все тюремные узники, Иван Митрофанович мечтал о свободе. Но о свободе — как о *мести* тем, кто ее отобрал у него.

Фантастический бег мысли был поистине неукротим: кем только ни видел себя Иван Митрофанович!.. И российским Жоресом, потрясающим новый русский парламент взрывами своих громовых речей. И чуть ли не самым крупным вожаком революционной организации, обосновавшейся за границей и оттуда сокрушавшей царский престол руками новых Желябовых и Каляевых.

И, — перешагнув и этот предел желаний исполинским шагом своего вымысла, — даже одним из тех, кто станет править Россией после революции, видел себя Теплухин, Иван Митрофанович...

Но в жизнь его пришел, как Мефистофель, безусый человек с голым шишковатым черепом и круглой голландской бородкой, — и выбор между мечтой и действительностью был сделан.

Иван Митрофанович не любил утешать себя, но все же, вспоминая свои отношения с Губониным, начиная с первой встречи в иркутском замке и кончая последним свиданием в Петербурге, он невольно старался уменьшить свою вину перед неизвестными ему людьми. Да, неизвестными, — потому что, говорил он себе, — „я не предал никого, кто был бы со мной связан, кто доверился бы мне, а я обманул бы его, использовав его доверие".

И тех, что пострадали, он никогда не видел даже в лицо!..

Так было, когда купил себе сердечное освобождение ценою выдачи неизвестной ему киевской организации, так случилось и этим летом, когда неожиданно для Губонина сообщил ему, со слов солдата Токарева, о подпольной деятельности большевиков в лужском военном госпитале.

Все эти люди были ему чужды и неведомы. Он мог печалиться о них

ровно столько, сколько, например, мог жалеть безымянных солдат, о смерти и ранениях которых читал, уже привыкнув к тому, в военных сводках фронта. Да еще с той только разницей, что в последнем случае человеческие жертвы ничем ему лично не были полезны, и потому он мог желать от сердца, чтобы их было поменьше, в то время как в первом — он ограждал свою собственную жизнь и потому был особенно безразличен к судьбе других людей. Свою собственную ему удалось уберечь за эти годы, — и ничего другого он не желал для себя.

„Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий". Он часто повторял эти слова и в них находил всегда оправдание своим поступкам.

Но за последнее время он больше, чем кто бы то ни было из круга карабаевских людей, предчувствовал политическую грозу и потому не мог избежать волнения. Он не представлял себе степени ее силы, времени ее прихода, но что такая гроза грядет — Иван Митрофанович уже был в том уверен. И потому, что не представлял себе всего этого, — не было страха перед чем-то неизбежным, роковым. Может быть, было только смущение...

В такие моменты заглядывания в будущее Иван Митрофанович снова фантазировал, но уже по-иному, чем некогда.

Вот, — мечтал он, — *что-то* изменится в стране, придут, может быть, к управлению ею такие люди, как Родзянки и Карабаевы, и тогда уйдут, конечно же, Губонины и Глобусовы, а к тому, кто встанет на их место, явится тишком он, Иван Митрофанович, и попросит отдать ему, как милость сердца, листок бумаги, заполненный в иркутском замке в час отчаяния и душевной слабости. (Ведь это *единственный документ* его политического проступка!..)

Его поймут и простят, — мечталось так, — а может быть, и посочувствуют, как жертве былых политических условий, и докажет всей последующей жизнью, что он, действительно, был жертвой...

И почему-то в эти минуты мечтательных блужданий вспоминались глубоко врезавшиеся в память насмешливые губонинские слова:

— Тех, кто во время войны вздыхает и обильно плачет над „несчастным русским народом" и тут же фактически его обманывает, — стоит ли тех уважать? Ох, Иван Митрофанович, заячьи это слезы! — говорил умный полицейский чиновник.—Русский благодушный интеллигент собрал их, сделал из них две больших слезы, сквозь которые смотрит на весь мир, и нацепил их в виде стекляшек пенснэ на свой шустрый, но лишенный обоняния нос...

Мечтая теперь о том, что *что-то* изменится, Теплухин видел уже своего будущего милостивого собеседника именно таким, каким нарисовал его когда-то Губонин, т. е. торопливо прощающим чужую вину, чужой проступок, от которого сам-то он лично не пострадал и пострадать не мог!

В таком состоянии предчувствия и внутреннего смущения Иван Митрофанович пребывал теперь все дни, и мысль занята была одним: когда это *что-то* начнется — как бы только не опоздать тогда и кинуться немедля в Петербург на спасение своей биографии бывшего революционера-каторжанина.

Иногда обдуманный им план спасения изменялся, и тогда Иван Митрофанович надеялся уже не на презираемого Губониным „человека с заячьими слезами", а на самого Губонина, который должен будет, пожалуй, помочь:

— Утаит на всякий случай „своего человека" — мало ли, как повернутся дела потом? — старался не терять спокойствия Иван Митрофанович.

Естественно, что ни одна встреча теперь не могла обойтись без политики. И хотя Георгий Павлович звал гостей, желая лишь ознаменовать приобретение сахарного завода обедом, — приглашенные, встретившись друг с другом в розовой карабаевской гостиной, сразу же заговорили о злободневных событиях.

Самой последней новостью, взбудоражившей умы карабаевских гостей, была только что полученная из Петербурга телеграмма в газеты об отставке премьер-министра Штюрмера и о назначении на его место Трепова.

Вся кулинарная изобретательность повара Михея рисковала быть незамеченной сегодня: до того увлечены были все петербургской телеграммой.

Знаменитый киевский адвокат с двойной фамилией, он же председатель местного комитета партии кадетов, и не менее известный на юге России молодой миллионер-сахарозаводчик, меценат и либеральный вольнодум Терещенко, впервые посетивший сегодня дом Георгия Павловича, — выслушивались остальными с особым вниманием.

Знаменитый киевский адвокат был осторожен в выводах и называл уход гофмейстера-немца моральной победой своей партии и, в частности, победой Милюкова. Принесет ли назначение нового премьера коренное изменение политики — уверенности в том не было, но „что-то“ может, однако, произойти, и вся суть дела, по его мнению, заключается в том, как отнесется к приходу Трепова думский „прогрессивный блок“. Его, личное, мнение таково, пожалуй, что следует „авансировать спокойствием“ нового премьера, нужна, пожалуй, передышка в борьбе с правительством — хотя бы на некоторое время.

— Знаете по пословице, — говорил он. — Вечер покажет, каков был день... Меня интересует, как поведет себя Родзянко.

— Как его *поведут*... В этом большом и жирном дворянском теле ни щепотки соли! — с брезгливой улыбкой ответил Терещенко. — Признаться, я не верю в такие перемены: что в лоб, что по лбу. Что начало криво расти, то не выпрямится. Или — как говорили в древности: quod ab initio vitiosa est tractu temporis convalescere non potest... Так, кажется?

— Не совсем: vitiosum est tractu... средний род, Михаил Иваныч, — поправил его без улыбки один из гостей — безупречный знаток латыни, молодой помощник присяжного поверенного, с рассеянным взглядом и безобразно-комичным ртом: губы его были вытянуты всегда, как для свиста.

— Охотно принимаю поправку, — снисходительно-иронически сказал Терещенко и, чуть сощурив карие мягкие глаза, стал приглядываться к „людовикам“ карабаевской гостиной.

Помощник присяжного поверенного, воспользовавшись паузой, длинно и скороговоркой поспешил изложить свое мнение о текущих событиях.

При всех обстоятельствах и со всякими собеседниками он говорил одним и тем же — докторальным — тоном, с гомерическим количеством цитат, имен, цифр и терминов. Казалось — собеседник был ему безразличен, даже не нужен: сам он — никого не слушал, увлекаясь только своей собственной речью.

— Какое бы ни образовалось правительство, ему следует напомнить, господа, изречение Сперанского: не то хорошо, что ново, но то полезно, что согласно с нравами и потребностями народа. Principis est virtus maxima nosse suos: высшая добродетель правителя — знать своих. Но, к сожалению, есть истины, как отметил еще Вольтер, не для всех людей и не для всех времен, господа!.. — лил молодой адвокат обильный дождь цитат. — Я не

доверяю Трепову. Нет, не доверяю, господа... Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь, как сказал Гоголь о Собакевиче. Трепов — это danaum fatale munus. Дары врагов не дары и никогда выгоды не приносят. Да, да... Дума должна добиваться сейчас отмены законов, проведенных в порядке 87-й статьи. Шутка ли, господа! Таких законов за восемь лет с 906 по 1914 издано всего шестнадцать, а за время этой войны — 384!.. А? Что? Пойдет на это Трепов? Но вот наши признанные политики хотят, очевидно, с ним считаться, маневрировать. Тактика, тактика... Я понимаю, может быть, их. О Фердинанде Кобургском говорили: он блоха, но блоха, усевшаяся на том месте Европы, которое ей чесать неудобно. Я представляю себе сейчас, господа, что приблизительно так же думают о Трепове наши признанные политики. Но, я... я против, я против!

— И всего только?.. — тихонько посмеивался Терещенко, подходя к Георгию Павловичу. — А я-то думал!.. Он, видите ли, „против"... Ах, как много словесного дыму, да как мало изжарено мыслей! Энциклопедическая пустомеля, извините меня.

Он тоже, конечно, был против Трепова, но то, что таких же воззрений держался вызывавший неприязнь молодой, но изрядно лысый, пучеглазый адвокат с дегенеративно впалым лбом и сложенными, как будто для свиста, мокрыми губами, — было ему почему-то неприятно, словно, сходясь с ним убеждениями, что заметно было всем присутствующим здесь, он сам — красивый, с нежной, смуглой кожей лица и такими же нежными карими глазами, привлекавшими всегда внимание женщин бархатной мягкостью, — должен был чем-то напоминать всем присутствующим этого словоточивого урода-начетчика. Напоминать и внешним обликом.

Ему вдруг захотелось эпатировать собравшееся здесь общество, а главное — молодого адвоката с дегенеративным черепом, — он повернул в его сторону голову и обратился ко всем громче обычного:

— Я несколько дней назад был в Петербурге. Мой друг, Александр Блок, показал мне прокламацию пораженцев. Наши думцы называются в ней холопами. Да, холопами, — понимаете? Это грубо, конечно, но не лишено правды. Пораженцы пишут в своих фанатических листовках про Думу: она всегда клялась на верность царскому правительству, лобзалась с его министрами, а теперь вдруг подняла с ним ссору, домашнюю ссору, — кто же в народе может поверить такой Думе?.. И я согласен, господа, кое-в-чем с ними! Милюков хотел Кривошеина в премьеры, но удовольствуется, вероятно, и шталмейстером Треповым. А велика ли разница между тем и другим? Народу-то что от того? Только праздноболтающие начетчики получают пищу для слововерчения, которое якобы выражает общественное мнение. Всему этому общественному мнению и возмущению — грош цена! Если бы общество действительно возмущалось правительством, оно давно бы стерло его в порошок. Какую реальную цену имеют все эти протестующие голоса земств и городов, если их приходится вызывать специальными телеграфными подсказами князя Львова из Москвы? Русское общество ворчит, когда нет щей и каши, а когда набьют ему... прошу прощения у дам!.. набьют ему брюхо крупой, оно снова блаженно засыпает. Правительство это прекрасно понимает. И Протопопов не такой глупец, как многие о нем думают: он хочет взять продовольствие в свои руки — постараться накормить от имени царя кой-кого в стране и потом уже преподнести сепаратный мир... Мне кажется, что ваша партия сейчас на распутьи, Николай Дмитриевич, — обратился он к адвокату с двойной известной фамилией.

— Да, я слушаю вас,— отозвался тот с таким подчеркнуто-внимательным видом, как будто все то, что до сих пор говорилось, не относилось к нему, и потому он не обязан был, собственно, не только отвечать на это, но и, пожалуй, внимательно слушать.

Стоя посреди гостиной и склонив набок напомаженную темноволосую голову с безукоризненным английским пробором, Терещенко, чуть грасируя, говорил спокойным, мерным голосом, в котором было сейчас столько же душевной скуки, сколько и гражданской печали, насмешливого задора— сколько и уважительного отношения к слушателям, расстаться с которыми он не решился бы, будучи хорошо воспитанным молодым человеком и не желая, собственно, никого из присутствующих обижать.

Все обратили ввимание на его манеру поглаживать свою руку во время речи: от кончиков пальцев до кисти и каждый палец отдельно, словно он надевал на них тугие кольца или натягивал на руку узкую перчатку.

— Уступит правительство, произойдет действительное обновление кабинета? — что ж, это будет торжество тактики Милюкова, то есть парламентской борьбы. А если нет, позволю себе спросить? Если после крушения этих надежд ваша партия, Николай Дмитриевич, не сойдет с почвы парламентской борьбы, не признает своей солидарности с активными демократическими элементами, — она потеряет всякое уважение в глазах масс и станет... простите меня!.. смешной. Это давно уже поняла группа прогрессистов, руководимых Коноваловым. Если выяснится, что царь, назначая Трепова, ни в чем не уступит или уступит в пустяке, это будет означать, господа, что роль четвертой Государственной Думы сыграна до конца. И тогда... тогда нужно будет озаботиться тем, чтобы организовать действительную борьбу, вспомнив практику 1905 года... Не умеет голодная толпа бояться и ждать. Она страшна — толпа, — говорил он, глядя исподлобья томными глазами на дам, любовавшихся его легкой и крепкой фигурой спортсмена. — Массы народа заставят политических главарей сделать то, о чем те сегодня, вероятно, и не помышляют. С главами партий, имейте в виду, бывает как с головами змей: *хвост* их двигает вперед.

Все тем же голосом, но еще более понизив его и немного нараспев, он стал читать на память недавно написанные блоковские стихи, закончив ими свое пространное, импровизированное слово:

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. —
В избушке мать над сыном тужит:
„На хлеба, на. На грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси".
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплатанной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

— Шумит война, встает мятеж... И вовсе не „все образуется" так мирно и безболезненно, как мерещится то в Петербурге почтенному профессору Павлу Николаевичу! — язвительно сказал он, совершенно явно стараясь поддеть спокойно выслушивавшего его адвоката с двойной фамилией. — Жизнь наша — отнюдь не храм Соломона, и каждый камень в ее здании отнюдь не кладется без устали и ропота.

— Так думали только масоны! — поспешил обнаружить свою осведомленность впалолобый помощник присяжного поверенного. — Они и говорили о храме Соломона...

— Совершенно верно. Но я не масон и потому отрицаю этот храм.

— Неужели, Михал Иваныч, вы ждете настоящей революции?

— А почему бы и нет? — усмехнулся Терещенко.

— Странный народ эти богачи, Николай Дмитриевич! — шепнул через минуту адвокат со свистящими губами своему старшему коллеге.

Тот повернул к нему лопатку своей бороды и посмотрел серыми усталыми глазами:

— Пресыщенность. Любовь к сильным ощущениям, Денис Петрович. Он думает, что революция — это американские горы в Луна-Парке: три минуты щемящего страха, а потом благополучный спуск, гарантированный администрацией парка. Как бы не так!

Он разгладил пожелтевшие у корней от табачного дыма седые усы и сосредоточенно гмыкнул: надо было обдумать ответ этому кокетничающему с революцией миллионеру-снобу.

Впрочем, особенно раздражать его не к чему, — рассудил знаменитый киевский адвокат, вспомнив, что только вчера звонили к нему по поручению Терещенки и спрашивали, не может ли взять на себя ведение искового крупного дела.

Но ответить все же на „баловство" Терещенки необходимо было, потому что он сам — не только председатель совета присяжных поверенных города Киева, но и руководитель кадетской партии здесь, а собравшееся сейчас общество не так уж безразлично для нее, — и Николай Дмитриевич, осторожно отбирая слова, заложив палец за борт наглухо застегнутого сюртука, как делал это на выступлениях в судебной палате, встал с кресла и произнес речь.

— Бесспорно, — заявил он своим баском, зная, что его должны хорошо слушать, — бесспорно, нас ожидает после войны грозное народное движение. Но именно потому, что оно будет грозно стихийным, мы должны прилагать все усилия, чтобы вложить в него разум, план, организующее начало. В борьбе с движением правительство очутится в безвоздушном пространстве, ему не на кого и не на что будет опереться, и вся надежда и все спасение будет в сплочении существующих политических партий и общественных организаций. Нравственный кредит правительства равен нулю. В последний момент, охваченное ужасом, — оно, конечно, ухватится на нас, и тогда нашей задачей будет не добивать правительство, что значило бы поддерживать анархию, а влить в него совершенно новое содержание, то есть прочно обосновать правовой конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством, несмотря на все, необходимо чувство меры. Народная мысль и без того имеет опасный уклон в сторону анархизма, отрицания всякой власти. Война же потребовала во имя государственной идеи от массы страшных, невероятных жертв, которые неизбежно в темных, неуравновешенных умах подорвали самую государственную идею. Это явление необходимо предусмотреть и заранее определить свое отношение к нему, чтобы не смешивать с явлениями действительной политической революции, которая, вероятней всего, придет, наступит... А в общем —

И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло, —

вспомнился мне, господа, как и Михал Иванычу, другой поэт — Владимир Соловьев. Будем помнить об этом и будем надеяться, однако, на лучшие времена...

Разговор на эту тему продолжался еще долго. И в розовой с „людовиками", и в зеленой гостиной, украшенной шелковыми панно со сценами на них из мифологии, и в соседней комнате — карабаевском кабинете, куда забрел, прельстившись обществом молодежи, Терещенко и откуда вышел малоразговорчивый, искавший, как всегда, уединения компаньон Карабаева по донецкой шахте и лесным угодьям — Арий Савельевич Бронн.

— Кажется, большой день получился: так много интересных речей... — подошла к нему Татьяна Аристарховна. — Скоро будем обедать, не глядите букой.

Она была в черном, глухом платье из панбархата с длинным шлейфом. Оно худило ее и делало выше ростом. Да и прическу с сегодняшнего дня Татьяна Аристарховна переменила, последовав, наконец, за общей модой, на что раньше не решалась: круглую, на валиках прическу заменила гладкой, с пробором посередине, как у сестер милосердия, а концы волос завила крупными кольцами, скрепленными на затылке большим малиновым гребнем, утыканным бриллиантиками чистейшего сверкания. Прическа была ей к лицу и очень молодила.

— Вы сумасшедше-красивы! — пробормотал, давясь словами, Бронн. — У него такое счастье в руках... — не называл он Георгия Павловича по имени. — Вы такая строгая сегодня и красивая... Боже мой, что мне делать?!

— Правда?.. Любуйтесь, Арий Савельевич, если это доставляет вам удовольствие, — мягко сказала она и хотела уже отойти, но он, прикоснувшись к ее руке, умолил остаться на месте.

— Я уеду. Я это твердо решил. Когда коммерсант теряет сердце — этого даже самый лучший поэт не в силах выразить в стихах. Иначе я заплатил бы тысячи, чтобы он написал поэму о моей любви. Вам кажется все интересным сегодня, а я слушаю все разговоры тут, но ничего не слышу: я не перестаю о вас думать — вы это хорошо знаете...

Она знала, что уже давно Бронн влюблен в нее. Конечно — безнадежно, иначе и не могло быть.

Но как-то случилось так, что, сразу не сказав о том мужу, она и впоследствии ничего ему не говорила, и между ней и Бронном возникла тайна, которая не всегда была ей неприятна. Сегодня — в особенности, потому что Татьяне Аристарховне хотелось, чтобы заметили ее новое платье и прическу, чтобы отметили ее красоту, а это первым сделал Бронн, если не считать девочек. Но Катя, Ирина, Лиза — это все свои, а вот он... он всегда внимателен, предан, — брал бы пример с него Жòржа! Или Жòржа так увлекся сегодня политикой и Терещенкой, что ничего не замечает?..

Она с благодарностью посмотрела на Бронна.

— Старый вы холостяк... жениться бы вам, сколько раз я говорила!

У него были совсем коротко острижены усы, они как черно-седой грим растянулись во всю губу. По углам ее зажимали криво прорезанные годами крупные собачьи морщины, спускавшиеся на выбритый, но всегда отливавший синевой квадратный подбородок.

Черные, с поволокой глаза — жестокие и печальные — прятались в мешочках припухших век. Ослепительно белая, с напухшими венами, жен-

ственная рука никогда почти не расставалась с заморской сигарой, которую посасывал, превращая до конца в нераспадающийся пепел.

— Пойдемте со мной, Арий Савельевич.

Он поплелся за ней из одной гостиной в другую и снова попал в карабаевский кабинет.

То, что там происходило, несколько вывело его из состояния обычной апатии, а через несколько минут и совсем заинтересовало.

Очевидно, он пришел к середине какого-то странного спора. Но по какому поводу?

На стене был приколот большой, развернутый лист бумаги, перед которым стояла вооруженная карандашами группа карабаевских гостей, в том числе и Терещенко, и знакомая Бронну домашняя молодежь.

— Попробуйте, попробуйте! — командовала всем тут племянница Георгия Павловича. — Даю вам сколько угодно времени...

Он приблизился и с недоумением посмотрел на приколотый лист бумаги, привлекший общее внимание. На лист были нанесены тушью девять жирных точек в таком порядке:

— В чем дело? — невольно улыбаясь, спросил он.

— А-а, пожалуйста, пожалуйста! — потянула его за рукав, как старого знакомого, Лиза Карабаева. — Ириша такую загадку задала, что никто не может разрешить. Ни вот тот... — с шаловливой гримасой указала она пальцем в спину Терещенки, — ни Иван Митрофанович... никто, никто! Арий Савельевич, вы умница... попробуйте!

— В чем же дело? — повторил он свой вопрос и оглянулся на хозяйку дома, но Татьяна Аристарховна с удивлением пожала плечами.

— Лиза, объясни.

— Это такая загадка, мамочка... Ириша тут поспорила вот с этим (она все с той же ужимкой показала на спину Терещенки)... сначала она с ним состязалась в стихах Блока: кто больше знает, потом они, мамочка, поспорили... что-то не помню, насчет не знаю какой революции будто бы... потом Ириша возьми и загадай эту загадку...

— Вы что-нибудь поняли, Арий Савельевич? Я — ничего! Но в чем же дело все-таки? — требовала объяснений от дочери Татьяна Аристарховна. — В чем именно эта загадка?

— А вот, мамочка... Ириша ее вспомнила. Федя Калмыков ей во время экзаменов в Смирихинске загадывал... Понимаешь, мамочка, — видишь эти точки? Да? Ну, вот надо, понимаешь, соединить их четырьмя прямыми линиями, не отнимая карандаша от бумаги. Не отнимая, Арий Савельевич! Вы так

пальцем по воздуху не проводите! Уж так, как вы, пробовали, вот тот самый (опять в сторону Терещенки), да ничего не выходит, ей-богу!..

— А о чем они спорили?

— Кто, мамочка?

— Ириша и Михаил Иванович.

— А-а... О политике, мамочка.

— А точней ты не можешь сказать?

— Нет, это не интересно, мамочка, а вот загадка...

— Ну, и девчонка!

Татьяна Аристарховна подошла к гостю-миллионеру.

— Вы, погляжу я, так увлеклись иришиной шарадой, что совсем покинули гостиную...

— Да, представьте себе! — поклонился он хозяйке дома. — Принимая во внимание наш спор с Ириной Львовной, в которой я обнаружил незаурядного агитатора, особенно хочется разрешить самому эту любопытную загадку. Ирина Львовна вложила в нее какой-то аллегорический, сказал бы я, смысл... Философский даже... Ведь правда, Ирина Львовна?

— Если вам угодно! — раскраснелось иришино лицо. — Я кстати вспомнила это. Я ведь не такой образованный оратор, как вы, а вот эта задача приходит мне на помощь, чтобы доказать всем вам...

— Что доказать, Иришенька? — не переставала улыбаться тетка.

— Что без революции невозможно уже теперь разрешить ни один вопрос. Какой бы перед людьми ни стоял, тетя Таня! — с неожиданной запальчивостью сказала Ириша.

— Вот как? — удивленно, но беззлобно пожала затянутыми в бархат, круглыми плечами Татьяна Аристарховна. — В самом деле? А разве папа твой тоже так считает? (Этот довод казался ей неопровержимым.) Имея такого папу, следует, Ирина, к нему прислушиваться и целиком полагаться на его мнение. Не правда ли, Михаил Иванович?

— Никто не может быть великим человеком для окружающих его домочадцев, и Лев Павлович тоже... — дипломатично сощурил он по привычке глаза. — Или — как говорят французы: il n'y a pas de héros pour son valet de chambre... Но Ирина Львовна имеет свое мнение, и я ему не так уж враждебен, в конце концов. Каждое понятие может иметь свое различное толкование.

— Ага, вы отступаете! — воскликнула Ириша.

— В разрешении вашей каверзной задачи — да. Как я ни соединяю эти точки — всегда остается одна незатронутой. А иногда даже две! Я отступаю, Ирина Львовна, и жажду узнать, наконец, это дело...

— Я тоже! — в один голос сказали Арий Савельевич и Теплухин, не на шутку увлеченные неподатливыми девятью точками.

— Ну, приготовьтесь .. Вы увидите, как все это просто! — с таинственным видом подошла Ириша к стене, на которой был приколот белый лист бумаги.

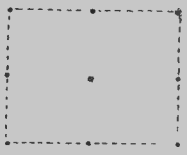
Все расступились. Она взяла со стола длинный красный карандаш и стала объяснять.

— Дело в том, что вы все допускаете одну и ту же ошибку. Психологическую, сказала бы я... Проведите, как вы уже делали, карандашом со всех четырех сторон по крайним точкам, — что получается?

— А в середине одна не будет задета!

— Конечно. Но вот посмотрите на образовавшийся рисунок...

Она начертила его:



— Получается прямоугольник, замкнутая геометрическая фигура, правда ведь?.. Вы даже пытались вести первую из четырех линий по диагонали, — и все равно какая-нибудь из боковых точек не будет задета. Значит — решение не найдено.

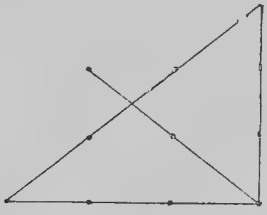
— Так в чем же суть? — нетерпеливо спросила Татьяна Аристарховна. — Господа, мы скоро пойдем к столу...

— Одну минутку, тетя Таня!.. Вы и не найдете никогда решения в пределах этой замкнутой фигуры. А вы все ищете его именно здесь — и потому ошибаетесь! Вы прикованы к этим очертаниям, вы... психологические рабы их!.. Рабы!

— Ирина!.. — остановила ее Татьяна Аристарховна, как будто оскорбленная этим неуместным словом „рабы".

— Нет, отчего же? — поняв ее замечание, добродушно улыбнулся Терещенко. — Это довольно правильно в данном случае.

— А вот смотрите! — быстро провела карандашом Ирина. — Вот что нужно сделать, — видали?.. Ведите с первой точки вверх!



— Фу ты, как просто, господа!

— Действительно... верно.

— Своего рода колумбово яйцо!

— Надо выйти за пределы замкнутой фигуры, рвануться выше ее обычных очертаний, и все то, что казалось невозможным, будет разрешено, Михаил Иванович... Теперь вы понимаете, к чему я клонила в нашем разговоре? — разгорячившись, спрашивала Ириша.

— Да, да, Ирина Львовна.

— В пределах этого прямоугольника, замкнутой фигуры жизни лежат все те вопросы, о которых мы с вами говорили. Этот прямоугольник — как тюремная решетка: пока ее не разломаешь — не будет свободного разрешения всего того, что волнует людей в нашей стране. Вот что я хотела сказать... Тут тебе и политика, кто ею занимается *против* нашего режима бесправия.

Тут вам и вопросы долга, сострадания к людям, гибнущим из-за войны,— разве я не права? В пределах наших условий не найти настоящего, справедливого решения!.. Вы рассказывали мне много интересного про вашего друга, Александра Блока. „Роза и крест“ написана под вашим влиянием, вы говорите? Я очень люблю стихи Блока... Он говорил о своем поколении, а мы, современная молодежь, можем как-то и к себе самой отнести эти строки:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего...

Мы помним, Михаил Иванович!

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

— Хорошо читаете, Ирина Львовна,— похвалил меценат и друг поэта.

— Вопросы долга, патриотизма, дружбы, семьи, совести, любви... Да, семьи и любви! — вспомнив о себе и Ваулине, с особым подчеркиванием произнесла Ириша эти слова,— ... всего этого теперь не разрешить счастливо, без ненужных для человека страданий. Ведь каждый из нас столкнулся в жизни с каким-нибудь из этих вопросов!.. Надо вырваться за пределы привычных очертаний жизни, они давят всех, эту решетку надо разломать, и тогда придет для всех великолепная свобода... Вот вам моя задача!— вдруг закончила она, смутившись отчего-то, и крупным, размашистым почерком написала быстро-быстро слово

ЗА-ДА-ЧА

на исчерканном, приколотом к стене листе бумаги.

— Я всегда вам говорил, — идя рядом с хозяйкой к обеду, бормотал ей грустный Арий Савельевич. — Жизнь наша — точка и еще менее. Надо спросить, — усмехнулся он, — у Дениса Петровича, кто первый это изрек: Арий Бронн или Сенека?..

После обеда горничная подала Ирише только что полученное письмо.

Она сразу же признала федин почерк, но штемпель на конверте — „Снетин“, да и сам конверт — розовый, дамский, с выдавленной на нем монограммой „ЛГ“с переплетенными буквами — несколько ее удивил.

Еще больше удивил ее текст фединого письма. Оно было довольно сумбурно:

„Задержан в пути жизни счастьем (это слово было написано все прописными буквами), поэтому вернусь к киевским будням не раньше, чем через неделю. Это будет разлука с тем, чем дышу теперь. Говорят, разлука уменьшает малые страсти и усиливает большие, как ветер задувает свечи и раздувает пламя. Никаких свечей, ибо я объят целым пожарищем!

Тебе, как другу, поведаю одну свою прозаическую печаль: надо же было мне родиться от папы и мамы евреев!? Если бы не это обстоятельство, которое заводит иногда мои мысли в тупик, оберегаемый, увы, царским законом, я пригласил бы тебя скоро на свадьбу. Что де-

лать, Иринёнок? Царь и его порядки мешают моей любви и моей жизни. Но я не хочу сейчас думать ни о чем, положился на знаменитое отечественное „авось".

Напиши все-таки, кто такой Н. М. Сергеев,—интересно. Увидишь Ивана Митрофановича — скажи ему, что тот человек, по фамилии Кандуша, которого он видел у дяди на станции,— подлец, шпик, и он хранит письмо одно, адресованное Ивану Митрофановичу. Это целая история, когда-нибудь расскажу.

Обнимаю (конечно — только дружески!). Зачем ты в Киеве, — а? Тут снег до самых окон, но он стережет счастье!

Ф. Калмыков"

В этом письме было многое непонятно Ирише, но больше всего ее озадачило упоминание Кандуши, и при том в таком странном и неприятном сочетании.

Какой Кандуша?.. Неужели тот самый заводский табельщик, который иногда заходит к ним в дом, ведет себя очень скромно, ходит с Юркой на рыбную ловлю? Почему он подлец и шпик?

„Глупости! — прервала она свои мысли. — Почему? — это неважно, а вот если он действительно из охранки... ужас какой! А мама с ним так любезна: землячок, землячок... Вот тебе и землячок!"

Не задумываясь пока над всем остальным, что было в письме, она пошла разыскивать Теплухина, надеясь у него получить дополнительные сведения о Пантелеймоне Кандуше.

В зеленой „мифологической", гостиной за двумя ломберными столами царствовало теперь макао. В центре одного стола сидел дядя Жоржа, в центре другого — посасывавший только что обрезанную, пахучую сигару Арий Савельевич (Терещенко уже уехал).

Обычно малоразговорчивый, апатичный — Бронн, раздавая небрежно скользкие атласные карты, цедил теперь сквозь зубы больше слов, чем Ириша слышала из его уст за весь сегодняшний день.

— Это то сражение, которое я, к сожалению, всегда выигрываю. И всегда банк, всегда банк...

„Где он?" — искала глазами Ириша Теплухина.

— Девять... вот видите? Не точек, а очков! — слабо усмехнулся Бронн, заметив Иришу и покосившись в ее сторону. — Когда я был в Германии, один немец — такой, знаете ли, король среди крупье — рассказывал мне. Кант, знаете, и Гегель, несмотря, что философы — а? — любили, оказывается, играть в карты... Но виноват, мадам: девять опять!... Да, так что я говорил? Ага. Моцарт был страстный охотник до бильярдной игры,— все-таки игра, господа! Лессинг любил лото и фараон, а знаменитый Шиллер—так тот прямо говорил, что, по его мнению, человек только тогда вполне человек, когда играет. Это мне все рассказывал мюнхенский крупье. Господа, я не шулер, но у меня опять девятка!..

За столом Карабаева помощник присяжного поверенного с вытянутыми, как для свиста, губами говорил соседу, известному в городе доктору-общественнику, — веснущатому еврею с длинными запорожскими усами и одутловатыми, трясущимися щеками:

— Вот пошла — замечаете? — молодежь... Максималисты, а не молодежь! Взять хотя бы сегодняшний случай... (Ириша поняла, что идет речь, очевидно, о ней, и потому прислушалась). Судят о том, о чем не имеют

права. Я помню, мы в свое время занимались театром и литературными процессами, — это так развивало наш ум! Нет, нет, Георгий Павлович, я пропущу на сей раз: предчувствую — не повезет! Да... судили, говорю, по всем правилам устава уголовного судопроизводства. Алеко — из „Цыган", Карла и Франца Моора из „Разбойников", графа Старшенского, помню, из гауптмановской „Эльги", Хлестакова, Раскольникова, конечно... А теперь?

Ириша вышла из гостиной и обошла всю квартиру, но Теплухина нигде не было. Не искать же его в кухне?

Но оказалось, как сообщила повстречавшаяся горничная, что именно там, верней—в людской, рядом расположенной, он и находился сейчас.

Минут пять назад пришел по черному ходу какой-то скромно одетый человек, по виду — схожий с мастеровым, и спросил Ивана Митрофановича. Он был так настойчив в своей просьбе, что пришлось вызвать Ивана Митрофановича, и вот они сейчас беседуют о чем-то в людской. А сама она, горничная, идет к вешалке за теплухинской шубой и шапкой, потому что послал за ними Теплухин, намеревающийся, повидимому, уходить.

Можно было, конечно, отложить разговор с Теплухиным, но Ириша рассудила иначе.

Иван Митрофанович мог ждать кого угодно, но не Кандушу!..

Пантелейка стоял, чуть согнувшись, у неостывшей плиты и попеременно грел руки, прикладывая их к теплому белому кафелю. Повар Михей и его дородная помощница, сидя за столом у окна, заканчивали в безмолвии свой поздний обед. Шипела в судках на плите вода для мытья посуды.

Кандуша сразу и не заметил перешагнувшего порог Ивана Митрофановича.

— Ох, ты...а я и не слышал, гос-споди, боже мой!

— Гм, не слышал? У прогневанных богов шерсть на ногах! — враждебно усмехнулся Иван Митрофанович. (Час назад, за обедом он слышал это изречение в устах впалолобого адвоката и теперь повторил его — как будто кстати.)

Но Кандуша его не уразумел. Ему даже показалось, что Теплухин „под мухой" и потому говорит так непонятно.

— Здравствуй, Иван Митрофанович.

— Ну, здравствуй. Откуда ты?

— Из провинции, как вам известно. Сегодня только. Проездом, конечно.

— А зачем пожаловал?

— По делу-с...

— Мне сейчас некогда.

— И мне тоже, осмелюсь заметить! — с обеспокоившей дерзостью сказал Пантелейка.

— По какому это опять делу?

Кандуша скосил глаз в сторону невольно прислушивавшихся повара и его помощницы. Увидев Теплухина, она, оробев почему-то, встала и так — стоя — продолжала еду.

Иван Митрофанович оглянулся и жестом пригласил Пантелейку в людскую.

— Говори.

— Сюртук хорош больно...— с искренним любопытством рассматривая его Кандуша. — Опять же галстук-шелк! Богаты стали, вижу... Денежки— что голуби, пипль-попль! Где обживутся, там и ведутся, позволю заметить.

— А ты к делу переходи,— уже мягче прежнего сказал Иван Митрофанович. — Ты-то сам... деньги в банке уже получил? Или как распорядился?

— Об этом и речь, Иван Митрофанович.

— А что такое?

— Сегодня, по прибытии, сразу в банк зашел...

— Ну, и что же?

— Обидели вы меня! — выпалил вдруг Кандуша, метнув исподлобья колючий взгляд.

— Чем? — удивился Теплухин.

— Сами знаете, Иван Митрофанович... Не можете не знать. Совесть надо — вот что! Вот гляжу я на вас — крупная, позволю сказать, птица стали. Со средствами, видно. А разве большие птицы зернышками пробавляются? На махонькое зернышко клюв открывают, — как ска́жете?

— Ну, ты... птичник нашелся! Чем я тебя обидел?

— А как же? В банк захожу — там поглядели-поглядели чек ваш и — пожалуйста! Все, — говорят, — будет правильно, и деньги вы, господин хороший, получить сможете, только тот, кто выдал вам чек, формальность одну не выполнил. Сам же, — говорят, — ее назначил нам, а не выполнил. Какую такую формальность? — спрашиваю. А это, — говорят, — мы сказать не в праве: а может, вы, прощенья просим, жулик и все такое подделать можете?..

— Ха-ха-ха! — расхохотался Иван Митрофанович.

— Чего вы? — сторопел Кандуша.

— Понимаю, все понимаю! — Ты прости меня: я, наверно, забыл особый гриф... секретная такая отметка моя... забыл я ее поставить. А ты думал, что я тебя надул? Расписку взял — и надул? Ай-ай-ай, сударь мой!

Он кликнул из кухни горничную и велел ей принести шубу.

— Спустимся во двор, я зайду в свою квартиру и мигом все тебе сделаю.

Он был рад, что все оказалось такими пустяками, а он было уже начал волноваться из-за неожиданного появления Пантелейки. Кандуша, — видел он, — тоже не скрывал своей радости.

— А теперь второе дело, — ухмыльнулся тот. — Думал: не расскажу, пипль-попль, если взаправду обидеть хотели. Но вот, благодарить позволю себе, по-иному вышло... Людмила Петровна-то на другой день после вашего отъезда заявилась-то ко мне в Ольшанку! — неожиданно сказал он.

— Да что ты?! — проткнул его своим рысьим взглядом Теплухин. — Наболтал, гляди?

— Гос-споди, боже мой, за кого принимаете? Не увидала-с она меня. Как услыхал ее голос — скрылся у батькиного соседа...

— Пойдем, расскажешь все по дороге... Выходи, выходи, я — сейчас.

Он пропустил вперед себя Кандушу, направившегося с черной двери, а сам сделал несколько шагов навстречу поджидаемой горничной, посланной к вешалке.

И — столкнулся на пороге кухни, лицом к лицу, с Иришей.

— Кандуша!.. — невольно воскликнула она, увидев на мгновенье его лицо в тот момент, когда он закрывал за собой дверь на площадку.

Но он не слышал ее возгласа и спокойно исчез.

— Почему этот человек здесь? — схватила она за руку Теплухина. — Зачем он к вам приходил?

— Это сын нашего рабочего-кожевника, из Ольшаки. Почему он вас так интересует? Вы что, — знаете его, Ирина Львовна?

— Знаю. Зачем он сюда приходил? — упрямо повторила свой вопрос Ириша.

Иван Митрофанович внутренне насторожился:

— Он просил за своего отца! обычное житейское дело.

— Вы с ним сейчас уходите?

— Да, на одну минуту. Оформить кое-что. А в чем дело, Ирина Львовна? — старался говорить он как можно веселей и непринужденней, влезая в шубу, принесенную подоспевшей горничной.

— Можно вас на одну минутку сюда? — увела его Ириша в коридор, где никто не мог их слышать, — Вы знаете этого человека, Иван Митрофанович?.. Давно? С каких пор?

— Да как сказать, собственно?.. Знаю и не знаю. Ну, так же, как сотню других, которых видел в своей жизни случайно раз-другой... — уклончиво ответил Иван Митрофанович.

— Он шпик из охранки! — горячо — так, что выступила непрошенная слеза в глазу, — сказала Ириша. — Остерегайтесь его.

— Вот так штука!

Она увидела побагровевшее во всю ширь теплухинское лицо, на котором, как нашлёпка, смешно выделялся теперь уцелевший от краски смущения шафранный коротенький нос.

Иван Митрофанович втянул на секунду к зубам свои мясистые расстегнутые губы и тотчас же разжал их наигранной улыбкой искренно недоумевающего человека:

— Боже мой, а вы откуда знаете?

— Знаю, Иван Митрофанович!

— Удивительно, право! Во-первых, этот парень мне никак не страшен: я даже не помню, когда я его до сегодняшнего дня видел...

— Не помните?.. — теперь удивилась уже Ириша: она держала в памяти федино сообщение, из которого могла вывести совсем другое заключение.

— Конечно, не помню, Ирина Львовна... А, во-вторых, каким образом вы можете знать, что он шпик?

— Странно... не помните... — размышляла она вслух.

— Откуда все-таки? — допрашивал Теплухин.

Она, закрыв рукой первые строки, показала ему конец фединого письма.

— Вот, Иван Митрофанович...

— Действительно, странно... — стараясь не выдать своего волнения, хмуро и медленно произнес он. — Надо будет подробно расспросить Калмыкова.

— Обязательно, Иван Митрофанович! Как только приедет.

„Но почему он пишет, что вы Кандушу видели неделю назад, а вы Кандушу не помните?" — чуть было не спросила еще она, но, сама не зная почему, не задала этого вопроса сейчас.

Вероятно, потому, что Иван Митрофанович в этот момент торопливо пожал ей руку и, надевая шапку, сказал:

— Спасибо, однако, за сообщение. Мы еще поговорим об этом... Любопытно, любопытно, Ирина Львовна!

И — удалился.

Случилось то, что и могло случиться...

Ни она, ни Сергей долго не решались включить свет и нарушить столь же долгое молчание хотя бы одним словом, как будто после всего, что

произошло, уже не могли существовать старые слова: должны были заново родиться какие-то другие, ни разу еще не сказанные.

Лежа неподвижно на кровати, повернув голову набок, Ириша смотрела вниз, на пол.

Сквозь обледенелое оконное стекло падал искривленный лучик прильнувшего к нему света из дома на противоположной стороне. Он не рассеивал комнатной темноты и только серебрил носок иришиного сапожка, всегда казавшийся ей отлакированным: до того чисто были натерты носки обуви суконной подкладкой галош.

Она смотрела на этот серебрящийся сапожок, одиноко стоящий у металлической ножки фединой кровати, и, чувствуя свою стыдливую и озорную в то же время улыбку на губах, думала о том, что первый раз в ее жизни башмаки у кровати стоят порознь, а вот где второй башмак *валяется*, — она и не знает даже!

Она хотела, чтобы Сергей увидел сейчас ее улыбку, — тогда, может быть, легко и просто придут к ним обоим новые и замечательные слова...

XI

В прошлом — ноябре месяце — Государственный Совет, палата русских сановных старцев — эта тугая, непроницаемая пробка для мало-мальских прогрессивных поползновений думской „оппозиции“ принял резолюцию 105 голосами против 23 о „темных силах“, вредящих государству, и значительно меньшим большинством, но большинством немалым — о смене правительства.

В старом Великом Новгороде собрались дворяне и приняли обращение к царю: „Здесь, в Новгороде, где зародилась Великая Российская Держава, в тяжелую годину еще небывалых в истории Русской Земли испытаний, должен раздаться твердый, нелицемерный голос первого сословия, предостерегающий Государя от того опасного пути, на который влекут его лукавые советники“.

В Петербурге говорили, что это обращение написал небезызвестный литератор из „Нового времени“ на квартире Родзянки.

„По всей Земле Русской, — свидетельствовали новгородцы, — от подножья Престола (намек на великих князей) до хижины бедняка не смолкает трепет тревоги народной. Из уст в уста передают зловещее слово: — измена. И остается у народа одна надежда: правдивый голос его избранников, обращенный к мудрости и силе духа своего Государя. Но если, к величайшей скорби народной, Государственная Дума и Государственный Совет не будут услышаны, и являющиеся врагами общественного блага правители, которым страна не верит, будут подкапываться под устои народного представительства, если светоч, озаряющий тернистые, кровавые пути к величию и счастью родины, будет затуманен, — настанет мрак разнузданных страстей и неудержимой злобы. И тогда — Престол, Россия и ее упования будут ввергнуты в пропасть, в глубине коей погибнут лучшие силы и надежды России, ее честь, ее целость, ее достоинство, ее мощь и слава“.

В других словах, но с той же целью: спасти трон от народного возмездия — составлялись резолюции союза городов, земских собраний, военно-промышленных комитетов, и даже всероссийский съезд объединенного дворянства требовал от монарха создать новое правительство, „способное к совместной с законодательными учреждениями работе“.

Депутация первого сословия не была принята императором, а собрания всех остальных организаций были прерваны появлением полицейских властей, посланных царским надежей — Протопоповым.

Начальник штаба Ставки, генерал Алексеев, о чем-то усиленно переписывался с ненавистным царской семье „бреттером" Гучковым. Пуришкевич вышел со скандалом из думской фракции „правых" и разоблачал в великокняжеских салонах затаенные помыслы своих вчерашних соратников о сепаратном мире. (По этому поводу, одобряя поступок Пуришкевича, кое-кто не без ехидства отмечал, что как раз два месяца назад этот знаменитый депутат-крикун и помещик лишился своих бессарабских имений, захваченных немцами...)

В Ставке, в разгар военных операций, царь скучал — играл в домино, раскладывал пасьянс — любимую „корзиночку" и каждый вечер на сон грядущий читал по главе из английского романа, присланного Александрой.

Письма — она слала каждый день.

Они неизменно, как правило, начинались с описания царскосельской погоды или какого-нибудь пейзажа, затем следовало изложение весьма частых бесед „тоскующей женки" с особо приближенными министрами и „нашим Другом" (Распутиным) — настойчивая просьба сделать все так, как они советуют, и не раз повторялся теперь вопрос, долго ли задержится на своем месте обезьяна-Трепов, который на подозрении у „святого отца".

Еще большая ненависть была к „Длинному" — великому князю Николаю Николаевичу, отосланному на турецкий фронт:

„Надеюсь, что неправда, будто Николаша приедет сюда вскоре. Наш фронт здесь не имеет ничего общего с Кавказом. Не пускай его, злого гения. Он еще станет вмешиваться в дела. Будь, мое счастье, Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех. Будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Дай им почувствовать порой свой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне: „Нам нужен кнут. Это странно, но такова русская натура".

„Я сильна — писала Алис, — не скрывай от меня ничего, но слушайся меня, т. е. нашего Друга, и верь нам во всем. Я страдаю за тебя, как за нежного, мягкосердечного ребенка, которому нужно руководство, а он слушает дурных советчиков, в то время как Божий человек говорит ему, что надо делать. Вся моя вера лежит в нашем Друге, под его руководством мы пройдем через это тяжелое время. Это будет трудный путь, но Божий человек близок к тебе, чтобы охранять тебя и безопасно провести твою ладью мимо рифов... Если бы у нас не было его, все бы уже давно было кончено, я в этом совершенно убеждена".

Из Ставки в Петербург, в думские круги пошли слухи о скором премьерстве Протопопова, — государь еще не называл его имени, но писал в Царское о калифе на час, Трепове, так:

„Противно иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь. Но раньше всего надо найти ему преемника, а потом вытолкать его после того, как он сделает грязную работу, я подразумеваю — дать ему отставку, когда он закроет Думу. Пусть вся ответственность, все затруднения падут на его плечи, а не на плечи того, кто займет его место".

Быстрыми шагами шел к власти и другой человек — „Ванька-Каин" прозванный: Щегловитов — жестокий, высокий, холодный старик с розовыми щеками, всегда державший на ночном столике превозносимый им роман „Бесы". Столичные журналисты за суетливой чашкой в кафе на Невском

устраивали каждодневно политический тотализатор; „ставили“ и на него и на Протопопова в премьеры.

Как сенсацию передавали, что во время приема царицей на-днях великого князя Александра Михайловича, просившего от имени всей августейшей родни не вмешиваться в государственные дела, в соседней комнате дежурил рослый адъютант на тот подозреваемый случай, если бы понадобилось кинуться на помощь государыне.

Слух о возможности дворцового переворота вышел на широкую российскую улицу и безбоязненно бродил по ее истомленным пространствам.

Чего-то ждали все, но чего точно и когда *оно* должно произойти — никто не мог сказать.

И вдруг в Петербурге раздался выстрел, эхо которого услышала вся Россия.

Восемнадцатого декабря, рано утром, генерал-майора Глобусова разбудил звонок телефона, который на ночь всегда переносим был Александром Филипповичем к изголовью кровати.

Он знал, что позвонят, и потому без какого-либо неудовольствия потревоженного в неурочный час человека снял трубку и выслушал донесение одного из своих помощников.

— Так, так... Один бежал... жаль, жаль. Ну, ничего... И на квартирах застукали? Так, так... Нет, нет, упаси бог! Ни на минуту. Держать отдельно. Поздравляю вас. Мерси... — закончил генерал-майор разговор и снова натянул до самого горла шелковое одеяло на гагачьем пуху.

Все обстояло так благополучно, ночная операция прошла с таким успехом, что сон, прерванный на минуту, мог легко продолжаться: генерал-майор вернулся во владения Морфея.

Но мифологическому божеству не удалось, однако, сохранить в своих объятиях начальника столичной охранки. Вскоре раздался второй звонок, в ответ на который Александр Филиппович чертыхнулся:

— Ну, что там еще?

„Фу ты, по какому поводу в такую рань?“

Голос фон-Нандельштедта, прокурора петроградского окружного суда, обычно скупой и медлительный, забрасывал теперь телефонную трубку ворохом торопливых и отнюдь не степенных слов. О сне уже и не приходилось помышлять...

Прокурор суда удивлялся, как это генерал-майору еще ничего неизвестно — в то время как его шеф, Протопопов, оборвал уже все звонки. Фон-Нандельштедт сообщал, что в эту ночь убит, по всей видимости, Распутин, и что убийство, кажется, произошло во дворце князя Юсупова на Мойке, у Поцелуева моста.

— Господи, в том же районе! — неизвестно о чем подумал сейчас вслух Александр Филиппович.

— Что? — спросил прокурор и, не получив ответа, продолжал свой взволнованный рассказ.

На рассвете домашние Распутина звонком по телефону сообщили хорошо знакомому им министру внутренних дел, еще только вчера посетившему на квартире Григория Ефимовича, что последний исчез, и они тревожатся.

По показаниям дворника и городового, около часу ночи военный автомобиль остановился у дома № 62 по Гороховой. В автомобиле были двое

господ и шофер. Один из господ вошел в дом и вскоре возвратился в сопровождении Распутина. Они сели в автомобиль и уехали по направлению к Адмиралтейству. Горничная Распутина рассказывает, что он сам как будто ожидая кого, открыл приехавшему дверь и сказал: „А, маленький, входи, здравствуй".

— Маленький? — Таково прозвище молодого князя Юсупова у распутинцев. — Это он был! — уверенно сказал в трубку Глобусов.

— Но вот, — продолжал информировать его прокурор, — вестником гибели Распутина стал только что допрошенный городовой Власюк. Он стоял ночью на посту в одном из переулков, недалеко от того места набережной, где находится юсуповский дворец, как вдруг с Мойки послышались два выстрела, один за другим. Власюк пошел в ту сторону, откуда они раздались, и вышел к реке, против реформатской церкви. Стоявший у церкви, на другом берегу, постовой сказал Власюку, что стреляли у дома Юсупова.

— Дальше, дальше... я слушаю.

Александр Филиппович живо, до деталей представил себе местность, о которой шла речь сейчас.

„Дворец князя расположен на самой набережной, а рядом с ним двор соседа с решеткой... да, да. С решеткой, вместо обычного забора. На этот двор выходит, насколько помню, особая дверь из княжескоto кабинета. Ее сделали, вероятно, с более мирными и интимными целями, чем те, — подумал он, — для которых она была, как он говорит (это — о прокуроре), использована сегодня ночью..."

Итак, Власюк, приблизившись к дворцу, увидел за решеткой свет фонаря и тени людей. Войдя во двор, он разглядел в двух бывших там человеческих фигурах молодого князя Юсупова, породнившегося недавно, кстати сказать, с царствующим домом, и старого княжеского дворецкого. Князь встретил исполнительного блюстителя благочиния и безопасности неприветливо и заявил, что полицейскому здесь делать нечего: просто... великий князь Дмитрий Павлович, уезжая к себе домой, убил собаку.

Петербург — хорошая школа для городовых: они отлично знают, как и с кем нужно себя держать. Власюк сделал под козырек и немедленно отправился обратно на свой пост. Тем бы дело на эту ночь и кончилось, но несколько минут спустя к Власюку подошел дворецкий и позвал его к князю.

Власюка впустили в кабинет через боковую дверь со двора. За столом стоял князь Юсупов, а сбоку стола сидел неизвестный городовому господин в пенсне, бывший, как сейчас же распознал опытный глаз столичного полицейского, в форме гражданского чиновника военного ведомства — с погонами действительного статского советника. Заметил Власюк, что этот человек был в состоянии значительного опьянения.

Юсупов молчал, а говорил незнакомец. Разговор был недолог, но выразителен.

Власюк передавал его приблизительно так:

„Знаешь меня?"

„Никак нет, ваше превосходительство".

„Я член Государственной Думы Пуришкевич. Слышал о таком?"

„Так точно, ваше превосходительство!"

Затем последовали короткие вопросы: знает ли городовой, кто такой Распутин, любит ли городовой родину и чтит ли царя? Власюк дал на них утвердительные ответы. Тогда назвавшийся Пуришкевичем встал и сказал:

„Так знай же, православный Иван, что этой ночью Распутина не стало.

Теперь ступай на свое место и забудь, что я тебе сказал. Понятно? Если любишь царя и родину — то должен об этом молчать".

Власюк опять отправился на свой пост. Ретивый служака — он был смущен приказанием Пуришкевича: как же молчать, если случилось такое исключительное происшествие?..

— Ну, что вы скажете, Федор Федорович, — спросил своего друга под конец беседы генерал-майор Глобусов.

— Что я скажу? Теперь, когда я все вам изложил, я уже не сомневаюсь, что он убит и кто убийцы...

— Нет, я не об этом! — зная, что его не видят, высунул язык Александр Филиппович. — *Вообще* что вы скажете?

В трубке наступило минутное молчание, потом с чересчур глубоким вздохом, внушавшим подозрения, голос прокурора протянул:

— Ах, из него можно познать, сколь бедное творение есть человека!..

— Да, да... — втянул обратно свой язык генерал-майор, чтобы иметь возможность что-нибудь ответить. — А как, по-вашему, дальше будет, Федор Федорович?

— Я думаю, мой друг, о милости. Она, как учил философ, не причиной руководствуется, но смотрит на бедствие. Жду для *них* милости.

„Ох, дипломат!" — подумал о своем приятеле генерал-майор и на встречный вопрос: „а что он сам думает?" — ответил еще более туманно:

— А я вот вспомнил евангелистов, Федор Федорович... „Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю".

Нужно было перехитрить приятеля (в эту минуту даже самому большому другу доверять нечего: вспоминался всегда коварный Вячек Губонин) — и генерал-майор успешно перехитрил: фон-Нандельштедт что-то гмыкнул в трубку, так и не поняв, очевидно, Александра Филипповича.

Еще натягивая на себя штаны, не умывшись, генерал-майор Глобусов протянул руку к ночному столику, и взяв оттуда приготовленный еще с вечера стакан душистого боля, широкими глотками опорожнил его „для контенанса" — любил так выражаться. И подлинно: надо было запастись твердостью духа, идя навстречу наступающему дню.

Он сулил явные неприятности: разыскать Распутина было поручено министром другому генералу, а не Александру Филипповичу.

Жандармский генерал Попов распорядился осмотреть садик у юсуповского дворца. Нашли кровь на снегу у малого подъезда и убитую выстрелом в пасть собаку, которая смутила очень многих: „А может быть, собаку только и убили, и Пуришкевич зря бахвалился?"

Кровь отправили на исследование в лабораторию господина Цвет на Бассейную, — стараясь возвратить себе милость Протопопова, генерал-майор первый подсказал это мероприятие. И кровь, по исследовании, оказалась человеческой!

Дождавшись результатов анализа на Бассейной, Александр Филиппович поспешил уведомить о том по телефону Протопопова, но не застал его и тогда позвонил министру юстиции Макарову. Низенький, лысый и желчный старичок с седыми лакейскими баками не вызывал приязни у Глобусова: свирепый и ограниченный бюрократ начинал иногда капризничать в совете министров и требовать у глобусовского шефа „ревизии" некоторых мероприятий охранки... Глупый старикашка!

Вот он и сейчас выразил свое недоумение:

— Сомневаюсь, генерал, сомневаюсь. Как же можно узнать, что кровь именно человеческая, а не вообще какого-нибудь молокопитающего? (Он, как и Штюрмер, имел еще обыкновение говорить „заливы", вместо „проливы", когда заходила речь о Дарданеллах.)

Макаров, как известно было Александру Филипповичу, не был, проходя чиновничью дорогу, ни следователем, ни товарищем прокурора, но прокурором суда состоял последовательно в Ревеле, Нижнем и Москве и потому мог бы, казалось, знать о способе Уленгута, усовершенствованном Туфановым в Киеве. А вот, поди ж ты, какой невежда министр юстиции!..

Пришлось вкратце рассказать про этот способ исследования крови, и тогда вдруг генерал-майор услышал в телефон вырвавшееся из глубины души восклицание министра:

— Вот неприятно, что такой способ открыт!

„Может быть, он это применительно к данному случаю: потому что не любил Гришку? — подумал Глобусов. — Тогда изволит быть больше, чем откровенным... Ну, а если он это просто от обскурантизма... эдакий Скалозуб!.."

Труп „старца" был обнаружен подо льдом Невы, у берегов Петровского острова. Протопопов исполнил последний долг перед своим всесильным покровителем. Всеми был получен его приказ:

— Обшарить все дно Невы и залива хотя бы до самого Кронштадта!

Такое приказание объяснялось тем, что убийцы не умели молчать, и по городу расползлись слухи, будто Распутина спустили ночью в какую-то прорубь.

— Кто нашел тело? — спросил Протопопов жандармского генерала Попова.

— Тайный сотрудник департамента полиции Пантелеймон Кандуша, ваше превосходительство, — поглядев в записную книжечку, ответил жандармский генерал.

— Позвать его ко мне... Представлю к особой награде! — распорядился министр.

„Губонинский человек, — вспомнил Кандушу присутствовавший в протопоповском кабинете Александр Филиппович. — Везет же Вячеку!.."

На мосту между Петровским и Крестовским островами Кандуша увидел следы крови, а под мостом, у края значительной по размерам полыни, лежала высокая галоша. Кандуша отправился берегом Петровского острова вниз по течению и в шагах ста от полыньи заметил подо льдом, с поверхности которого снег был сдунут ветром, какое-то большое черное пятно. Этим пятном оказался Распутин — в шубе и об одной галоше.

На извлеченном из воды „святом старце" была надета голубая шелковая рубашка с вышитыми золотыми колосьями. На шее у него висел нательный, большого размера, крест с надписью сзади: „спаси и сохрани", а на руке оказался браслет из золота и платины с застежкой, на одной стороне которой изображен был двуглавый орел, а на другой — буква „Н" с римской цифрой „два".

В тот же день почтамт доставил генерал-майору Глобусову копию вчерашней телеграммы, отправленной в Москву Пуришкевичем сдружившемуся с ним за последнее время кадетскому члену Думы Маклакову.

„Все кончено" — лаконична, не выразительна была телеграмма.

Верные люди генерал-майора не замедлили ему сообщить, что этот самый кадетский депутат, зная о готовящемся убийстве, достал у знакомого аптекаря цианистый калий и передал его знаменитому бессарабскому депутату. Но яд оказался испорченным, — Распутин, как выяснилось, съел на

пирушке в юсуповском дворце отравленный эклер, пожаловался на резь в животе, но не умер.

Все эти сведения Глобусов не замедлил передать своему шефу-министру. Но тот все еще был мало приветлив, закидывал голову назад, закатывал глаза к потолку и выкрикивал, все время выкрикивал, озадачивая Александра Филипповича:

— И у курицы сердце есть... да, да! Ах, как мне жаль! Китайцев, китайцев дорогих не знаете, генерал!.. Недостаточно, генерал, чтобы страх перед небом служил вам компасом... а?.. а?.. если совесть не управляет рулем. Что вы скажете? Не уберегли, не уберегли! У меня рука... рука, как у Столыпина, начинает сохнуть, иначе бы я сам, я сам...

Нет, в такие минуты не доложить ему о том важном деле, о котором пытался было заговорить со своим шефом генерал-майор! Пришлось отложить на время свое донесение.

„А ведь в том же районе, в том же районе... шесть домов пройти вбок!" — все еще удивлялся он причудливому совпадению некоторых обстоятельств, о которых также хотел сообщить министру.

Через два дня заехал на квартиру фон-Нандельштедт.

— Я должен объясниться — сказал он, не притрагиваясь к предложенной еде. — Я понял то, что вы мне сказали. Я нашел — это у евангелиста Луки сказано: „Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю". Обычно эти стихи синоптиков толкуют так, что произвольно слово „душа" заменяется словом „жизнь". Это неправильно.

„В чем дело?" — Александр Филиппович с нескрываемым удивлением смотрел на своего старого приятеля.

Сухопарый, рыжеватый, с тонкими и прямолинейными, сходящимися без просвета над переносицей бровями, белогубый, с угловатыми плечами — фон-Нандельштедт сидел на стуле, аршин проглотив, и говорил голосом незнакомо-проникновенным.

— Я понял, что вы мне сказали. Вы оправдываете в душе убийц. Я — то же! Не будем бояться доверить друг другу свои мысли. Я нашел еще много этих евангельских „ю". Помните?.. „Любяй душу свою погубит ю и ненавидяй души своея в мире сем в живот вечный сохранить ю".

„Смеется, издевается..." — мелькнуло в голове генерал-майора.

Но прокурор был серьезен, очень серьезен:

— Я стал толковать эти слова Христа, ничего в них не изменяя, а тогда они могут значить только следующее. Если для выполнения твоих обязанностей, признаваемых тобой высокими, тебе нет другого исхода, как взять на душу грех, — не дорожи своей душевной чистотой, как бы совершенна она ни была и какими бы усилиями ты ни достиг ее. Губи свою душу с полным сознанием всей тяжести принимаемого на себя греха, и тебя нравственные муки твои и то добро, которое принесло твое самопожертвование, — оправдают перед высшим судом!

— Прекрасно, прекрасно! — склонил напомаженную голову набок внимательный хозяин.

— Должен тут же дать необходимые объяснения, Александр Филиппович... Вопреки Льву Толстому я исповедую, что насилие не возбранено даже евангельским учением.

— Иначе вы не были бы прокурором, Федор Федорович...

— Совершенно верно... Мало того, я смею утверждать, что евангелие обещает прощение за самое преступное насилие, если оно совершено во имя великой любви. То есть ради такой цели, которая вполне чужда личных выгод решившегося на преступление и окружена для него сиянием святости. Отправляясь от такого понимания евангельских предписаний, я бы, конечно, не мог удивиться, ощутив, что оправдываю убийц Распутина, если бы налицо были два совершенно необходимых, по мне, условия. Если бы я мог думать, что смерть Распутина неизбежна для спасения России, и если бы я удостоверился, что убийцы не дышат самоуверенностью и самодовольством, а в сознании своего греха идут навстречу ответственности. Но в том-то и дело, любезный мой друг, что ни одного из этих условий нет! Во-первых, разве только Распутин является виновником русских зол? Было бы болото, а черти найдутся! Во-вторых, убийцы до сих пор не явились с повинной, как бы, по мне, следовало сделать людям, принявшим на себя, хотя бы и ради великой цели, тяжкий грех. Они до сих пор таятся подобно заурядным преступникам... Все это как будто должно мешать мне оправдать убийство, а тем не менее я в душе не только не осуждаю преступников, но, да простит меня бог, положительно доволен тем, что негодяя убили!—закончил свою неожиданную исповедь прокурор.

И опять, вместо того, чтобы ответить своими собственными словами, на что, естественно, надеялся его собеседник, Александр Филиппович вынул из кармана какие-то машинописные листки и улыбнулся:

— Хотите, я вам покажу по-приятельски анонимное творчество, которое сегодня, как мне донесли, пошло гулять по городу?.. Хотите?

Голосом нарочитым, гнусавя, как дьячок, генерал-майор стал читать:

— „Акафист Григорию Распутину... О, Григорие, новый угодниче сатаны, веры христовой хулителю, русской земли разорителю, жен и дев осквернителю, — како воспоем и восхвалим тя? Радуйся, рассудка царева помрачение, радуйся, Протопопова возвеличение, радуйся, Григорие, великий сквернотворче... Радуйся, таинственного пития взалкание, блудных страстей взыграние, радуйся, жен совратителю, радуйся, хлыстов насадителю... Радуйся, Григорие, России позорище!..“

— Слава богу, у нас нет разногласий! — повеселев, сказал задумчивый сухопарый прокурор, когда, вместо опротивевшего голоса дьячка, услышал, наконец, естественный голос генерал-майора.

„Если бы он только знал, кто это написал!..“ — подумал после ухода прокурора Александр Филиппович и — который раз сегодня — присев на корточки, заглянул в камин: не сохранился ли там, упаси бог, случайно и предательски, отлетев в сторону, клочочек никому неизвестной генерал-майорской рукописи?..

Но нет, — огонь давно пожрал ее всю.

XII

Поздним вечером с 17 на 18 декабря из трактирчика на Фонарном вышли попарно несколько человек и неуверенной походкой подвыпивших людей, — однако, держа себя вполне пристойно, не подавая о себе голоса, — направились к Мойке.

Уже отойдя на приличное расстояние от трактирчика, они, как по уговору, утратили свою покачивающуюся походку и ускорили шаги, которые

должны были разогреть их хоть немного, так как мороз был лют, а верхнее платье наших пешеходов служило малой защитой от него.

И так же не соединяясь друг с другом, все восемь человек вошли в разное время в ворота одного из домов на набережной, прошли под аркой во второй двор и там, поднявшись несколько ступенек вверх, остановились у единственной на площадке двери с облупленной вывеской, извещавшей, что здесь находится типографское заведение господина Альтшуллера.

Невысоконький, с лихорадочно постреливающими глазками, с мигающими часто ресницами, поседевшими теперь от мороза, успел раньше другого протянуть руку к звонку и потянуть вниз его деревянную рукоятку.

— Зачем так сильно, Ваня? Испугаешь еще... — ворчливым шопотом сказал один из компании.

Он вытащил из кармана револьвер. То же самое сделал и другой спутник.

— Кто там? Какой леший? — раздался за дверью глухой стариковский голос.

— Открой пожалуйста, Егор Силыч.

— Кто это?

— Это я, Вася Курдюмов, из наборной...

— Чего тебе? — хрипел голос сторожа, и заскрежетал ключ в замке.

— Покупочку, понимаешь, забыл нынче... Женка заругает, питания ожидает...

Сторож, покряхтывая, открыл дверь, — на него наставлены были дула револьверов.

Он даже не сообразил сразу, что произошло, и без испуга, но с видом осоловелым продолжал держаться рукой за косяк двери. Его связали, отобрали ключи и оставили в прихожей какого-то неизвестного ему человека, который все приговаривал, успокаивая:

— Тихо, дед, тихо. Ничего тебе не будет. Тихо, дед...

В наборной работало пятеро. Они собирались уйти через полчаса, закончив срочный заказ, врученный им после обеда хозяином.

— Руки вверх, товарищи — приказали в два голоса какой-то высокий, бритый, с седеющими височками и другой — с рыжеватой бородкой клинышком.

Но все пятеро не столько удивились этим двум вооруженным незнакомцам, назвавшим их „товарищами" в столь необычной обстановке, сколько тому, что рядом с ними они увидели Ваську Курдюмова!..

— Васька!.. С чего бы это? — не сдержался пожилой наборщик — угристый, с набрякшим носом, с алкогольной слезой в глазу. — Что тут, Васька, грабить?

— Шпации! — хмуро сострил тот, скручивая за спину и связывая руки товарищу по работе.

— Показывайте где что, Яша! Быстро! — подошел к нему и шепнул на ухо Сергей Ваулин. — В нашем распоряжении не больше пяти часов.

И он вынул из всех карманов листки заготовленных рукописей.

Решение о вооруженном захвате какой-либо типографии для выпуска номера газеты ПК было принято не сразу. А когда и было принято — то отнюдь не единодушно.

К предложению „товарища Анатолия" и Сергея Леонидовича одни отнеслись недоверчиво: мало надеясь на реальность такого чрезвычайного мероприятия. Другие, иной раз и прежде колебавшиеся при разрешении вопро-

сов подпольной большевистской тактики, высказывались *принципиально* отрицательно о таком проекте. Третьи, не возражая против него, настаивали, однако, на том, чтобы отложить осуществление рискованного дела, покуда оно окончательно не будет подготовлено во всех мелочах.

Но все сходились в одном — события назревали так быстро, что выпустить газету было необходимо.

Усталый и несколько изнервничавшийся после неоднократных выступлений в защиту проекта, Сергей Леонидович тем не менее не оставлял своей идеи. И, когда на последнем заседании исполнительной комиссии вновь стали обсуждать этот вопрос, он торжествующе мог уже сообщить, что люди для печатания газеты уже отобраны, что один из товарищей — наборщик Яша Бендер—работает под другой фамилией в небольшой типографии Альтшуллера, богатой сейчас бумагой, и что эту типографию можно захватить на одну ночь для целей ПК.

Каждый, даже тот, кто противится этим планам, пусть представит себе, какое впечатление должна будет произвести их газета — настоящая четырехстраничная газета! — какое это будет доказательство силы ПК, которого охранка считает уже почти не существующим, как обнадежит неожиданный выход газеты людей на заводах, в мастерских, — пусть товарищи поймут громадное политическое значение этого дела, — настаивал на своем Сергей Леонидович, — и пусть утвердят его как дело всей большевистской организации...

— Выгорит. Выйдет дело, — обнадеживал его в сторонке „лекарь".

— Вы думаете, Андрей Петрович?

— Сегодня — видите? — уже другое настроение. Аппетит пришел! Аппетиту не нужно соуса: вы больше ни о чем не говорите — дайте людям подумать.

— Индюк думал!.. — сказал, но тотчас же пожалел о своей минутной несдержанности Ваулин.

— Не скажите так, — спокойно и серьезно ответил Андрей Петрович.— Народ тут все рабочий — контрольный народ! — поучительно и хмуро заметил он. — Не балаганщина, не эсеровская братия. Она как? Пих-пах — и садись в дураках!.. А потом опять же: вас, братское сердце, ценят да жалеют. Понятно?

— Нет, ничего непонятно, — посмотрел на него вопросительно Сергей Леонидович, хотя отлично уразумел, о чем говорил „лекарь".

— А я объясню вам: нам вместе с вами итти, — не так?

— Я-то пойду, а вам нечего.

— Ну-ну! — вдруг злобно огрызнулся Громов. — Я ему народ собрал для похода, а он меня в обоз, — так, что ли?

— Андрей Петрович... — усмехнулся Ваулин. — Людей ценить ведь надо! А потом... как же это так: прошлый раз голосовали не вместе? За отсрочку вы...

— Ну, да... было. Укоряете? Эх, голова наклонная — не срублена...

Они оба не могли долго сердиться друг на друга: слишком велика была взаимная привязанность и приязнь.

Плечико к плечику ложились свинцовые литеры. Пальцы подпольщиков, как коршуны, клевали гнезда наборной кассы, молниеносно вытаскивая оттуда на верстатку букву за буквой.

Заполнялись реалы. Опытные, умелые руки стягивали шпагатом свинцовые столбики, ставили их на доску.

Ваулин и „лекарь“ спускали набор на тискальный станок, — получались первые, жирные, расплывающиеся оттиски.

Потом Сергей Леонидович правил корректуру, Ваня-печатник вместе с Громовым готовил, налаживал в соседнем зале машину, перетаскивали оба сюда из кладовой бумагу.

Связанные альтшуллеровские рабочие, сидя на табуретках и разместившись на полу, бездействовали и с любопытством поглядывали на ночных „визитеров“. Васька Курдюмов, которого вот тот, с седеющими височками — главный, по всему видать, называет почему-то „Яшей“, продолжал больше всего занимать их:

— Ай, да парень — жох!..

Вдруг он срывается с места, бежит к „главному“, кричит:

— Товарищи, вон там берите шапку! Я ее еще позавчерась приготовил... Э, да я сам принесу!

Он убегает на минуту куда-то, приносит газетную „шапку“. Мигом — она на тискальном станке, и все, побросав работу, рассматривают газетный заголовок:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Российская Соц.-Демократ. Рабочая партия

ПРОЛЕТАРСКИЙ ГОЛОС

Петроград, декабря 1916 г.

№ №

— Номер четвертый ставьте, число — восемнадцатое! — распоряжается Ваулин. — Айда по местам, товарищи.

Яша Бендер бежит с оттиском и набором „шапки“ к своему месту.

— Васька, покажь! — просит один из связанных.

— Тебе покажи, дурню, — все равно не поумнеешь! — бросает на-ходу Бендер. — Афишу такую — на все тумбы: царь тебя, чахоточного, министром жалует...

— Ты, уважаемый, не бреши, — сами с усами!

— А ты, Костя, не слушай, если не веришь. Отмену войны печатаем... сюрпризом!

— Вот рыжий!.. Так завирается, что и дома не ночует!

— Что верно — то верно: не ночую! — ухмыльнулся Бендер, продолжая работу.

Задетый его локтем, оттиск „шапки“ слетел на пол лицевой стороной вверх. Один из альтшуллеровских рабочих низко нагнулся над ним и вслух, чтобы слышали все остальные, прочитал заголовок.

— Ну, ты! — кинулся к нему Яша. — Завтра, гляди, к приставу побежишь!

В ответ все услышали вдруг громкую, сорвавшуюся с чьих-то горячих уст матерщинную брань.

— В чем дело? — прибежал из другого конца наборной Сергей Леонидович.

— Я ему, паршивцу, за пристава морду набью! — кивнул на Бендера альтшуллеровский рабочий. — Когда это Костя Прохоров лягавым по участкам бегал?

— Кто это Прохоров? — непонимающими глазами смотрел Ваулин.

— Я — Прохоров, — сказал горделиво большеголовый и большеротый, как лягушка, скуластый „пленник".

— Ну, и что, товарищ?

— А вот то!.. Вы говорите „товарищ", а он, ракло, шпиком обзывает. Дело это, — как по-вашему?

Через минуту-другую с помощью Ваулина наступило примирение. Но тот, кто звался Прохоровым, уже не отпускал от себя Сергея Леонидовича:

— Послушайте, уважаемый... не знаю, конечно, как звать вас. Понимаем теперь, конечно, для чего в таком виде заявились.

— Да мы и не скрываем, в общем... — усмехнулся Ваулин. — Зачем нам перед рабочими скрывать? Мы вам тут несколько газет оставим, — пообещал он.

— Спасибочко! — отозвался кто-то из рабочих.

— Чего тут спасибочко? — огрызнулся в его сторону Прохоров. — Мамка кашей накормила!.. Уважаемый, если на то пошло, чего сидеть нам без дела? Развязывай — поможем! — сердито сказал он Ваулину.

— Тю-тю-тю... Еще Курдюмову морду будешь бить, — а? Опять вязать придется? — шутил Сергей Леонидович, а сам пытливо наблюдал за лицом „пленника".

— Да ну его, рыжую говядину! — сплюнул сквозь зубы тот. — Разве о том разговор, уважаемый?.. Поможем? Верно? — повернул он голову к своим. — Ведь дело какое, братцы!

— Дело собственное, — сказал тихо, задумчиво волоокий, тощий рабочий и тут же скрипуче закашлялся.

— Развязывай, развязывай, уважаемый!

— Мы не хуже вашего Васьки, товарищ.

— Ходил он сюда, работал — тихоня-тихоней, никакой тебе сознательной, значит, агитации промеж нас. А в компании вашей — ишь, забияка нашелся!

— Дома щи без круп, а в людях — шапка в рупь!

Угристый, с алкогольной слезой в выцветшем глазу, пренебрежительно посмотрел на Бендера. Тот смущенно молчал.

— Вы его не ругайте, товарищи, — строго сказал Ваулин. — Кабы все были таковы... настоящий революционер.

— Все может быть, конечно... — примирительно ответил вдруг угристый и так же неожиданно подмигнул добродушно охаянному секунду назад товарищу.

„Развязать? — думал между тем Сергей Леонидович. — Лишних пять человек, удвоится скорость работы. Можем без них не поспеть, а с ними вылезем к утру. Не вылезем к утру — все дело пропало, бесцельный труд...

скандал в Пека! На крайний случай можно, конечно, только двухполосную сделать. Но это же не то, не то!.. Развязать? — мучился он этим вопросом.— А вдруг это только хитрость с их стороны? Подымут шум, захотят бежать— стрелять тогда, что ли? Все равно погибло тогда все, да и в *кого* стрелять?! Нет, они, кажется, не предадут!" — решил он наконец.

Он сам развязал руки Прохорову и отвел его в сторонку:

— Товарищи вас не выдадут завтра?

— Всех знаю, уважаемый. Всех! Чтобы кто? — да боже сохрани! Опять же, все будем работать — круговая порука! Когда уходить будете, — давал он советы, — завяжите опять нас. Тряпки для блезиру в рот, в кладовой заприте... вроде насилия — и все тут. Уж будьте уверены, — положил Прохоров руку на ваулинское плечо.

Пришедшие в наборную Громов и Ваня-печатник не мало были поражены, увидев у касс двойное против прежнего количество рабочих.

— Ай, дело... ай, дело, Андрей Петрович, — захлебывающимся голоском подпевал Ваня.

Вот — сверстана первая полоса, вот, через час, — вторая.

Сергей Леонидович берет корректурные оттиски, смешливо и радостно нюхает полосы — типографскую краску. Она никогда еще не имела такой бодрящий запах!

Часы показывают четверть третьего ночи.

Спит в этот час Ирина, Лялька, мать... И скоро выйдет из соседней комнаты во двор, на улицу — в „очередь" с кошелкой в руках — милая Шура. Он обещал ей и выполнил...

Эта мысль забежала на секунду в его напряженно работавший мозг, — но тотчас же Сергей Леонидович стал думать о другом.

На доске лежат набранные заголовки для статей:

„МЕСТНАЯ С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ"

„В ЛИБЕРАЛЬНЫХ КРУГАХ"

„ПОТЕРЯ ЛЮДЬМИ ЗА ДВА ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БОЙНИ НАРОДОВ"

„К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ"

„ЗА ГРАНИЦЕЙ"

„ПРОВИНЦИЯ"

— Быстрей, быстрей, товарищи!

— Четыре будет, уважаемый?

— Да, да.

— Четвертую полосу не успеть, пожалуй!

— Не вязали бы нас сразу!

— А кто вас знал, непартийных!

— Пускай хоть три будет, и то дело!..

Газета, чорт возьми, плохо верстается, к тому же... Не подходит формат бумаги, остаются большие поля, — ничего, ничего, рабочий читатель не будет в претензии...

— Завтра, ребятушки, на всех станках лежать будет, родимая!

— Ух, пу-у-уля!

Наконец-то, приправка форм в машине. Здесь все в руках Вани-печатника.

Сергей Леонидович с нетерпеливым восхищением следит за тем, как он ловко орудует молоточком, как послушны ему винты и винтики, с которыми ему, Ваулину, никогда не справиться...

— Все, Ваничка?

— Одну минутку, Леонтий Иосифович!

Громов подмигивает: „Гм, Леонтий Иосифович...“

— Ошибка, ошибка в заголовке! — наклонившись над формой, выкрикивает кто-то.

— В чем дело?

— „Местная“ — слово через ять, а тут буква „е“.

— Чорт с ним, с твоим собачьим ять! И без него понятно.

— Все, Ваничка? — опять спрашивает Ваулин.

— Все как будто на сей раз.

— Ура! Пускай!

— Мотор?

— Куда, к чорту, мотор! — предостерегает Громов. — Шум будет.

И вот — первый ручной поворот колеса машины. Его вертят по очереди все.

Вот первые оттиски газеты: четвертая полоса пустая, на третьей — один столбец поставлен вверх ногами. Но ничего не поделаешь: не переделывать же сейчас, в четвертом часу ночи?..

— Стоп!

Готова первая горка газет.

— Сообщите патрулям, чтоб нанимали извозчиков!

— Становись, дышло, на упаковку! Чего зря стоишь?

— Готово!

— Андрей Петрович, займите всех освободившихся людей.

— Уже занял.

— Двести!

— Перевязывай в пачку...

— Все в порядочке!

— Вали, родная!

— Извозчики готовы?

— Нет еще.

— Надо быстрей... быстрей, товарищи!

— А как же мы?

— А что?

— Вяжи, вяжи пачки!

— Да не пачки, Андрей Петрович, а людей! — напоминает Ваулин. — Удалось, удалось! — весело и громко выкрикивает он, обнимая за плечи „лекаря“, потом скуластого, пожелтевшего за ночь Прохорова.

Он подбегает к конторке, отрывает кусок белой бумаги, минуту думает о чем-то, подзывает Прохорова:

— Смотри!

Он пишет „печатными“ буквами и все время усмехается.

Г. Альтшуллер! В вашей типографии печатали сегодня орган соц.-демократов большевиков. Приносим, конечно, извинение, но вынуждены

были захватить, потому что охранка арестовала нашу хорошую технику. Посему счет за причиненные убытки предъявите генералу Глобусову. Будет революция — тогда еще увидимся. А пока охотно удостоверяем наше пребывание здесь, оставляя вам на память номер нашей газеты. Рабочие ваши ни в чем невиновны. А тот, кто был *нашим*, шлет вам прощальный привет.

— Больше ничего не надо?

— Все в порядочке, уважаемый! — смеется Прохоров.

На улице патрульный подбежал к стоявшему за углом извозчику.

— Занят! — равнодушно ответил тот.

„Занят? В такой час?“ — удивился патрульный и бросился к другим санкам, ехавшим навстречу.

— Тысяча двести!

— Нажимай, нажимай!

— Ребята, связывай друг друга... кто здешний!

— Успеется!

„Явки“ (их четыре по всему городу) знают только Сергей Леонидович и Громов. Оттуда поджидающие там „восьмерки“ из молодежи разнесут газеты по фабрикам, мастерским, на железную дорогу.

— Пора отвозить, — говорит Ваулин. — Одну возьмет Ваня на себя — в Лесной пусть: ему по дороге. Две вам придется, Андрей Петрович, четвертую — мы с Бендером обслужим. Ладно?

— Так точно, товарищ главнокомандующий! — шутливо козыряет Громов. — Ну, и высплюсь же я завтра!.. — потягивается он всем телом.

Свет погашен в типографии. Медленно плывет в окна серый рассвет.

— Вот армия родилась ночью... — смотрит Сергей Леонидович на связанные пачки газет. — А ведь вышло, Андрей Петрович? А?

Во дворе Ваню-печатника, нагруженного двумя большими пачками, встретил патрульный. Он помог ему донести до извозчика газеты.

И, когда Ваня отъехал уже, патрульный заметил, как через минуту выехал вдруг из-за угла тот самый извозчик, который заявлял, что „занят“, с двумя седоками в полицейской форме. Они помчались вслед за Ваней.

Патрульный бросился бегом в типографию, чтобы предупредить товарищей об опасности, но под аркой во второй двор его схватили с обеих сторон чьи-то крепкие руки, и, подталкивая, полицейские повели его обратно на улицу — в подъезд соседнего дома.

— Много вас там? — интересовался коренастый пожилой полицейский. — Тоже... задали, сукины сыны, службу! — недовольным голосом говорил он.

Патрульный многое сейчас не понимал. Не понимал и того, почему так ворчит этот „фараон“ с седыми подусниками.

А „фараона“, как и двадцать пять других городовых, собрали еще с вечера, не объявив для чего, и старик не успел выпить дома целительного бальзама против изжоги и попрощаться на ночь со своей старухой.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ

Апрель 1935—Июль 1936 г.

Борис Корнилов

ДЕТИ

Припоминаю лес, кустарник,
незабываемый досель,
увеселенья дней базарных—
гармонию и карусель,

Как ворот у рубахи вышит —
звездою,
гладью
и крестом,
как кони пляшут,
кони пышут
и злятся на лугу пустом.

Мы бегали с бумажным змеем,
и учит плавать нас река,
еще бессильная рука,
и ничего мы не умеем.

Еще страшны пути земные,
лицо холодное луны,
еще для нас
часы стенные
великой мудрости полны.

Еще веселье и забава,
и сенокос
и бороньба,
но все же в голову запало,
что вот — у каждого судьба.

Что будет впереди, как в сказке —
один индейцем,
а другой
пиратом в шелковой повязке
с простреленной в бою ногой.

Так мы растем.
Но по-иному

другие годы говорят,
лет восемнадцати из дому
уходим смелые под ряд.

И вот уже под Петербургом
любуйся тучею сырой,
довольствуйся одним окурком,
заместо ужина порой.

Глотай туман зеленый с дымом
и торопись ко сну скорей
и радуйся таким любимым
посылкам наших матерей.

А дни идут.
Уже не дети,
прошло три лета,
три зимы,
уже по-новому на свете
воспринимаем вещи мы.

Позабываем бор сосновый,
реку
и золото осин,
и скоро десятифунтовый
у самого родится сын.

Он подрастет горяч и звонок,
но где-то есть
при свете дня,
кто говорит, что „мой ребенок"
про бородатого меня.

Я их письмом не побалую
про непонятное свое.
Вот так и ходит в круговую
мое большое бытие.

Измерен весь земной участок,
и я, волнуясь и скорбя,
уверен, что и мне нечасто
напишет сын мой про себя.

ЕКАТЕРИНА

А. Мариенгоф

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА

Нуждаясь в деньгах своего господина, испанские генералы находили значительные суммы под заклад своих усов.

Марат.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

21 апреля 1729 года в городе Штетине у генерал-майора прусской службы, проживавшего в угловом доме № 791 по Домштрассе, родилась дочь.

Для углового дома это явилось событием. Впрочем, по случаю рождения девочки несколько раз выпалили из пушки в пехотном полку № 8, которым командовал генерал-майор.

Нельзя сказать, чтобы тридцатидевятилетний отец был особенно счастлив. Какой же уважающий себя солдат мечтает о дочери?

Роды были тяжелые, и потребовалось немалое акушерское искусство, чтобы в конце концов появилась на свет девочка.

Когда отцу принесли новорожденную, он ее оглядел с вымуштрованной добросовестностью, но из чужих рук.

У генерал-майора были круглые глаза, по-лошадиному красивые. Для полного сходства с глазами благородного животного им нехватало лошадиной задумчивости.

Оглядев дочь, генерал-майор сказал резким некомнатным голосом:

— Унести.

Казалось, что он отдал приказ своему пехотному полку, проводившему экзерциции на городском плацу.

Оставшись один, отец крупным солдатским шагом подошел к двери и запер ее на ключ, словно для того, чтобы укрыться от стыда. У его ребенка было жидкое воспаленное тельце, и непомерно большая лысая голова, и слезящиеся глаза в красных веках, и руки словно корешки, а ноготки прелестные—миндалинками. Но их увидела только мать, находящаяся в полубеспамятстве. А все остальное она проглядела.

Генерал час-от-часу становился мрачнее. Он маршировал по комнате. Ему казалось, что его колебали мысли. Но как человек, не привыкший думать, он все время одну и ту же фразу, обидную для своего ребенка, ворочал и переворачивал в голове. Потом генерал сел в кресло, подставив кулаки под мясистые щеки. Отвис второй подбородок.

Всё та же фраза разбухала в мозгу. Генерал физически ощущал, как тесно мыслям в его черепной коробке. Ему чудилось, что лобные кости болезненно растягиваются, что они растягиваются от мыслей, которых не было. Генерал

думать не умел, а подумать ему не мешало бы. Ну, хотя бы о своих победах над трактирными служанками в дни Нидерландского похода. А девки с острова Рюгена? А померанские солдатки? А война за Испанское наследство? Хорошенькие чертовки таскались за армией.

Но у генерала была плохая память.

Несколькими годами позже, уже в чине генерал-лейтенанта, небо подарит ему наследника (боже мой, до чего же неточно мы выражаемся). Мальчик родится с усыхающей ножкой. Его детским товарищем станет костыль.

Вторая и третья дочь генерала не задержатся на белом свете.

А на пятьдесят втором году жизни у главы дома, после удара, отнимется левая половина тела.

Нам кажется, что в жилах генерал-майора прусской службы князя Христиана-Августа из Ангальт-Цербтского дома текла грязная кровь.

2

Девятнадцатилетняя кормилица, жена барабанщика, с античным бесстыдством вынула розовую грудь, имевшую форму мяча, и заткнула соском как пробкой маленькую орущую пасть.

В комнату вошло солнце.

Генерал улыбался. Радость его была неподдельна, а улыбка чем-то напоминала виляющий собачий хвост. Генерал не мог бы, подобно собаке, словами выразить свое настроение.

— Итак, — сказал он, — мы наречем ее Софией-Августой-Фредерикой в честь теток.

Молоко, перелившись через губки ребенка, окапало кружева, пенящиеся вокруг воспаленного тельца.

— Мы будем называть ее Фике. Правда, это отличное имя?

— Да, это отличное имя, — повторила мать.

Она была так худа, что казалось, будто одеяло неряшливо брошено прямо на кровать: тело не образовало никакой горки.

Большие синие глаза смотрели на мужа и не понимали, чему он радуется. „Впрочем, — подумала роженица, — он может радоваться, у него мясистые щеки и два подбородка".

— А почему у Фике заплаканные глаза? Не мучилась ли она животом? — спросил отец.

Вместо ответа, прозрачная женщина провела рукой по вискам: генерал не умел говорить тихо.

— Это они у нее слезятся, — ответила кормилица.

— Чепуха, у Фике отличные глаза! Они горят, как пуговицы на мундире, — сказал генерал и заулыбался.

Блаженная родительская слепота осенила его своей благодатью с небольшим запозданием. А Иоганна-Елисавета успела даже забыть, что у дочери необыкновенные ноготки-миндалинки. Молодая женщина думала о себе.

— Принесите мне ручное зеркальце, — попросила она мужа.

Генерал ткнулся туда-сюда и не нашел. Хотел переложить с кресла на столик молитвенник. Из него выпало зеркало. Оно не разбилось. Генерал выпрямился. Он был к богу прилежен. Красная сеточка затянула белки круглых глаз. Видимо, кровь прилила к голове. Генерал несколько раз провел прямой ладонью по волосам, гладко зачесанным и связанным назади в пучок, согласно моде Фридриха-Вильгельма.

— Каким образом ваше зеркало попало в молитвенник? — спросил он жену недовольным голосом.

Больная лежала с опущенными веками. Ей почему-то было приятно, что она огорчила этого прусского служаку с мясистами щеками.

— Каким образом ваше зеркало попало в молитвенник?

Женщина молчала.

К счастью, генерал был воспитанником Рыцарской академии в Берлине. Орден Великодушия он получил не за то, что колотил женщин, но потому, что стрелял в людей, рубил их и отдавал команду прикалывать штыками.

3

Христиан-Август стал штетинским комендантом. Из углового дома господина Ашерслебена семейство переехало в замок древнего строения. Коменданту полагалась казенная квартира. В свое время в замке проживали герцоги померанские. Прямые башни стояли как прусские гренадеры. А башня южного флигеля даже ворочала глазами, пугая ребят. На ней были часы с циферблатом, сделанным как лицо человека. Когда часы били — двигались мертвые глаза. Каменный прусский солдат держал в зубах цифру, которая означала месяц.

Маленькую Фике водворили в сводчатой комнате рядом с колокольней, а нежная мать предпочла устроиться на противоположном крыле здания.

У Иоганны-Елисаветы было много забот. Из Парижа ей присылали кукол, одетых по самой последней моде. Но муж был скареден, а штетинские портнихи сплошь дуры. Кроме того, король прусский не любил французских затей. Он, уподобляясь варвару, восставал против тростниковых, стальных или китового уса обручей, диаметром до четырех аршин, которые носились под юбками; а также восставал против мельничных крыльев и оснащенных кораблей, которыми франтихи украшали свои прически. Фридрих-Вильгельм желал, чтобы немецкие дамы были одеты менее красиво.

Как тут не потерять голову хорошенькой супруге коменданта? И молодая мать, получившая светское воспитание в Брауншвейге, награждала Фике колотушками, не всегда справедливыми.

Фике была поручена Магдалине Кардель. Как истая француженка, Кардель прежде всего стала обучать свою воспитанницу улыбаться.

Перед отцом, перед матерью, перед прусскими офицерами и штетинскими дамами ребенок должен был появляться улыбающимся. У знатных особ Фике целовала платье.

Песочную горку на городском сквере возле мрачного храма с золотым крестом Фике любила гораздо больше, чем замок герцогов померанских, и даже больше, чем свою сводчатую комнату с окнами во двор. Из влажного песка Фике выпекала хлеба для громадной булочной, сооруженной из щепок. У Фике было пять помощников-пекарей: дочь суконщика, дочь цирюльника и три дочери часовщика; а сын аптекаря был хозяином булочной.

Когда Магдалина Кардель вышла замуж за адвоката, около Фике, в качестве воспитательницы, очутилась толстуха Бабет, сестра Магдалины.

Красногубая, пышущая здоровьем толстуха вначале относилась к ребенку с брезгливостью, потому что маленькая Фике почти постоянно была покрыта золотушной корочкой. Когда болячки образовывались на голове, ребенка стригли наголо; замшевые перчатки скрывали болячки на руках. Впослед-

ствии эта голая напудренная головенка в чепце, эти худенькие ручонки в замшевых перчатках вызывали у толстухи Бабет не брезгливость, а теплое и почему-то щекочущее в носу чувство жалости.

4

У Фике на коленях лежала большая французская книга в красном переплете. „Фике должна знать много басен Лафонтена, очень много. Она дурнушка, ей надо быть умной и образованной, чтобы какой-нибудь принц из соседей взял ее в жены" — так все говорили: и мама, и мадмуазель Бабет, и господин пастор.

Третьего дня у Фике уже отняли куклы. Она не плакала. Она теперь будет играть с носовым платком.

Бабет смотрела в окно.

До чего же грустны ноябрьские сумерки в Штетине. А где они не грустны? Ах нет, в Штетине особенно! В Штетине они не имеют цвета, не имеют начала, не имеют конца. Так кажется.

Ветер выл.

„Самое гадкое, — подумала Фике, — когда воет ветер или когда воет скрипка или собака. А другим людям почему-то скрипка и орган нравятся, а если воет собака, они сердятся". Фике это было непонятно. „Не все ли равно".

Бабет сказала:

— А теперь прочтем вечернюю молитву.

Девочка опустилась на колени. Но читать молитву она не смогла. Ее стал душить кашель. Пришлось взять Фике на руки и отнести на кровать.

Утром мягкой стопой вошел в комнату врач. Он был в красном плаще, в башмаках с тупыми носками и при шпаге. Но рассуждения порядочного в медицинских науках не имел.

Болезнь, начавшаяся рвотным кашлем и колотьями в левом боку и сильным жаром, имела бедственные следствия: у ребенка искривился позвоночник.

Врач в красном плаще входил и уходил мягкой стопой, а худенькое тельце являло вид зигзага: одно плечо встало над другим, под крайним коротким ребром образовалась впадина, правое бедро опустилось, а тонкая шея сломалась как стебелек и окостенела.

Круглые глаза Христиана-Августа обрели лошадиную задумчивость.

Иоганна перестала говорить о брауншвейгских маскарадах.

Неслышно скользил по комнате мальчик с усыхающей ножкой.

Старый умный господин Больхаген сказал:

— Придется позвать палача. В Штетине только он один знает, как лечить такую болезнь.

Молодая женщина не решилась возражать. „Конечно, ей бы не хотелось звать палача к кровати своей дочери, но так как в Штетине никто не знает, как приступить к ужасной болезни, то волей-неволей придется за ним послать".

На другой день, вместо врача в красном плаще, в комнату вошел палач.

Волосы висели у него по щекам, как собачьи уши. Рот был сухой, пасторский. Веки низкие. Из-под кафтана полувоенного покроя смотрела рубашка очень белая.

Палач попросил, чтобы все оставили комнату.

Осмотр больной длился час и пятнадцать минут.

У палача были пальцы длинные, тонкие, холодные. Казалось, что они сделаны из прутьев тюремной решетки. Когда он касался ими Фике, по телу девочки пробегала дрожь.

— Вы приехали из Берлина? — спросила Фике, принимая палача за доктора, очень знаменитого.

— Да, деточка.

— А почему у вас нет шпаги?

Палач не знал, что ответить.

Наконец, отцу и матери и господину Больхагену было разрешено войти в комнату.

Палач сказал:

— Я пришлю в замок девушку. Каждое утро натощак она будет натирать своей слюной больные части тела.

Фике заплакала.

Палач погладил ее по головке своими холодными длинными пальцами.

— Кроме того, я сделаю для вашего ребенка особый корсет. Не снимайте его ни днем, ни ночью. Приходить я буду через день. Девочка выпрямится.

Палач ушел.

У Иоганны-Елисаветы вырвался вздох облегчения.

Христиан-Август смотрел на своего мудрого старого друга счастливыми глазами.

— Вы слыхали, господин Больхаген, что он сказал?

— Да сударь.

— Он уверен, что Фике выпрямится.

— Да, он в этом уверен.

Палач приходил в замок, как обещал.

Через полтора года стали появляться надежды на выздоровленье.

Слюна девственницы помогла.

ВТОРАЯ ГЛАВА

1

Христиан-Август сковырнул вилкой печать, напоминающую громадную запекшуюся каплю крови.

— Телятина остынет, сударь, — не без раздраженности сказала цербтская княгиня.

Ее светскость не могла простить мужу сковыривания печатей вилкой и чтения бумаг за обеденным столом.

„О, эти люди Фридриха-Вильгельма!“ — так в то время обзывали старомодных господ, одетых, говорящих, двигающихся и думающих не по моде.

Надо сказать, что во все времена одевались, говорили, двигались и думали не по моде либо глупцы, либо бунтовщики. К лицам второй категории, к сожалению, мы никак не можем отнести князя. Впрочем, впоследствии императрица Екатерина II уверяла, что ее отец держался республиканских убеждений и что в этом отношении она являлась прямой наследницей прусского генерала.

Христиан-Август, окончив переборку бумаг, сказал некомнатным голосом:

— Тут, сударыня, и для вас кое-что имеется, — и добавил значительно: — из Петербурга.

— Давайте же, давайте! Ах, как вы медлительны, — воскликнула светская женщина, выхватывая из негнущихся пальцев большой толстый пакет цвета слонового клыка.

Но прежде чем вскрыть, она сочла необходимым исследовать его на свет, повертеть в руках и трижды перечитать ничего незначущие слова адреса, выведенные крупным красивым почерком.

Наконец, цербтская княгиня, забыв всякую светскость, нервически сломала печать.

— Это от гофмаршала Брюммера, сударь.

— Что ж он сообщает?

Телятина под белым соусом, по мере чтения брюммеровского письма, остывала на тарелке, а лицо цербтской княгини, вследствие трепетания духа, распестрялось пятнами.

Петербургский пакет вывел Фике из мечтательного полузабытья. Через плечо матери ей удалось прочитать следующие фразы:

„ ...хлопотал и употреблял всевозможные старания, чтобы довести дело до желанного конца... Эта августейшая императрица желает, чтобы Ваша Светлость в сопровождении принцессы старшей Вашей дочери прибыли возможно скорее и не теряя времени в Россию... Ваша Светлость слишком просвещена, чтобы не понять истинного смысла... и принцессу Вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего... несравненная монархиня мне именно указала предварить Вашу Светлость, чтобы принц супруг Ваш не приезжал вместе с Вами...“

„Это очень мудрое указание“,—положила в мыслях неверная жена.

„Бедный папа“, — подумала любящая дочь.

Прочитанное письмо Иоганна-Елизавета сунула под тарелку.

— После обеда, сударь, пройдите ко мне в комнату. Мне надо с вами поговорить, — сказала она мужу.

Даже фельдмаршал заметил, что его супруга не могла скрыть трепетания духа.

Когда Фике, изъявив благодарность, отходила от обеденного стола, цербтская княгиня взглянула ей вслед.

— Обратите внимание, сударь, на вашу дочь. Не правда ли, у нее походка королевы?

Фельдмаршал удивленно поднял на жену свои круглые глаза.

А Фике, действительно, передвигалась со смешной важностью. Железный корсет палача и черная шейная лента, снятые не столь давно, сделали девочку чересчур прямой.

Не успела взволнованная княгиня высказать фельдмаршалу и половину своих соображений по поводу письма обер-гофмаршала Брюммера, как в Цербт пришла вторая эстафета из Берлина.

„Совершенное почтение, питаемое мною к Вам и ко всему, касающемуся Вас, обязывает меня сказать Вам, какова собственно цель этого путешествия, и доверенность моя к вашим прекрасным качествам позволяет мне надеяться, что Вы осторожно отнесетесь к моему сообщению по делу, успех которого вполне зависит от непроницаемой тайны. В этой уверенности я не хочу далее скрывать от Вас, что вследствие уважения, питаемого мною к Вам и принцессе Вашей дочери, я всегда желал ей доставить необычное счастье и у меня явилась мысль, нельзя ли соединить ее с ее троюродным братом русским великим князем. Я приказал хлопотать об этом в глубочайшем секрете, в надежде, что это не будет Вам неприятно“—писал Иоганне-Елисавете король прусский Фридрих II.

2

Прошло трое суток, а с Фике никто не говорил о письме обер-гофмаршала Брюммера. Она лишилась сна и аппетита. Она даже перестала улыбаться.

„Августейшая императрица желает, чтобы Ваша светлость в сопровождении принцессы Вашей дочери прибыли возможно скорее и не теряя времени в Россию"—эта фраза ни на минуту не выходила из головы.

„Господи, ведь в письме совершенно ясно сказано „не теряя времени", а они вот уж третьи сутки, как запираются в кабинете и все о чем-то совещаются. Всесильный бог, о чем тут можно совещаться? о чем говорить? что обсуждать?"—думала она, до боли сжимая ладонями свои слишком высокие виски.

Был день, когда Фике ела свиные котлеты, гуляла по Цербту и ложилась в кровать в короне, совершенно явственно ощущая ее холодок, ее тяжесть. У Фике даже слегка уставала шея. Но какая это была приятная усталость. А теперь!... „Боже мой, боже мой!" — и воспаленные глаза цербтской мученицы уже видели эту прекрасную тяжелую русскую корону то на дочери французского короля, то на сестре Фридриха II, то на саксонской принцессе, то на голове толстухи Бабет. „Господи, я, кажется, схожу с ума".

И, не выдержав характера, Фике пошла к матери разговаривать.

— Это я. Разрешите войти, — сказала девица не своим голосом.

— Входите, сударыня.

Иоганна-Елисавета рассматривала куклу, только что полученную из Парижа. Кукла была причесана и одета по самой последней моде.

Фике вкрадчивыми шагами приблизилась к матери. Та, не выпуская куклы из рук, спросила:

— Вы очень беспокоитесь? Вы умираете от любопытства, сударыня?

— Да, конечно, — ответила Фике, улыбаясь.

Еще ни разу в жизни ей не было так трудно улыбаться.

— Письмо, полученное из Петербурга, волнует не одну меня. Оно волнует всех в доме.

— А что говорят о нем? — рассудила поинтересоваться Иоганна-Елисавета, продолжая рассматривать фасон маленьких фижм цвета железа, тронутого ржавчиной. — Не правда ли, сударыня, эта кукла божественно одета? Однако, что же говорят о петербургском письме у нас в доме?

— Всякие пустяки.

— А вы, сударыня, что вы об этом думаете? Что по-вашему в нем заключается?

— В нем заключается...

Ах, Фике очень хотелось бы в эту минуту не показать волнения; однако не все сразу дается.

На вопрос цербтской княгини Фике с волнением ответила:

— В нем заключается приглашение русской императрицы. Вас и меня зовут в Россию.

— Откуда вам это известно, друг мой?

Фике несколько растерялась.

— Ну-с, я вас слушаю, — продолжала допытываться княгиня.

Фике стала врать:

— Я узнала это через гаданье.

— Вот как?

— Да! да! — очень искренно воскликнула лгунья. — Фразу о приглашении нас в Россию я вывела из букв, составляющих мое и ваше имя. Я научилась этому искусству в Брауншвейге от одной женщины.

И Фике принялась пояснять с видом старого опытного мага:

— Буквы и цифирки рассыпаются по канве. Конечно, надо знать, как ее расчертить. Тут на помощь приходят звезды. Потом при помощи точек определяешь порядок. Это совсем не просто. Над одной маленькой фразой я билась тринадцать часов.

— Ну, если вы такая ученая, — сказала насмешливо цербтская княгиня,— вам надо лишь отгадать остальное содержание делового письма в двенадцать страниц.

— Хорошо, я постараюсь это сделать, — ответила Фике и, поклонившись, удалилась со спокойной важностью, которую она обрела еще быстрее, чем потеряла.

Вечером юная комедиантка передала цербтской княгине записку следующего содержания: „предвещаю по всему, что наследник Российского престола Петр Федорович будет твоим супругом".

Прочитав записку, Иоганна-Елисавета сделала вид, что очень удивлена:

— Да вы, сударыня, пифия!

Тогда Фике упала на колени и, целуя у матери руки, стала умолять о согласии на поездку в Россию.

3

Христиан-Август не с легким сердцем отпускал дочь и жену. Россия — это топор, колесо, кнут, каземат, Сибирь, оспа, дворцовые революции и греческая вера.

„Глупая маленькая Фике, откуда ей знать, в чем счастье?"

И фельдмаршал против всех своих обыкновений сажал дочь на колени и смотрел на нее глазами грустными, как у старой лошади; потом прижимал большелобую головку к своим холодным пуговицам и колючим орденам, к груди, колеблемой глубокими вздохами; потом гладил жесткими солдатскими ладонями коричневые волосы и некомнатным голосом, но татим нежным, чертовски нежным, вел моральные и критические рассуждения:

— Сколько вам лет? Четырнадцать! Вы еще и в невесты-то не поспели. Куда спешить? А когда придет время, мы вас выдадим за соседнего принца, за принца цивилизованной страны. Вот увидите, мы вам найдем красивого жениха, он будет лютеранской веры. Самое большое счастье иметь чистую душу. Мне страшно подумать, что вас могут заставить в России переменить веру. Подумайте о душе.

Критические и моральные рассуждения фельдмаршала были очень длинны и очень многообразны: душа, вера, Россия, бог, царствие небесное, царствие земное, чистое сердце... чистое сердце, царствие земное, царствие небесное, бог, Россия, вера, душа.

„Лучше отказаться от неверной короны, чем поступить против своей совести".

Душа, вера, Россия, бог...

В который раз?

А Фике в ответ только плакала. Она прекрасно понимала, что на слезы любимой дочери фельдмаршалу трудней возражать, чем на слова.

— Скажите же мне что-нибудь,—умолял несчастный отец.

А Фике покрывала поцелуями его руки.

— Пройдите к себе и попросите, чтобы меня никто не беспокоил, — сказал Христиан-Август.

Он страдал от скорбного предчувствия.

Фике поднялась с колен и с повисшими руками направилась к двери. На пороге она повернула к отцу мокрое лицо и почтительно поклонилась.

Замок щелкнул.

Покорная кроткая девица на мгновение остановилась в пустынном сводчатом коридоре, хлопнула в ладоши, подпрыгнула и, перевесившись через перила, скатилась на животе в первый этаж.

А фельдмаршал, колеблясь в мыслях и с глазами, обращенными к распятью, сидел в кресле. Он совещался с богом и с самим собой. На это занятье ушло довольно много времени.

Выплыла луна.

Фельдмаршал подошел к письменному столу и зажег свечи.

Фельдмаршал отточил перо. Перед маленькой Фике лежала жизнь. Отец решил дать своей крошке несколько мудрых наставлений, так сказать, крепкий посох, с которым она пройдет по жизни, не споткнувшись. Только бы она не выпустила его из своих слабых ладоней.

Фельдмаршал недаром прожил свой век. Теперь у фельдмаршала есть святая обязанность—передать дочери всю свою житейскую мудрость. Пути господа неисповедимы. Кто знает, может быть и вправду крошку Фике ждет русская корона. Как же отцу не облегчить тяжести ее?

Христиан-Август обмакнул перо и, перекрестясь, вывел первые слова:

„Pro memoria“, что означает „на память“.

Он писал всю ночь. Судорога дважды сводила узловатые подагрические пальцы. В первый раз — на фразе, рекомендующей Фике „униженно оказывать ее императорскому величеству всевозможное уважение“... и во второй раз на практическом поучении „милостивыми взорами смотреть на слуг и фаворитов государя“.

Качающееся пламя свечей вызвало острую резь в глазах.

„Карманные деньги, какие только будут отпускаться, держать у себя и хранить, выдавая понемногу прислуге, по счету“ — этот абзац фельдмаршал написал полуслепым.

Первые лучи белого зимнего солнца, неторопливого в своем восхождении, совершенно обесцветили качающиеся язычки оплывших свечей, вернее огарков.

Фельдмаршал поставил жирную точку.

— Утро!

Он скинул сапоги; откинулся на спинку кресла; вытянул ноги, вытянул руки,—в локтях и коленях лирически хрустнули косточки.

— Какое прекрасное утро!

А слишком обыкновенное зимнее утро, пронизанное пугливыми белыми лучами, казалось ему таким прекрасным потому, что он испытывал одновременно и приятное чувство исполненного долга и вполне понятное чувство гордости от сознания силы и глубины своих мыслей.

4

Из Цербта выехали на колесах.

От плаканья у толстухи Бабет нос стал, как синяя слива.

Фике сказала своей воспитательнице: „уезжаем в Берлин и через несколько недель будем обратно“.

Русская императрица и прусский король приказали окутать непроницаемой тайной это путешествие. И все окутывали. А Фике больше других. Но так как на свете не бывает непроницаемых тайн, то как раз те, кому не следовало бы знать, прекрасно знали цель и конечную черту путешествия.

Бабет была убеждена, что она видит свою „щепочку“ в последний раз. Поэтому-то мадмуазель и плакала так горько.

Если вы будете убеждены, что видите в последний раз цепного пса или свою детскую кровать или небо, под которым выросли, вы, может быть, тоже заплачете. И совсем не оттого, что все это вам бесконечно дорого. Нет, просто-на-просто видеть что-либо в последний раз очень грустно. Это говорит о краткости и обреченности жизни.

Свита состояла из горничных, лакеев и повара. Всего несколько человек. Багаж не тяжелый — немного платья, немного белья. Уложили, что было. Считали не дюжинами.

В Берлин приехали 11 января. На придворном ужине Фике сидела рядом с прусским королем. Фридрих II расточал любезности большелобой девочке.

— Вы наполнены прелестей, амуров и граций, — так говорил он некрасивой девице, а сам думал: „чорт ее знает, эту Россию с ее ордами, татарами, киргизами, казаками, тысячемильными пространствами, проклятыми городами, до которых никакая армия не домарширует“.

О музыке Фике проронила, что она „громадная“. Что-то смешное девица сказала и о поэзии.

Король был человеком беседы. Он говорил и говорил о комедиях, о балетах, о маскарадах.

Односложные ответы, казалось, приводили короля в восторг; улыбка, заморозившая полудетское лицо с длинным подбородком, казалось, совершенно его пленила.

„Чорт ее знает, эту Россию! Хоть бы девчонка-то оказалась добрых поведений. Татары, киргизы, казаки... А девчонка-то слишком уж обыкновенна, ничего выдающегося. Татары, киргизы...“

У короля разболелась голова.

5

Фике дремала. Ей чудилось, что они едут по холодному черному кофе. Она открыла глаза. Грязь и вправду была похожа на кофейные недопитки.

Лошади не везли, а тащили карету. Христиан-Август свистел носом. Иоганна Елисавета страдала по этой причине. А когда она спала, она тоже свистела носом, только на другой — тоненький манер.

Фике не умела мечтать, но она умела и любила думать о будущем, ощущая его по-своему. Ее будущее никогда не принимало таинственных очертаний. Оно не было некоей туманностью—расплывающейся, рассеивающейся, колеблющейся. Фике во сне ни разу не летала. Она и в сновидениях или ходила по земле, или сидела в кресле, или ела телятину.

Девочка, не имеющая дюжины ночных рубашек, довольно часто ночью примеряла порфиру. Примеряла серьезно и деловито, несмотря на то, что стеганное одеяло исполняло обязанности пурпура и горностая.

Хлюпали подковы.

Фике полулежала с закрытыми глазами: „Самое важное понравиться.

Я сделаю все, чтобы понравиться. Я понравлюсь. Я должна понравиться“— говорила она себе в двадцатый, в тридцатый, в пятидесятый, в сотый раз.

„Я должна понравиться прежде всего Елисавете Петровне, потом Петру Федоровичу, моему жениху, потом России“.

В Шведте на Одере прощались с Христианом-Августом. Обе женщины, чтобы оказать почтение, горько плакали. Фельдмаршал обронил слезу, оказав любовь.

С Штадгардта начались морозы. Ехали в шерстяных масках с дырами для глаз.

Иоганна-Елисавета для сохранения тайны взяла имя графини Рейнбек.

От полулежанья и полусиденья у Фике распухли ноги. Ее выносили из кареты и вносили в карету на руках.

В Кенигсберге путешественники вынуждены были передохнуть два дня. От скуки лже-графиня решила почитать вслух сочинение Христиана-Августа. Она посадила Фике перед собой и, достав из чемодана „Pro memoria“, принялась декламировать с листа, подражая в интонациях знаменитой берлинской актрисе.

— ...никто не может ни заслужить, ни достигнуть царствия божия собственными делами, обетами или заступничеством святых, но все происходит от заслуг Христа, сына божия. Что сходно с этим верованием, то дочь моя может принять, все же несходное должна отвергнуть. При этом она должна иметь при себе лютеранскую библию, молитвенник и другие лютеранские книги, и взывать к господу богу, чтобы он до конца живота ее сохранил в ее вере.

Прямая улица. Прямые дома. Они будто подняли кверху руки: башни, башни, башни.

Фике на подоконнике стала писать письмо отцу.

„Государь!..“

Слова ложились на бумагу такие холодные, такие послушные, такие вязкие, что даже самой Фике они чем-то напомнили оставшуюся позади прусскую грязь.

„...умоляю вас быть уверенным, что Ваши увещания и советы навечно останутся запечатленными в моем сердце, равно как и семена нашей святой религии в моей душе, которой прошу господа ниспослать все силы, необходимые, чтобы выдержать те искушения, которым готовлюсь подвергнуться...“

Фике подняла глаза: прямая улица, прямые дома.

Окончив письмо, примерная дочь вывела скрипучим пером: „Кенигсберг, в Пруссии, 29 января 1744“.

Точно. Аккуратно.

Немка!

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1

Елисавета Петровна походила на размалеванный истукан. В кучу лисьих волос, осыпанных бриллиантами, было воткнуто черное перо величиной в пол-ноги. Громадные фижмы из серебряного глазета казались клубами банного пара.

Фике видела, как ее мать целовала руку у прекрасного истукана, а потом... „Господи, но что же это такое? — спросила себя девица, не на шутку перепугавшаяся, — почему же я вижу, как мама открывает и закрывает рот, и не слышу ее слов? Потеряла ли мама от страха голос или я оглохла?“

И в последнем отчаянии Фике ущипнула себя. Старое испытанное средство помогло. Словно издалека донесся знакомый голос, напоминающий бубенчик:

— ...просить вашего покровительства себе, остальному моему семейству и той из моих дочерей, которую ваше величество удостоило дозволением сопровождать меня в поездке к вашему двору.

В ответ закачалось, закивало, закланялось черное перо. Немецкая речь прекрасного истукана, по выговору, была не очень провинциальна.

— Все, что я сделала, ничто в сравнении с тем, что я желала бы сделать для своей семьи. Моя кровь мне не дороже, чем ваша. Намерения мои всегда останутся теми же, и моя дружба должна цениться по моим действиям в пользу всех вас.

Произнеся это, императрица приблизилась к Фике и, взяв в пухлые свои ладони ее большелобую голову (так точно берет баба на рынке крынку, полную молоком), заглянула в глаза, после чего три раза с чмоком поцеловала холодные улыбающиеся губы.

У обласканной на всем теле кожа стала гусиной. Впоследствии Фике утешалась, что и господа министры иностранных дворов не совсем хорошо себя чувствовали от елисаветинских заглядываний „во внутренности души“, как говорили русские.

2

Фике спала скверно: кусали клопы, неподвижная кровать на львиных лапах мчалась, императрица заглядывала в глаза, перины были горячие, капельки пота на животе — холодные.

„Скоро одеваться и итти во дворец. Верно, будет очень торжественно по случаю дня рождения великого князя Петра Федоровича. Ему исполняется шестнадцать лет. У него глаза почти желтые, как звезды. Но почему-то они смотрят только на толстых женщин. Господи, хоть бы стать ко дню рождения толстой. Почему чудеса случаются только в книжках?“

Плакала. Дышала на полотняный комочек и прикладывала его к векам. „Во дворце, верно, будет вся нация“. Так Фике называла придворную толпу.

Супругу и дочь прусского фельдмаршала, приехавших в Россию с несколькими чемоданами, снабдили в Петербурге „модною гардеробой“. Девицы Карр и Салтыкова научили Фике прическе с вытянутым до половины щеки локоном и с бантами, из которых торчали цветы. Оказалось, что императрица терпеть не может такой прически.

„Господи, что же одеть из петербургских платьев, чтобы стать толстой? А то Петр Федорович опять, разговаривая со мной, будет смотреть на мамины плечи. А ведь императрица гораздо жирнее, чем мама. Говорят, что Елисавета Петровна съедает за обедом целый косяк буженины, индейскую курицу и лопату пирогов. Я теперь тоже буду съедать лопату пирогов и тогда стану вдвое шире мамы. Господи, как же причесаться, чтобы угодить государыне? У всех женщин в России лица намалеваны. Надо сказать, чтобы мне принесли белил, румян и сурьмы. Нации нравятся намалеванные. Я всегда буду ходить с пунцовыми щеками, с белым носом и с черными толстыми бровями. В России любят все толстое".

И снова плакала — почему не умеет говорить по-русски, „папа виноват, он же знал, что Россия великая страна". Но плакать старалась одними губами, без слез, „а то веки будут красные и не понравлюсь".

3

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин пронзающими своими глазами-щелками смотрел на Москву.

„Бездельные холмы! и называются вздорно — гора Варгуниха, гора Варвара, Пупыши... Пупыши... Все они Пупыши!"

Но последние слова уже относились не к бездельным холмам московским, а к злодеям вице-канцлера — к Лестоку, и к Брюммеру, и к Шетарди, и к приехавшей княгине Ангальт-Цербтской. „Фридерикова кочерга! Станет теперь ею король прусский из печи жар загребать".

А про Мардефельда вице-канцлер думал: „посла завистливого государства нельзя лучше сравнить, как с дозволенным у себя шпионом".

Курантные часы на башне играли утро.

Извозчики с зелеными полостями трусили ранних седоков.

Алексей Петрович напялил малиновый кафтан. Погляделся в зеркало, обвитое серебряной лозой. Что-то стал делать губами. Почти всякий, глядясь в зеркало, что-то делает губами — один поджимает их, другой прикусывает, третий выпячивает. Губы у вице-канцлера как две темные нитки.

„Туман, экий белый туман". С чего-то вспомнились Бестужеву иностранные города. В Копенгагене Алексей Петрович обучался в шляхетной академии, в Берлине — в высшем коллегиуме; потом, с соизволения императора Петра I, находился в службе ганноверского курфюрста Георга-Людвига. Когда курфюрст стал королем Англии, Бестужев-Рюмин был послан в качестве английского министра из Лондона в Петербург с нотификацией о восшествии на престол.

„Блин поджарится и сам свалится", — сказал вслух Алексей Петрович, подумав о первейшем своем злодее маркизе Шетарди.

Проживая при русском дворе простым и, по-тогдашнему выражению, „бесхарактерным человеком", Шетарди играл в большую политическую интригу.

„Сажение вице-канцлера есть такое дело, как совершенно необходимо наперед учиниться имеет",—писал он из России в цифирном пассаже.

Перевод с французского не очень складный, но сделан он был человеком полезным — статским советником Гольдбахом из Бестужевской коллегии по иностранным делам. Этот статский советник, полу-немец, полу-еврей, обладал „особливым искусством" подбирать ключ к таинственной цифири, то есть к шифру депеш чужеземных.

Бестужев, поправив большой белый парик, уложенный по старой моде в долгий локон, отошел от зеркала.

Краснолапый голубь сел на подоконный вычур и заглянул в комнату. Колокола пели согласными голосами. Алексею Петровичу изрядно надоело слушать изо дня в день эту московскую музыку.

„Приведу государыне итальянскую пословицу, — решил Бестужев, — скажу: ваше величество, кто чрезвычайно льстит и по губам мажет, тот или обманул или обмануть ищет".

Это также относилось к маркизу Шетарди, о котором Бестужев не переставал думать. Впрочем, он готов был отнести итальянскую пословицу ко всем французам. Вице-канцлер предпочитал Англию.

„Древняя Российская и государя Петра Великого политическая система: у России с Англией общие интересы".

У Бестужева с Англией тоже были общие интересы.

4

В государских комнатах была толкучка. Воняло нюхательным табаком, печным жаром, скверной париковой пудрой и квасным рыгом.

Иоганна-Елисавета, бледная, ненарумяненная, с мутными глазами, причесанная не по вкусу императрицы, продиралась сквозь толпу бархатную, шелковую, муаровую, глазетовую, парчевую, золотую, серебряную и в драгоценностях.

Впереди матери шла Фике — улыбающаяся, размалеванная.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин жеманно точил вежливости на четырех языках.

И узкие глаза непонятного цвета, и губы — как две нитки, Бестужева — трепетали.

Вельможи, сверкающие золотым шитьем и драгоценными каменьями и орденскими знаками и лентами через плечо, но в бо́льшем числе своем не знающие родного чтения и письма, трепетали Бестужева: мстителен, лукав, изгибист, непримирим, мелочен, властен и химии любитель.

— Жизненные капли изобрел в Копенгагене, — шепчет кто-нибудь.

— Tinctura tonico nervina Bestuscheffi, — подтвердит иностранный медикус.

— Тынктура тоныка нырвына, — повторит глубокомысленно россиянин.

— Французскому королю биение пульса возвратили.

— Экие капельки.

— Чорт!

— Чорт полена не мягче.

Распахнулись двери обеими створками.

Вышла Елисавета Петровна, как горохом осыпанная бриллиантами. За ней следовал обер-егермейстер Разумовский, красавец с египетскими глазами. Он держал на ладонях поднос, на котором сверкали знаки ордена св. Екатерины — белые финифтяные кресты о восьми лучах.

Императрица надела сначала на Фике красную ленту в три пальца ширины, а потом на Иоганну-Елисавету. Статс-дамы прикололи им звезды к левой стороне груди.

После этого императрица поехала к обедне, а супруга и дочь прусского фельдмаршала знакомились с дамами — придворными и городскими.

Супруга прусского фельдмаршала много говорила, дочь — мало; супруга

проявляла внимательности только к самым „увышеннейшим особам", чтобы не уронить своего достоинства; дочь была мила со всеми без разбора, чтобы поднять свое достоинство.

5

Обедали в великокняжеских покоях. Петр Федорович сидел рядом с Фике. Она не уставала слушать. Он не уставал болтать.

— О, моя милая Гольштиния! Как вы думаете, сударыня, увижу ли я ее когда-нибудь наяву?

— Разумеется, ваше высочество.

— Сны, сны, сны... Чорт возьми, мне уж этого мало! Впрочем, только во сне я чувствую себя счастливым.

Подали кур русских жарких под лимоны.

— Сегодня, например, я всю ночь бегал по улицам своей столицы.

Он говорил о городе Киле.

Сны рассказывать чрезвычайно приятно. Все любят рассказывать сны. Слушать же их тоска неимоверная.

Рассказав длиннейшее сновидение, наследник российского престола спросил:

— Сударыня, случалось ли вам бывать в Киле?

— Нет, ваше высочество, не случалось.

— Ах, как мне вас жаль. Вы знаете, он очень маленький мой Киль. И все вокруг него маленькое — маленькие рощи, маленькие озёра, маленькие холмы, маленькая гавань с двумя сближающимися мысами. Это вполне в моем вкусе.

— И в моем также, — шопотом солгала Фике.

Наследник залпом выпил бокал венгерского.

— Чорт подери, самое отвратительное, что было в Гольштинии, сударыня, это господин Брюммер, и его-то мне пришлось привезти с собой в Россию. Вы его видели, сударыня? Я вам говорю — это чудовище и весьма мерзкое. Однажды в Киле он оставил меня на целые сутки без еды, а потом надел мне на шею картонное изображение осла и в таком виде приказал стоять в дверях залы, где пировали мужественные голштинские офицеры. Каково, сударыня? Изображение осла на шее наследника двух северных корон?

Петр Федорович был внуком Петра Великого и, по бабке, Карла XII.

— И это, чорт подери, только за то, что я не смог затвердить десятка шведских слов. Каналья! Клянусь всеми ведьмами, что в день своей коронации я его повешу при салютах из самых больших пушек. Всех же остальных воспитателей, учителей и русских попов выгоню в шею из своей империи.

Принесли гуся жаркого под скрылькн и под луковым взваром.

— А вас, сударыня, еще не начали обучать дурацкому русскому чтению и письму и обращать, чорт возьми, в греко-российскую веру?

— Нет еще, ваше высочество.

— В таком случае скоро примутся. Весьма советую брать с меня пример.

— Почту за счастье, ваше высочество.

— Ни одного пункта, сударыня, не сдавайте им без яростного сражения. Благочестивый архимандрит Ипатьевского монастыря приходил ко мне толстым и розовым, а удалялся худым и багровым. Чорт свидетель, я защи-

щал нашу святую реформатскую религию с таким изуверским рвением, словно мне было с ней очень жаль расставаться. О, мы так орали, сударыня, благочестивый Симон Тодорский свои аргументации за греко-российскую веру, а я против нее, что в нашу штудирную комнату нередко сбегалась половина двора с ее величеством тетушкой во главе. А статс-дама Маврутка, умоляя меня уступить архимандриту, сказала, что я своим непреоборимым упорством „все жизненные спирты государыне перетревожил".

Только одна Фике могла слушать наследника престола, не уставая.

— Как вам нравится, сударыня, это дурацкое русское блюдо: „гуся под скрилька"?

И, высунув длинный острый язык цвета капустного листа, великий князь зафыркал, обдавая брызгами соседку справа и соседку слева.

Всякий оплеванный стесняется вытереть чужие слюни.

Фике не ответила на вопрос, но гуся „под скрыльки с луковым взваром" ела она с особым аппетитом, вероятно, потому, что это было русское блюдо.

Внук Петра Великого, накрутив из хлеба полную горсть шариков, принялся пулять ими в толстых статс-дам и фрейлин.

6

Фике заболела во вторник 6 марта.

Иоганна-Елисавета решила, что у дочери оспа. Лейб-медикус Бургав имел подозрение на плеврит. „С-Петербургские Ведомости" сообщили о „лихорадке от флюса". А маркиз Шетарди написал к своему двору, что „апостема в грудях у нее оказалась".

Лейб-медикус предложил пустить кровь. С великим шумом был он подкреплен в этом предложении графиней Воронцовой, графиней Румянцевой и фрейлиной с морковным носом.

Но Иоганна-Елисавета заверяла, что „кровопусканиями отправили из России на тот свет ее брата, жениха государыни".

У Фике был сильнейший жар, мучительное колотье в правом боку и головные боли, от которых она теряла сознанье.

Елисавета Петровна богомольничала в Троицком монастыре.

Лейб-медикус Бургав отправил курьера к первому лейб-медикусу Лестоку, находящемуся при императрице.

Перетревоженная Елисавета немедленно прискакала по самому скверному пути в Москву, и государыню сопровождали: Разумовский, Лесток и хирург Верр. Прямо по выходе из кареты прибежала в комнату Фике.

Больная лежала в беспамятстве.

Иоганна-Елисавета кричала:

— Ах, брата моего отправили на тот свет кровопусканиями.

Фрейлина с морковным носом шепнула императрице:

— Матушка-государыня, ох беда, княгиня Ангальт-Серпста воспрещает своему дитю испускать стоны, потому что это не приличествует принцессе.

Императрица сказала:

— Мать дура.

Первый лейб-медикус Лесток и хирург Верр согласились с лейб-медикусом Бургавом, что „необходимо отворить кровь".

И Разумовский был тех же мыслей.

Императрица сказала:

— Пущайте.

Иоганна-Елисавета опять закричала, что ее брата отправили на тот свет, так как лечили оспу кровопусканьями.

Фрейлина с морковным носом шепнула императрице, что „у принцессы не воспа, а лихорадка от флюса".

Елисавета приказала Ангальт-Цербтской княгине удалиться в отдаленный покоец.

Взволнованная мать принялась ломать руки.

Тогда Елисавета остановила на ней свои просторные глаза.

Цербтская княгиня перестала ломать руки и удалилась в отдаленный покоец.

— Замкните дуру ключом, — сказала Елисавета.

Фрейлина с морковным носом, держащая сторону Бестужева-Рюмина, исполнила приказание с большой радостью.

Фике отворили кровь. Она пришла в сознание в объятьях императрицы.

В отдаленной комнате несчастная мать ломала руки.

Императрица сказала:

— Бог даст, скоро поправитесь. Это вы, милая, поймали простуду в санях. Слишком много разъезжали по Москве.

— О нет, ваше величество, — едва слышно прошептала больная, — в собольей шубе, которой вы милостиво меня одарили, очень тепло. Я получила простуду, ваше величество, не в санях.

— А где же, моя милая?

— Здесь, в комнате. Я ходила ночью босой по полу, — еще тише проговорила Фике.

Она была до крайности слаба. Даже веки казались ей невероятно тяжелыми; чтобы не уронить их, приходилось делать значительное усилие.

— Ах, какая неосторожная поступка! — воскликнула по-русски Елисавета. — Но для чего же вам, милая, понадобилось ходить среди ночи не обувшись?

Фике ждала этого вопроса. Слабеньким голоском она призналась, что, „имея сильное желание сделать хорошие успехи в русском чтении и языке, она всякую ночь просыпалась, вставала с кровати и босая ходила по комнате, затверживая тетради, исписанные господином Ададуровым".

У императрицы на ресницах задрожали слезы умилительного восторга. У графини Воронцовой, графини Румянцевой и фрейлины с морковным носом так же. Разумовский устремил свои египетские глаза к потолку, где полагалось присутствовать богу. Медикусы последовали его примеру.

— Господь вознаградит вас за это, дитя мое, — убежденно произнесла императрица и трепетно поцеловала лгунью в голубоватые веки, падающие от слабости.

За первое кровопусканье Фике получила от Елисаветы бриллиантовый шлейф на шею и серьги, стоимостью в двадцать тысяч рублей, а от наследника престола — часы, обложенные рубинами в четыре тысячи рублей.

В это время пуд муки в Москве стоил 23 копейки, а пуд крупы 33 копейки.

Две недели Фике находилась у края жизни. Кровь отворяли шестнадцать раз.

В покойце был до того сперт воздух, что у иноземцев, даже вполне здоровых, мутилось сознанье; российские же были привычны к такими „воздухам".

Приходя из беспамятства в полупамять, Фике всякий раз слышала:
Ж-ж-ж-у-у-у-у...ж-ж-ж-у-у-у-у.
Ей казалось, что по комнате летала громадная муха.
Когда больная находила в себе силы приподнять веки, она видела не муху, летающую по комнате, а десяток женщин молодых и старых, красивых и безобразных, украшенных и неукрашенных статс-дамским портретом.
Женщины не умолкали не на минуту. Казалось, от стены к стене летала громадная муха.
Жар не спадал. Приходила императрица, садилась у изголовья и плакала, по-бабьи шмыгая носом. Медикусы первые заговорили о священнике.
— Сыщите мать, — приказала императрица, — она, верно, у Бецкого время провождает с Шетардием, да с Брюммером, да с Мердефельдом в совещательствах дурацких. У дочери жизнь пресекается, а она и сердцем не сохнет. Дура! Где возьму на нее терпение?
Политическую женщину привезли.
Елисавета сказала ей:
— Поговорить бы вашей дочери со священником. Кого звать?
— Моя дочь горячая лютеранка, — вскрикнула цербтская княгиня. — Она так воспитана. При слезном прощании со своим отцом она только и говорила, что о семенах нашей святой религии. А если бы вы читали ее письма в отечество! Умоляю, ваше величество, пошлите за лютеранским священником.
В этот день больной отворили кровь четыре раза. Наконец, сознание вернулось.
— Дитя мое, — сказала Елисавета с материнской трепетностью, — хочешь ли ты, чтобы мы послали за лютеранским священником.
Фике попыталась покачать головой. И не смогла.
Мысль ей повиновалась лучше.
— Зачем же за лютеранским, пошлите лучше за архимандритом, — пролепетала умирающая, — я охотно с ним поговорю.
Иоганна-Елисавета превратилась в недвижимый пень.
Разумовский поднял не только глаза, но и ладони к потолку, где по его мнению присутствовал бог.
Императрица зашмыгала носом.
Статс-дамы и фрейлины так же.
Карета поскакала за Симоном Тодорским, архимандритом Ипатьевского монастыря.
Цербтская княгиня опять принялась ломать руки.
— Уберите дуру, — сказала императрица.

Впоследствии Екатерина II сделала следующую запись об остроумном отказе своем от лютеранского попа в пользу православного: „это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора".

Улучшение здоровья началось после 19 марта, когда по сообщению „Санктпетербургских Ведомостей" „больная много мокроты выкинула".
Фике стала подолгу спать посреди дня. Впрочем, довольно часто, чтобы не мешать дамским разговорам, она только делала вид, что спит.

Таким простым способом она узнала разные любопытности и полезности.

Очень интересный разговор однажды имелся у графини Анны Карловны Воронцовой с графиней Марией Андреевной Румянцевой. Это были во всех отношениях первейшие дамы двора.

После брачного сочетания Анны Карловны с Михайлой Илларионовичем Воронцовым сама императрица с великой свитой и в предшествии трубачей и литавр провожала новобрачных в их дом.

А Румянцева Мария Андреевна, еще в девушках, удостоилась быть телесно поколоченной на чердаке, из ревности, самим творцом России — Великим Петром.

— Господин вице-канцлер, видится мне, еще до сей поры прицелку имеет на саксонскую принцессу Марианну, — сказала графиня Румянцева.

— Княгиня Ангальт-Серпста по стольку всякий день весу теряет в глазах государыни, что удивления не будет, если прицелка Бестужева будет весьма манифик, — отвечала Анна Карловна.

— А барон Герсдорф, саксонский посланник, делает ради своей принцессы сильные акции и беготню, соря деньгами на правую и левую сторону.

Больная старательно похрапывала, поощряя графинь к беседе, которая велась на русском языке.

— Вице-канцлер... саксонская принцесса... княгиня Ангальт-Серпста... Бестужев .. Мария-Анна... Барон Герсдорф... Манифик... Акции...— вот те немногие слова из любопытной беседы, которые поняла Фике.

Но девица была догадлива.

В четверг графиня Анна Карловна порадовала выздоравливающую объявлением, что „после полдника можно ожидать императрицу и наследника престола".

— У вас нынче, сударыня, вид несравненный против вчерашнего, ее величество будет счастлива видеть такое быстрое поправление в здоровье.

— Нет, это вам так кажется, — возразила выздоравливающая, — я сегодня себя чувствую гораздо хуже. В теле опять разгорается жар.

Анна Карловна сказала Марье Андреевне:

— Это у нее от воображательного мнения, потому что в теле полная прохладность.

А через полчаса выздоравливающая впала в тяжелый сон.

Когда же Елисавета Петровна, обер-егермейстер Разумовский и скучающий Петр Федорович разместились около постели, у Фике начался бред.

— Боже мой, боже мой! — всхлипывала императрица, слушая страшную сказку, прерываемую стенаниями, — вы слышите, сударн мои, что она только говорит? Бедная девочка, она думает, что ее отравил саксонский посланник в интересах своей принцессы Марии-Анны. Вот до каких ужасных фантазиев довели они больного ребенка своими искательствами, лишенными ума и чести. Клянусь господом, хоть и полна я терпением, но как кинусь сердцем, наберутся они у меня слез. Да что ж вы, дуры, в столб стали? Скорей за медикусом кровь пущать.

К счастью, как только дамская свора бросилась за хирургом, бред прекратился, и Фике, глубоко вздохнув, открыла глаза.

— Подождем пущать, даст бог полегчает, — сказала Елисавета.

Следует упомянуть, что бредила Фике по-французски. „Нация, — решила она, — должна как можно скорей забыть, что я немка".

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1

Изготовили полдник. Шувалов потребовал:

— Водок, Мавра, с прикускою сыра и колбасов.

Принесли полные штофы коричной, кардамонной, приказной и анисовой.

Шувалов выпил большую чарку, обтер салфеткой губы и, не тронув сыра и колбас, сказал:

— Сенат реприманды учиняет, а польз в делах нет. Ты, жена, почаще б о том государыне поминала. Какие в сенате люди? Какие в коллегиях? Все отечество ругается. Ни умов нет у людей, ни прилежности. Хоть бы сидели с терпением в стульцах и, как в старину, волосатые места чесали, а то и к этому лень имеют. Я нарочито наведываю коллегии да канцелярии, оборони боже, чтоб где присутствующих застать. Секретарей и тех днем с факелой не сыщешь. Ты, Мавра, сказывай об этом государыне.

И выпил кардамонной.

Мавра Егоровна вскинулась в голос мужу:

— Черпаком, батюшка, моря не убавишь. На выблюдков не реприманды нужны. Творец отечества Петр Алексеевич знал добрый секрет, как из больших ослов делать слонов.

И пошла, и пошла.

Она была клювоноса, прыткоглаза. Рот имела отвратительный, будто изнанкою вывернутый наружу. Ростом была очень мала, а рядилась чуть не всякий день по-мужски: штаны, камзол, кафтан.

„Ух и вздорная баба, ух и чадна“, — говорил двор.

Шувалов же Петр Иванович, муж ее, лейбкомпанец и камергер, телом был складен, щеками округл, глазами горяч и годами моложе Мавры Егоровны: той ко дню свадьбы минуло тридцать четыре, а ему тридцать два.

Поженились они через несколько недель после того, как Елисавета села на родительский престол.

Мавру Егоровну не раз и не два перед тем пронзала страшная мысль: „ох мне! проквашусь в девках“.

В паре — Петр Иванович и Мавра Егоровна — целого сената были умней. Держали они сторону Алексея Петровича Бестужева.

— Что ж ты, Петр Иванович, колбасов не трогаешь? Возьми хоть тоненькое колесико, — сказала заботливая супруга.

— Молчи! Не суй клюва.

Но колесико взял и сыру пожевал.

— Где же наши вельможи понимают интересы отечества? Где же, отвечай ты мне, Мавра, свои интересы понимают?

— Ты-то, Петр Иванович, понимаешь! — ответила Мавра Егоровна нежно.

— Я-то понимаю, — согласился Шувалов, — я-то, на Англию глядя и у Франции учась, понимаю. У всякого века свое движение. У нашего века движение торговое и финансовое. Неужто ж в купецкие руки отдать руль славы?

И опять со стульца повскакала статс-дама и опять вскинулась в голос мужу.

Шувалов дернул бровью:

— Сядь, Мавра, сядь. Да ногами-то не махай под стульцем.

— Не буду, — сказала Мавра Егоровна покорно.

Шувалов налил коричной. Глотая, не крякал.

— В вельможах, Мавра, украшение нашего отечества.

И еще выпив, возопил, как на огне пряжась:

— Мне б, Мавра, в сенат! Сколько ж мне с тобою в разговорах упражняться? Пятки, дура, государыне чешешь, а польз от тебя нет.

Потом стал вопить на губернаторов и воевод, которые воруют из кабаков казенные пития, а из таможен — дрова и свечи.

— Вельможи! А? Вельможи!

И бух, бух, бух, замолотил по-столу кулаком, так что и штофы, и чарка, и тарелки с полдником, с колбасами и с сырами вспрыгались при громаднейшем дребезге.

— Хвосты псиные, собачья снедь, а не вельможи. Двухрублевешники! Полуполтинишники!

Мавра Егоровна смотрела на округлые, трясущиеся багровые щеки и таяла от любви.

— В сенат меня, Маврутка! В сенат, клювоносая! Имею желание возвести отечество свое на высшие ступени. Все равно как Великий Петр, из больших ослов буду слонов делать. Не дам в купецкие руки славу нашего века. В сенат меня, Маврутка, в сенат!

2

— Зачнем, господа сенаторы, — сказала Елисавета.

Бестужев жеманно поднялся и, положив длинные пальцы на крепкую доску большого соснового стола, крытого алым бархатом, обратил свои непонятные глаза-щелки в сторону императрицы.

— Ваше величество...

Солнечные лучи, пройдя сквозь пыльные стекла, сами казались пыльными.

Господа сенаторы сидели, не касаясь бархатными своими спинами бархатных алых спинок кресел своих.

Генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой помещался за отдельным маленьким столом.

Кругом бархат.

Алые покрывала с большого сенаторского стола и с маленького генерал-прокурорского были обшиты двупалым золотым позументом.

Вице-канцлер говорил голосом ровным, глуховатым.

На столах стояли серебряные чернильницы и восковые свечи в серебряных подсвечниках.

Когда вице-канцлер рассуждал в присутствии императрицы, он делался похожим на восковую свечу в серебряном подсвечнике.

А короткий расползшийся генерал-прокурор в пудренном громадном парике и в кафтане, прегусто расшитом серебром, был похож на чернильницу.

Вице-канцлер рассуждал староманерными фразами.

Елисавета подумала: „надо б, что ли, и Мавруткиного мужа в сенаторы; он хоть и плут, да с прыткостью, да горяч: не столь досаден".

От Шувалова императрица в мыслях скакнула на собственную персону: „Опять обожралась; хорошо б теплую салфетку на брюхо и в постелю; чего вылезла ни свет ни заря? Ну, чего? Дура!"

Она в сенате сидела редко — раз в три месяца, раз в четыре.

— Чтоб одержать поверхность над древней российской политической системой, — рассуждал вице-канцлер, — господин Шетардий с неслыханной

в свете дерзостью собирает за французское золото прегромадную партию, в которую улавливает обще с людьми мужеска полу и особ женских.

Тут Елисавета, отстав думать о стороннем, взяла внимание.

— И в сих искусительствах каверзных этот просто путешествующий француженин Шетардий границ знать не желает.

И Бестужев провел длинными пальцами по столу, словно желая стереть с бархата пыльный луч.

— Без ума и разума сей бесхарактерный человек в коварственных видах закидывает сеть на высокую особу, узлом крови связанную с ее императорским величеством.

— На кого? — спросила грубо Елисавета.

— На княгиню Ангальт-Цербтскую, государыня.

Императрица сосредоточила намазанные брови; когда ж говорили о мануфактурах или о соли, или о магистратских беспорядках, или о пеньке, или о рыбьем клее, ей трудно было взять внимание; мысли о стороннем так и лезли тогда в голову.

И опять вице-канцлер провел длинными пальцами по бархату, будто стирая пыльный луч.

— А когда было генералу Ушакову государское повеление чинить допрос лифляндцу Штакельбергу, сделавшему в прусском городе Кенигсберге мерзкую поноску нашему любезному отечеству, то господин Шетардий возымел дерзость сделать вмешательства в дела тайной канцелярии, извещая свой двор, что имеет намерение у допроса лифляндца поставить еще вторую персону, полезную Франции и Пруссии.

При последних словах вице-канцлера князь Никита Юрьевич Трубецкой почувствовал в оплывших щеках своих мелкую трясучку. „От кого Бестужев выведал? — вопрошал мысленно Никита Юрьевич. — Маркиз что ли не утаил? Вот и вяжись с французами! Во рту у них от длинного языка тесно, а в голове простор от мозгов курячьих".

Под окнами прошла расхлябанным шагом Преображенского полку рота, мундированная в английское сукно.

От легких дуновений покачивались туда-сюда белые плюмажи на гвардейских шляпах.

Никита Юрьевич, злобно глянув в пронзающие бестужевские щелки, подумал: „Множайшие выгоды были б отечеству от надавления ступою на горло этой рассуждающей персоне, полезной Англии,— и еще подумал:" — О, господи, ограбил узкоглазый диавол российские мануфактуры за похлебство английского двора; хороший шиш теперь остался от всех промышленных попечений творца России. Вот бы творцу из гроба вылезть с тростью своей", — и Никита Юрьевич даже пропотел от удовольствия, представив, как Петр ломает об вице-канцлера свою трость.

Трубецкой продолжал свою мысль: „Рвет, небось, на том свете власы на себе Петр Великий: были российские мануфактуры, а нынче, спасибо вице-канцлеру, — тьфу! дырявое место!"

В 43-м году Трубецкой шел против контракта с английскими купцами на мундирование ими ввозным грубым сукном полков гвардейских, армейских, артиллерии и флота.

„Братья Бестужевы, — писал из Петербурга в Лондон английский посланник Кириль Уейч, — достойны получать осязательные доказательства милостивого расположения к ним его величества".

В серебряной чернильнице отражалось пыльное небо.

Бестужев хрустнул длинными пальцами.

— Ваше величество, слыханное ли в свете дело...

Елисавета сердито обглядывала свой маленький зеленый башмак с тупым носом.

— ... слыханное ли в свете дело, ваше величество, чтобы бесхарактерный чужеземец инструировал иностранную политику и внутренние дела Российской империи?

Вице-канцлер обвел глазами господ сенаторов.

Лучи пыльного весеннего солнца ложились на стены, на чернильницы, на кафтаны с блестящими пуговицами, на белые вонючие парики.

Елисавете было тридцать пять. Она явилась в сенат невыспанная и с желудком, тяжелым от пирогов пряженых, от печенки в опонях с кишечки наливные, от порося росольного и утя жаркого под огурцы, залитых сладким токаем.

Лучи, озарявшие квадратную комнату, представлялись ей пыльными, сенаторы — дураками, Трубецкой Никита — пронырой, Бестужев-Рюмин — скучным злодеем.

Не дав вице-канцлеру закончить фразу, как „Шетардий похвалялся перед своим двором, что сам, де, он проектовал российские политические ответы“,— Елисавета шумно поднялась высочайшей своею особой с императорских кресел:

— Больше не хочу, сударь, ваших жалузий слушать, потому что все это ложь, вытекающая от врагов маркиза, среди которых, сударь, и вы.

И стала оправлять юбку.

Никите Юрьевичу Трубецкому померещилось, будто темные нитки бестужевских губ образовали улыбку.

— Ваше величество, — сказал вице-канцлер, — дозвольте мне представить веское доказательство, что слова мои есть сущая необспоримая правда; а если ваше высочайшее милосердие распространится и далее, дозвольте представить экстракты из таких дел маркиза Шетардия, которым и примеров нет в целом свете.

3

Солнце жгло. Небо казалось твердым, тяжелым. Небо казалось перевернутой синей плошкой.

Архимандрит Арсений Могилянский, облаченный в священные одежды, встречал „со кресты“ императрицу в монастырских воротах.

Колокола ревели.

Соблюдая ранжир, теснились и прели соборные старцы в дорогих бархатных рясах. Башмаки на старцах были с бриллиантовыми пряжками, чулки, как у фрейлин, шелковые, а исподнее платье, застегивающееся золотыми и серебряными штифтными крючками, из тончайшего нерусского полотна.

Колокола ревели.

Не все монахи твердо стояли на ногах.

Каждому брату Троице-Сергиева монастыря ежедневно отпускалось: одна бутылка хорошего кагора, один штоф пенного вина, по кувшину меду, пива и кваса. Водки на братию полагалось 3 000 ведер в год.

Колокола ревели.

Краснорожие здоровенные семинаристы в ангельских белых одеяньях и с золотыми лавровыми веночками на волосах, вымытых квасом, держали в руках пальмовые ветви и поздравительные стихи.

Наследник престола, шедший следом за императрицей, усердно шевелил ушами, опустив долу глаза и закуся лягушечью губу свою, чтобы не прыснуть смехом.

А у Фике лицо светилось, как говорится, внутренним светом. Она делала вид, что не чувствует, как жених тычет ее локтем в бок.

Архимандрит как-то по-особому, по-условленному, махнул крестом.

Семинаристы грянули поздравительные стихи, протянув к императрице красные кулачищи, в которых были зажаты пальмовые зеленые ветви.

Лавровые веночки съехали на затылки, воняющие квасом. Солнце жгло. Грязный пот падал крупными каплями на ангельские одеяния. Плавилось золото на куполах.

Троицкий монастырь имел сто тысяч душ крепостных людей. Помещичьи мужики не завидовали монастырским.

Елисавета Петровна смотрела с умилением и благодарностью на широкие монастырские стены, укрывшие ее родителя при московском бунте.

Стенами этими Троица опоясалась еще при малолетстве великого князя Ивана Васильевича Грозного.

Семинаристы пели поздравительные стихи толстыми и тонкими голосами. Обильный пот, проводя грязные борозды вдоль щек, сделал красные лица их полосатыми.

Петр Федорович, встретясь глазами с золотобородым архимандритом, комически опустил ухо почти до плеча.

Золотобородый открыл рот от удивления.

Солнце жгло.

Фике устремила восторженные взоры к небу. „Боже мой, — думала она, — для чего на свете существуют стихи? Неужели они кому-нибудь доставляют удовольствие; наверно, все притворяются так же, как и я".

Подобная мысль довольно часто приходила ей в голову и позднее, в зрелом возрасте, когда она покровительствовала искусствам. „Не может быть, — твердила она себе, — чтобы слова, которыми никто не говорит, да еще расставленные неправильно, было приятно читать".

Наследник престола свирепо проквакал:

— О, сестрица, если бы вы только знали, какое у меня огромное желание отправить на живодерню этих лошадей, одетых херувимами.

— Любите ли вы поэзию, ваше высочество?

— Помилуйте, сударыня, как же я могу не любить родную сестру музыки.

Фике заключила: „Нет, он не притворяется".

Семинаристы прижали кулаки с пальмовыми ветвями к сердцам.

Наследник престола фыркнул.

Золотобородый подумал: „чистой буфон!"

Архимандрит был одним из постоянных спутников императрицы. Он за нею и на маскарады следовал, разумеется, не надевая домины, и в немецкую комедию, и в оперный дом, где кроме итальянцев опериетов и опериеток немые роли играли молодые дворяне, обучавшиеся в Сухаревской башне.

Поймав взгляд золотобородого, наследник престола вторично опустил ухо чуть ли не до плеча.

„В дедушку шутовством пошел, в Петра Алексеевича", — сказал себе архимандрит и, не выдержав издевательства неморгающих глаз наследника, спрятался под золотые свои мохнатые брови.

4

Под вечер приехал в монастырь Михайло Ларионович Воронцов с толстым пакетом для императрицы от Бестужева.

— Чего замолчала? Читай. Тебе говорю, что ли, читай, Мавруткa, — сказала Елисавета очень тихо и потому страшно. — Да гляди, коли какое слово проглотишь, ох, клянусь господом, так и пущу башмаком в рыло.

Елисавета сидела на постели, обняв голую ногу, согнутую в колене, обеими руками; другой, правой ногой она не переставая ёрзала по простыне.

— Ну?

— А которое ж, матушка ваше величество, теперь читать?

— Вот это, — и государыня ткнула пяткой в большой белый лист, отбившийся от вороха прочих шетардиевых писем, разобранных с цифири статским советником Гольдбахом, чиновником из Бестужевской коллегии иностранных дел.

— К кому оно?

— К Амелоту, матушка.

— Читай, что красным подчерчено господином вице-канцлером.

— Слушаю, матушка-государыня, — и Мавра Егоровна принялась за огласку, водя глазами по крупным и длинным строкам, — „дабы о том, что в сердце царицыном делается, сказать или паче, когда бы ее суеверными предупредительными мненьями пользоваться, то всемерно и существительно потребно есть ее духовника и тех архиереев, которых Синод сочиняют, подкупить".

— Ладно, кинь к стороне, — сказала Елисавета, не двигая глазами, белыми от злости.

Мавра Егоровна откинула.

— Это! — и Елисавета ткнула пяткой в другой лист. — Читай.

— Опять, матушка ваше величество, оттоле брать, что красным отчерчено?

— Оттоле.

— „Но пункт о низвержении вице-канцлера еще в состояние не приведен, однакож мы много от помоществования принцессы Цербтской надеемся..."

— Известно, — сказала Елисавета, — дуракам от дуры и помоществование. Умный-то не подаст. Ох, клянусь господом, будет немецкой дуре осадка. Читай.

— Под сим, матушка ваше величество, шетардиевым пассажем имеется Алексея Петровича предлинный ремарк.

— У господина вице-канцлера слова липучи, как собачья слюна. Бери, стало, с середки.

— Слушаю, ваше величество, — и взяла с середки. — „Будучи грустном и печальном состоянии только утешения на правосудие ее императорского величества со всещедрым своим покровом не допустит его вице-канцлера невинным быть сакрифисом".

— Сакрифисом! — мрачно хихикнула Елисавета.

— Он, матушка, граф Алексей Петрович человек есть прозорливый.

— Ладно, тебя-министра не спрашиваю, — огрызнулась императрица.

Мавра Егоровна подобрала слюнявые губы.

Елисавета опять ткнула пяткой в лист.

— Читай!

Мавра Егоровна с поспешностью загнусавила:

— „Царица, будучи единственно увеселеньям своим предана и от часу вяще совершенную омерзелость от дел возимевая...“

— Бери вон то, — сказала Елисавета чуть слышно, — да раздельно читай, да громкогласно.

— Слушаю, матушка ваше величество.

И зачитала:

— „Услаждения туалета четырежды или пятью на день повторенное и увеселение в своих внутренних покоях всяким подлым сбродом...“

Тут Мавра Егоровна, набравшись смелости, проглотила вместе с холодной слюной своей и несколько горьких шетардиевых слов.

— Государыня ваше величество, да можно ль этакую погань читать в огласку?

Елисавета за спиной крутила, вертела и сжимала башмак.

— Так, так.

— От одного тухлого яйца, сказано, семеро мужиков разбежалось; а тут матушка-государыня.

Но договорить не пришлось: башмак, брошенный с силой не женской, угодил метко.

— Вини самою себя.

Мавра Егоровна выплюнула два темных передних зуба. Хотела что-то сказать, но захлебнулась кровью.

— Ступай вон из кельи, — сказала Елисавета; а подумала: „не малина, не опадёт“.

Июньский теплый вечер, переливаясь через полуоткрытые стволы окна, колебал лампадные огоньки.

Статс-дама удалилась. За дверью — завыла по зубам.

Императрица, упав лицом в подушку, тоже завыла. Ей казалось, что она несчастна.

Кукарекнул петух, вероятно страдающий бессонницей.

В келью влетел майский жук.

Жалостливая государыня поймала его и, подойдя к окну, выпустила в теплую ночь.

— Живи, миленькой.

И легла высокими розовыми грудями на подоконник и запустила пальцы в кучу рыжеватых волос и помыслила: „ох, изуродовала бабу“.

Стала звать:

— Мавра!.. Маврутка!.. Мавра Егоровна!

Зарёванная статс-дама вошла в келью, прикрывая ладонью рот.

— Ты, Мавра Егоровна, не плачь, — сказала ласково Елисавета, — муж всё равно любить станет. Уж я его знаю, как свой пяток. Он тебя, мой друг, теперь пуще прежнего любить станет. Я его, Мавра Егоровна, мужа твоего господина Шувалова, сейчас в сенат посадила.

И собою вполне довольная дала статс-даме целовать ручку.

Порозовели листья берез.

Из-за бело-черных стволов словно вынырнул дьякон: в стихаре, с посохом в руках и верхом на крупной черной кобыле.

„Конным бы гвардейцам так в седле сидеть“ — заключил архимандрит Арсений Могилянский, потягиваясь на мягких подушках золотой кареты.

Шестернею лошадей, в цвет кареты и бороды и куполов монастырских, ехал архимандрит в баню.

В немногих шагах от кареты громыхал окованными колесами небольшой возок со всякою снедью и питиями.

Пол в бане был выстлан цветами и душистой травой. На раскаленный камень плескали из шаек венгерским вином. От такого пара кость млела.

Взглянув на распахнутое окно в государской келье, архимандрит подумал: „Хорошо в бане с бабой мыться".

Березы шелестели розовыми листьями.

Заснула императрица отошедши сердцем, а когда после полудня продрала глаза — всё было ей не мило.

Такое случается.

(Окончание следует)

Александр Гитович

ОТКРЫТЫЕ ДНЕВНИКИ

1

У сломанных мечетей,
у развалин,
Клянущих
вековое бытие,
Каким российским именем
назвали
Несчастие азиатское мое.

И двух народов
темное усилье,
И двух кровей
соединенный зной,
Наполнили ее
и осветили
Зубов
непобедимой белизной.

Наверно я
придумал половину...
Но разве звезды
могут быть светлей,
И можно быть
прекраснее лавины
Идущих в поднебесье
тополей?

Весь милый город:
глина, белый камень,
Луна,
и в гору медленный подъем.
Сама судьба
счастливыми руками
Меня коснулась
в городе твоем.

2

Друзья смеются, —
я и в ус не дую,
Я перепутал вещи
наяву.
Я девушку,
такую молодую,
По имени и отчеству
зову.

Но мне открыты
потайные двери,
И лестница
ведет меня в дому,
За детское,
пустое недоверье
К великому
соблазну моему.

И мне осталось
может две ступени,
Чтобы найти
на самой глубине,
За недоверьем этим —
нетерпенье,
И любопытство
женское вполне.

3

Мы в первый раз прощались...
Столь безмерной
Стояла в звездном блеске
тишина,
Что в добрый час
она была, наверно,
За нас давно
когда-то решена.

И тополь встал
перед звездою светлой...
Потом рассвет,
и тучи подошли,
И самолет
из-за дождя и ветра
Летел
на тридцать метров от земли.

Но даже под машиною
могучей,
На всех холмах,
как смутное кольцо,
Дрожало,
запрокинутое к тучам,
До обморока
близкое лицо.

И так оно
влекло неодолимо,
Что самолет
снижаться стал ребром.
...Сияла
Самаркандская долина,
Сбегали горы
на аэродром.

Их влажный день
своей рукой мохнатой
В леса одел,
в кустарники обул.
А самолет
повел вдали Игнатов,
Уже без нас —
за горы —
на Кабул.

4

Я окружен был
тягостным набатом
Колес и рельс,
вагонных мелких дел.
От Бухары
и до Сталинабада
Я не заснул
и спать не захотел.

Ну, а тому
наивная причина —
Смешно сказать —
не двигалась вослед,
Жила в Ташкенте,
химию учила,
В автобусе
платила за билет.

Так длился день.
Тянулся поезд длинный.

И, наконец,
как в первый день земной,
Открылись горы,
повели в долину,
И медленно
содвинулись за мной.

Тогда-то я
подался самолетом
К Соленой Сопке,
через облака,
Где обещал
спасать меня охотой
Сам комиссар
Кулябского полка.

5

Кто б устоял
под пытками такими?!
Но губы,
изнуренные огнем,
Произнесли тогда
другое имя
И не сумели
позабыть о нем.

Где ветер
славу верности рассеял,
Они всегда
водили дружбу с ней,
Они,
давно зовущие на Север,
Правдивей были,
тверже и честней.

Я изолгался так,
что было б любо
Послушать вам.
Но через муку ту,
Они — с глухим
упорством однолюба —
Отстаивали
честь и прямоту.

Преувеличив все
до исступленья,
Я увидал тогда,
в снегах глухих,

Тебя — в дохе
и в малицах оленьих
(А ты в музее лишь
видала их).

Но так дрожало
снега полыханье,
Так шло к тебе
сияние его, —
Что я бы мог коснуться
не стихами,
А просто сердцем
сердца твоего.

6

Мое несчастье!
Гневаясь и споря,
Хоть ты меня
всего вместить сумей —
От величайшей нежности
и горя
И до постыдной
грубости моей.

Табак и ночь —
они двойной свидетель
Таким словам.
От ревности скорбя,
Искусство видит —
что ни в чем на свете
Я не хочу
обманывать тебя.

Так медленно
вошла в меня усталость,
Что я и незаметно
на пути;
Что и хитрить не смог.
А мне досталось
Немало и от прошлого...
Прости

За то, что я,
на ледяных просторах,
Не потушил
недолгий сердца жар,
За похвальбу среди друзей,
которых

Я никогда
в душе не уважал.

Вот, девочка.
Заря, совсем сквозная,
Взошла,
не замечая ничего.
А ты наверно спишь,
сама не зная,
Как я желаю
счастья твоего.

ГОЛОС

В. Тоболяков

1

— Здравствуйте, товарищи народоармейцы!
— Здравствуйте, товарищ командир!

— Здорово, Алмаз... Здорово, Стрела... А-а-а-а, Дерзкий... Здорово, здорово, здорово, Дерзкий!

И черноволосый, сухой, жилистый командир батареи Шишкин подошел к своему любимцу — вороному жеребцу Дерзкому.

Лошади батареи были привязаны за рельсы, приподнятые столбами на аршин от земли. Поближе к конюшне с распахнутыми дверями стояли строевые лошади. Они ходят под седлом и на человеческий глаз покажутся самыми красивыми конями. Да они, вероятно, и сами считают себя казистыми. Недаром поминутно поворачивают легкие сухие головы и светлыми, чистыми глазами поглядывают на соседей, точно сравнивая свою красоту с чужой.

Ноги у них длинные, мускулистые, с высокими копытами. Строевые нервно переступают с места на место, а если уборщик поднимет ногу, чтоб замыть копыто, строевой конь обязательно начнет дергать ногу. Ведь на трех ногах особенно не попляшешь.

Левее строевых, большую часть коновязи заняли орудийные лошади. Орудийные приземистее, шире строевых. И ноги у них низкие, прочные, крепко стоят на земле, опираясь на широкие копыта. Орудийные и хладнокровнее строевых, может, потому, что они сознают свою силу.

Прикрыв длинными ресницами выпуклые глаза, чуть опустив большие головы с грубыми шеями, эти лошади наверное рассуждают так:

— Ладно. Пусть я не такая красивая, да зато меня больше уважают и овса больше дают. А что строевые? Жеребята, вертихвостки. Да если бы я так вертеться начала, дело кончилось плохо. Отдавила бы копыто кому-нибудь и все.

Если орудийные и строевые только двух мастей — вороной и гнедой, то обозные лошади, которые теснятся на самом краю, пестры до необычайности. Кажется, что здесь собраны все масти, которые производит на свет природа. Да и масти не чистые, а смешанные. Здесь можно увидеть и светло- и темнорыжих, и буланых, и мышастых, и серых в яблоках, и серых в гречке, есть водовоз — сивый мерин, а у запрягаемого в пятую двуколку коня волос разного цвета так перемешан, что конь получил даже кличку Каша. Но природа, расщедрившись, подарила обозным еще и массу примет — на спине ремень, под седлом подпарины, на лбу звезды.

— Чтобы эти знаменитые кони, упаси бог, не затерялись, — говорил Шишкин, с презрением поглядывая на обозных. Эта пестрота доставляла

ему душевную боль. Шишкин мечтал составить батарею сплошь из вороных коней. И даже не раз уже видел такую батарею во сне.

Обозные давно привыкли быть позади всех коней и едва ли уважали себя. Уборщик поднимал у обозной ногу, кое-как расчищал кривое с наростами копыто, а обозная все стояла и стояла на трех ногах, как бы говоря:

— Чего уж там. Я уж как-нибудь тремя обойдусь.

Но иногда у какой-нибудь вороно-пегой обозной кобыленки появлялся вдруг норов. Вороно-пегая ни за что не желала везти двуколку с навозом через плац в ворота, а тянула совсем в обратную сторону. Удивленный этим, ездовой зануздывал вороно-пегую (обычно кобыленка ходила незанузданной), но вороно-пегую не могло осилить и железо трензелей. Чаще всего это случалось весной.

Впрочем, весной многие лошади меняли свой нрав. Кобылы волновались у коновязи. Жеребцы вечно ржали, дрались, и потому их привязывали по отдельности. Кобылы посматривали на них, но крепка была цепь повода, и только ржанье, перелетавшее с одного конца коновязи на другой, говорило о близкой весне.

В стороне от коней топтался сейчас и Дерзкий. Насколько позволяла длина цепного повода, Дерзкий повернул голову, собрав на шее складки как у гармошки, скосил глаз, увидел двух орудийных канадских кобылиц с необычайно широкими крупами. Весенний ветер принес к светлорозовым влажным ноздрям Дерзкого запах кобылиц. Дерзкий загремел цепью, заплясал у столба, потом заржал. Он ржал громко, даже тряслась гривка, распластанная на две неровные части, пружинился хвост.

Дерзкому тотчас же ответил от другого столба гнедой жеребец Азиат. В этом голосе Дерзкий уловил вызов. Фыркая, раздувая от злости ноздри, прижав уши, Дерзкий ударил левой передней ногой о сырую весеннюю землю.

Шишкин похлопал в это время смуглой рукой по шее Дерзкого, коснулся черными подстриженными усиками твердой, теплой, широкой щеки жеребца.

— Распелся... Петух, — ласково сказал Шишкин.

Заметив в глазах Дерзкого искринки гнева, сузил свои карие цыганские глаза, и, толкая ладонью горячий круп коня, неожиданно щекотнул другой рукой мягкую как замша чувствительную кожицу возле паха Дерзкого. И тотчас же отскочил, а то бы Дерзкий как раз угодил по голенищу копытом.

Шишкин снова подошел к Дерзкому, расчесывал ему челку, трепал по шее и бормотал сквозь зубы:

— Весной на пятую травку пойдет. Куппа-ать его скоро будем. Жженых это у нас.

Заглядывая в глаза Дерзкому, сжал ему ладонями щеки и поворачивал морду коня вправо и влево. Рассерженный Дерзкий оскалил зубы. Шишкин смело дернул за ремень недоуздка и сказал сурово, совсем другим тоном

— Ну, ну!.. Ты! Смотри!

Дерзкий притушил гнев в глазах, прикрыл губами зубы.

— Уж конь, так конь, — сказал кузнец в холщевом фартуке. — Век его не забуду.

Показал пальцем на выбитый передний зуб.

— А все потому, что не смело к коням подходишь, — сказал Шишкин, вытирая о гриву Дерзкого ладони. — И эту музыку пора оставить, дорогой товарищ, в станках коней ковать. Всех надо на руках. Да, да... А как думаешь...

Шишкин взялся за черную тесемку фартука кузнеца:

— Если спаровать его с Вздорной? Масть козырная могла бы быть? И этот чисто вороной без помарок. И та чисто вороная, что полагается.

— Да что ж сказать,— ответил кузнец. — Копыта у Дерзкого и у Вздорной хороши.

— Копыта! — засмеялся Шишкин. — Одни ли копыта. У этой пары красота всех статей.

Поскреб левую щеку, как бы советуясь сам с собою, добавил:

— Нда... Вообще, конечно, нельзя... Не разрешается... А ко-оззырная масть бы получилась. Глядишь бы, вороную батарейку и состряпали.

Резко оборвал он.

К Шишкину подбежал дневальный с веснушками на носу:

— Товарищ командир...

Но Шишкин уже и сам увидел выходящего из ворот начальника артиллерии. Шишкин оправил фуражку, шинель и пошел навстречу начальнику. Лицо Шишкина было спокойное, сосредоточенное, но чувствовал он себя неприятно. Ведь все еще не выполнен приказ о жеребцах. А уже давно был получен в батарею приказ выхолостить всех жеребцов. Они не только затевали драки в орудийных запряжках, калечили коней, но, главное, своим громким ржанием могли выдать и разведчиков и батарею.

Полгода назад — осенью тысяча девятьсот двадцатого года — во время боев с атаманом Семеновым сам Дерзкий помог семеновцам открыть наше замаскированное орудие.

Командирские лошади стояли за стогами, пощипывали сено. Орудие, заставленное ржаными снопами, должно было встретить картечью отступавших по дороге семеновцев.

Было очень тихо. Артиллеристы старались не кашлять, не чихать. И вот, когда на дороге уже появилась голова отряда, Дерзкий заметил чалую кобыленку с узкой спиной, покрытой казацким седлом. И немедленно заржал, тряся хвостом и выгибая шею. Он сразу же поперхнулся, так как Шишкин сунул ему в рот папаху. Но семеновцы уже услышали ржание и свернули с дороги. Правда, Шишкин тотчас же выскочил с орудием вперед и пустил вдогонку несколько шрапнелей.

Шишкин не любил вспоминать об этом, махал рукой и говорил, защищая Дерзкого:

— Мало ли с кем что бывало. Ты вот прослужи с мои десять лет, так не то еще услышишь.

Шишкин был рожден в несчастный год. Над головой Шишкина просвистело не мало шрапнелей. В сентябре тысяча девятьсот четырнадцатого года Шишкину кончался срок службы, уже по ночам он чаще и чаще видел во сне жену, соху и поле, похожее больше на батарейный плац. Но в июле Шишкин проехал с эшелоном мимо родного села. Поезд не задержался на полустанке. Жена Шишкина держала за руку четырехлетнего сынишку, выискивала среди одинаковых солдатских лиц лицо мужа.

— Аксинья! — крикнул с платформы, заставленной орудиями и зарядными ящиками, Шишкин.

Аксинья вздрогнула, побежала, спотыкаясь, за поездом и указывала мальчишке на отца:

— Вон, вон, тятька твой... С усами. Господи, боже мой!

Шишкин хотел снять бескозырку, поклониться односельчанам, толпившимся у бака с кипяченой водой, но рука, поднесенная к голове, невольно отдала лишь привычную честь.

А потом немецкий фронт.

Шишкин как старший разведчик всегда сидел с командиром батареи на наблюдательном пункте и не раз уже вел самостоятельно стрельбу. Это ему очень пригодилось в Красной армии.

С фронта Шишкин вернулся в деревню после февральской революции. В первый же день отобрал шашки у урядника и стражника.

— Вы в тылах здесь сидели, а я четыре раза раненый. И за кого? За вас за пузанов, за царистов, за магазинщиков.

Вечером проверил цены и товары в купеческой лавке.

Но в деревне долго не усидел. Узнав, что набирают в Красную армию, он поступил туда, скитался год в сопках и, наконец, оказался командиром батареи Народно-революционной армии.

Начальство говорило о Шишкине:

— Опытный артиллерист.

Народоармейцы хвастались Шишкиным перед другими батареями:

— Смелый командир.

Кони говорить не умели, но, вероятно, иногда думали о Шишкине:

„Душа человек".

Сам о себе Шишкин говорил так:

— Я в крестьянстве теперь не сгожусь. Десять лет сохи не касался. Я уж и забыл — чего вперед убирают — нето овес, нето рожь. Я теперь мужиковскими глазами и на дождь смотреть не могу. Идет он — ладно. Не идет — еще ладнее, по сухому-то воевать. Имею я, конечно, заразу — насчет коней...

Коней он любил, объезжал их сам и чем строптивее, горячее был конь, тем больше нравился он Шишкину. Несмотря на свои тридцать с лишним лет, он занимался вольтижировкой. Правда, перелетев недавно через коня, упал прямо животом на землю. Схватившись руками за живот, долго не мог отдышаться. Старшина, гонявший на корде вольтижировочного коня, бросил веревку, подбежал к Шишкину, взял его под руку и участливо сказал:

— Ушиблись, Иван Фомич?.. Ну, что ж, года ведь ваши.

Шишкин сердито пихнул его и, крякнув от боли, пробурчал:

— Года... Ни при чем года... Вот нажрался за обедом пши сегодня, ну и ляпнулся.

Приучая не бояться коней, Шишкин приказывал выстроить в ряд шестерку жеребцов и на четвереньках полз у них под брюхами. Народоармейцы молча смотрели, как черноусый командир лезет между кованых ног жеребцов. Шишкин вставал, счищал с колен и ладоней песок и говорил:

— Иначе никак. Ну, кто будет?

Шишкин всячески оттягивал теперь исполнение приказа о жеребцах.

— Масть я хочу козырную вывести, — признавался он наедине знакомым командирам. — Имею такую заразу — коней разводить и достигнуть вороной батареи. Ты чисто вороную батарею видел когда?.. Ну, погоди, может увидишь... Да. Да мало ли чего у царя не было, а у нас должно быть... Чисто вороная. Так точно...

И его цыганские глаза сразу оживлялись.

В его батарее к весне всегда оказывалось несколько жеребых вороных маток. Шишкина вызывали в штаб, ругали, но он только отмалчивался.

2

Рядом с начальником артиллерии Бобровым, высоким стариком с усами книзу, в длинной серой шинели, шагал политический уполномоченный Дьяченко. Лицо у Дьяченко по-детски свежее, на щеках резко выделяется кирпичного цвета румянец.

Шишкин остановился в двух шагах от Боброва и, подняв к сломанному козырьку смуглую руку с чуть отставленным мизинцем, отрапортовал, не мигая:

— Товарищ начальник! В вверенной мне батарее происходит чистка коней!

— Отлично, — пожал Бобров руку Шишкину. — Вот что, голубчик, прикажите строевым и артиллерийским сделать выводку. А обозных в упряжке... Посмотрим ваших лошадок.

И, взглянув на Дьяченко, засмеялся.

— Слушаюсь, — сказал Шишкин и подумал:

„Подведут меня жеребцы. Обязательно подведут".

Бобров встал около кирпичной стены казармы и, готовясь проверить чистоту коней, вынул было из кармана носовой платок. Платком можно провести от холки до крупа, и на платке останется грязь, мелкие волоски плохо чищенного коня. Но платок был серый, точно шинельного сукна, видимо, давно не стиранный. Бобров сконфузился, отвернулся от Дьяченко, чихнул в платок и сунул его снова в карман.

Народоармейцы, между тем, начали проводить мимо Боброва, Дьяченко и Шишкина коней, громко называя клички. Пока что все шло благополучно. Бобров несколько раз подбегал короткими шажками к вороным и гнедым строевым коням, быстро оглаживал ладонью коня, смотрел на ладонь.

— Ничего, голубчик, ничего, — взглянул Бобров на Шишкина. — И чистка и тело. От ветра не качаются. А... Как вы находите, Сигизмунд Эдмундович?

— Глова!.. — Дьяченко хлопнул по плечу Шишкина.

Указал на вереницу коней:

— Прямо жека.

— Ничего, ничего, голубчик. Только вот у некоторых хвосты длинноваты. На ладонь вполне можно укоротить. Ведь это не крестьянские коняги, а строевые лошади строевой артиллерийской части Народно-революционной армии. Так ведь, голубчик?

— Так точно! — и шишкинская рука машинально уже была у козырька. — Завтра подрежем.

— Да уж, голубчик, чтоб мне больше не повторять.

Шишкин взглянул налево, на коновязь, откуда вели лошадей, и незаметно щелкнул языком. Старшина не сообразил и вслед за кобылой Вздорной послал Дерзкого.

Дерзкий, вырывая повод, тащил уборщика. Уборщик еле остановил Дерзкого около Боброва и только хотел было объявить кличку, как Дерзкий, сердясь на то, что Вздорную могут увести совсем и она не будет знать о его любви, заржал.

Бобров заткнул пальцем левое ухо и покраснел:

— Это что ж такое, голубчик, ведь был приказ о жеребцах? Ведь был приказ о жеребцах, товарищ командир?

— Так точно был.

— Что приказ был, что приказа не было вшистко едно по-вашему, — сердито перебил Дьяченко.

А Дерзкий, отставив переднюю ногу, ржал громче и громче. Ржание его озлило и остальных жеребцов. Они топтались, храпели, ржали. И Вздорная не осталась молчаливой. Повернув голову, она ответила Дерзкому тоненьким нежным голоском. Уборщик локтем ударил ее. Кобыла тотчас же замолкла, но у ней еще долго дергалась нижняя бархатистая губа.

— Как же это, товарищ Шишкин, — махнув рукой народоармейцу, чтобы он уводил Дерзкого, повторил Бобров. — Вот этот строевой конь разведчика какого-нибудь...

— Это мой конь, — сказал Шишкин.

— Еще лучше. Еще лучше, голубчик, — хлопнул по шинельным карманам Бобров. — Командир батареи едет в разведку, вблизи неприятеля находится и под ним такой граммофон!.. Старый командир, а дисциплину пачкаете.

Стукал казанками пальцев по ладони:

— Мы требуем, чтобы ни одна двуколка не скрипела, а тут... Гуси гоготом Рим спасли, а ваши жеребцы своим гоготом могут сорвать боевую задачу.

Шишкин никогда не слышал ни о каких римских гусях, он стоял вытянувшись и думал:

„Да уж теперь жеребцы не открутятся. Не двуколки... Да... А спаровать бы Дерзкого с Вздорной. Главное, масть к масти... Сперва бы хоть строевые все вороные, потом орудийные".

Точно угадывая мысли Шишкина, Бобров сказал:

— Как снег сойдет, приеду, проверю. А за жеребых кобыл, в случае чего, вы мне особо ответите. А сейчас и смотреть больше не желаю.

Шишкин, проводив Боброва и Дьяченко, пошел в казарму. Он жил в казарме, в отдельной комнате, вместе со старшиной и своим помощником.

— Ну, как, Иван Фомич, и доглядывать не будут? — шепотом справился у Шишкина старшина.

— Не будут.

Двери в казарму были открыты. По казарме бродил девятимесячный вороной жеребенок Матуська. В казарме Матуська чувствовал себя как дома. Постукивая копытцами по асфальтовому полу, Матуська в поисках хлеба и сахара трепала зубами лежавшие в изголовье полушубки, столкнула с тумбочки алюминиевую кружку с недопитым чаем.

— Дневальный! — Шишкин так закричал, что Матуська шарахнулась в сторону. — Чтобы этого не было... Отведи ее к шорнику. Скажи шорнику, чтобы снял мерку и сшил ей недоуздок. Может и у коновязи постоять. Не маленькая.

Дневальный, схватив Матуську за гриву, повел к шорнику.

Вечером Шишкин скреб свой подбородок бритвой, выточенной из стальной пластинки, которая кладется между стенками винтовочной обоймы.

Напротив Шишкина сидел батарейный ветеринарный фельдшер с красным толстым носом.

— Да время самое легчить, Иван Фомич, — говорил фельдшер.

Шишкин стер с бритвы серую пену:

— Легчить. Начальник артиллерии сказал, когда снег сойдет.

— Да это нам не долго. Раз, раз... Сколько у нас жеребцов?

— Пять, — ответил старшина.

— Пять. Дак это час работы.

Поглядел на сердито сдвинутые брови Шишкина:

— Да ведь так, Иван Фомич, будем говорить. Я воюю, пускай и лошади воюют.

Шишкин, взглянув на старшину, указал плечом на фельдшера:

— Он воюет. Кажется, больше со спиртом воюет.

Фельдшер обиделся:

— Да мне что. Мне хоть век не легчить. Тоже не легкое дело.

— Ладно, ладно, — обрезал Шишкин. — Подождем еще несколько дней, это не хвосты. Пусть потеплее станет. А то здесь весна как японец, все с обманом приходит. А список сейчас дам.

Старшина протянул маленькую бумажку, исчерканную с одной стороны.

— Где здесь и писать? — сказал Шишкин.

— А вот на затылке и напишите, — старшина повернул бумажку чистой стороной.

Шишкин перечислил клички всех жеребцов. Дерзкого записал последним.

3

Желтый мутный свет наполнял утром комнату Шишкина. По грязно-красному небу неслись ржавые облака. Рваные клочья дыма, вылетая из казарменных труб, неслышно скользили по крышам. На улице лежал пепельный снег. Ветер трепал голые верхушки берез.

Шишкин подошел к окну. Грязные пятна падали на стекло.

— Та-ак, — проговорил с некоторым удовлетворением Шишкин, побарабанив по стеклу. — Зима вернулась. Из Китая лесс надуло. Вот она, амурская весна. Я говорил — с обманом.

Но вечером на небе не было ни облачка. Снег поспешно таял. Шишкин приказал подседлать Дерзкого, захватил с собою новый револьвер.

— Испытаем пробу боя, — сказал Шишкин, сунул ладонь под теплую подпругу, выправил Дерзкому челку, бросив ее поверх уздечного ремешка.

Было свежо и тихо. За Амуром горел яркий багровый закат. Разбивая копытами холодную грязь, Дерзкий легко и охотно бежал к березовому леску. Около первых берез, на которых сидели серые вороны и смотрели на свои еще недостроенные гнезда, Шишкин слез с Дерзкого. Чуть разгоряченный вороной Дерзкий был сейчас особенно красив. Молодая гладкая шерсть лоснилась, и Шишкин вдруг вспомнил Петроград, где он был в госпитале, мост через какую-то речонку и на мосту четырех таких же как Дерзкий вороных коней.

— Чего ж ты наделал? — сказал Шишкин, засматривая Дерзкому в выпуклые глаза. — Чего ж ты наделал? Выявился со своим голосом. Может и обошлось бы все... Козырной масти был бы жеребушка.

Дерзкий дышал ему в щеку. Сунув под локоть повод, быстро обхватив ладонями щеки Дерзкого, Шишкин чмокнул его в верхнюю мягкую губу, покрытую реденькими волосками. Дерзкий недовольно попятился. Прислушался, поставив торчком острые уши, и заржал.

— Давай, давай, — усмехнулся Шишкин. — Захолостеют теперь у нас все кобылы. Мы воюем, пускай лошади воюют. Так, что ли?..

И, выхватив из кобуры браунинг, выстрелил в ворону. Трепыхая крыльями, ворона начала медленно падать, задевая о ветви. Она упала возле Дерзкого,

скребла еще секунду крылом по земле, потом затихла. Шишкин поддел ее ногой, отбросил и сказал:

— Да нет, врешь! Задавим пузанов, да царистов, все равно буду о вороной батарее...

И не договорив, вскочил на Дерзкого, гикнул, дал шпоры. Дерзкий понесся прямо к багровому закату.

Вернулся Шишкин поздно. Голенища сапог были влажные от конского пота.

— Две версты до самого заката не доехали, — хмыкнул Шишкин, растер соломенным жгутом горячую спину жеребца и, уходя, крикнул дежурному по конюшне:

— С утра всех жеребцов в околоток. Фершал знает зачем.

Утром в околоток повели жеребцов. Жеребцы косили друг на друга злыми глазами и старались повернуться задом, чтоб ударить соседа.

Через час Шишкин увидел коней, возвращавшихся из околотка. Они шли рядом, молча, хвосты у них были подняты и подвязаны бечевками. Шишкин отвернулся и не стал смотреть на Дерзкого. Но и Дерзкий не смотрел на него. Молча шагал он среди своих бывших врагов.

Вечером во всех ведомостях Шишкин вычеркнул слово „жеребец", написал вместо него „конь". Против клички Дерзкого перо споткнулось и на бумаге расползлась синеватая клякса.

4

Это были первые маневры. Орудийные выстрелы сливались с первым весенним громом. Весна уже была настоящая, полная силы. В зеленом лесу с утра до самого позднего вечера не смолкали песни птиц.

Прежде солнца совершали брачный полет бекасы. Широко развернув хвост, колебля рулевые перья, бекасы кружили над темными еще верхушками деревьев и оттуда неслись вниз к самкам глухие стонущие голоса.

После солнца непонятная вальдшнепам сила заставляла их подниматься и, резко свистя, медленно кружиться над лесом, присматриваясь и прислушиваясь — не отзовется ли, не вспорхнет ли где-нибудь самка?

Даже муравейники ожили. Лесные рыжие муравьи осторожно переползали сейчас через телефонный провод, который тянулся с батареи на сопку.

На вершине сопки лежал Шишкин с помощником и телефонистом.

Внизу под сопкой привязанные за молодые березки стояли кони. Дерзкий и рядом с ним кобыла Вздорная. Дерзкий принюхивался к маленьким зеленым листикам березки и от нечего делать отрывал их и жевал. Бабочка-капустница села на вороной круп Дерзкого. Неподалеку на деревьях пели хором дрозды. Дятел прирос к старой сосне и, наклонив пеструю голову, прислушивался. Под трухлявой сосновой корой раздражающе шуршали жучки.

С берез, зеленевших на южном крае сопки, беспрестанно срывались самцы лесных коньков. Эти пестрые птички, быстро махая крылышками, взлетали с песней к небу и, не переставая петь, опускались обратно на свои березы.

Телефонист, не отнимая от уха трубку, говорил Шишкину:

— Вот, товарищ командир, вам бы у нас в Архаре побывать. Местность у нас природная. А кони у молокан, закачаешься.

— А какой масти кони?

— Да всякой.

— Еще может свидимся,— сказал Шишкин и мигнул веселым глазом на лесных коньков: — Заливаются как. Это у них перед свадьбой.

— Никак жаворонки? — спросил телефонист.

— Коньки лесные, — не отрывая глаз от лесного конька, звеневшего в воздухе, сказал Шишкин. — Жаворонок не может этак без остановки петь. У его одышка. Он молчком опускается. А эти и вверх и книзу с песней. А вот там где-то в листочках самочки сидят. Выбирают себе лучших певцов. Эх, Вася!..

И ткнул пальцем в бок задремавшего было на солнце помощника.

Влево от сопки на шоссейной дороге послышался какой-то шум. Будто кулаком стучал кто-то по дну пустой бочки. Шишкин приложил бинокль к глазам:

— Вот чорт. Никак мотоциклетка?

— Ага, — подтвердил помощник, протерев глаза, — наверно, от начальника артиллерии. Вчера в штабе говорили, что для связи мотоциклетку дали.

— Хороша связь, — угрюмо сказал Шишкин.

— Если на железнодорожном направлении, вообще где дорога хорошая, так отчего ж.

— Ну, нас, кажется, больше в обходы ладят. А с таким гусем тайком не подберешься.

— Где тут подберешься, — согласился помощник.

Народоармеец в очках подъехал к сопке. Молчаливые кони шарахнулись от мотоциклетки в сторону. Народоармеец вскарабкался на сопку. Шишкин приподнялся на локтях:

— Зачем приехал на этой штуке?

— От начальника артиллерии для связи, товарищ комбат, — весело ответил народоармеец, сняв пыльные очки. — А штука, действительно, что штука. Три раза в дороге встревала. Вместо горючего, у ей прямо дикая смесь. Керосин наверное с хинином.

— Ну, вот что, — взмахнул гладким черным подбородком Шишкин. — Катай, товарищ, обратно отсюда.

И черкнул по воздуху ладонью.

— Куда? — удивился народоармеец.

— А откуда приехал, туда и уезжай. Скрытый, так скрытый подход. Скажи, что комбат Шишкин на мотоциклете не принимает связных.

— Да как же это так?

— Да так же. Катай, катай, катай!.. И не шуми здесь.

Помощник попробовал было уговорить Шишкина:

— Иван Фомич. Да ведь это если в случае обхода, в тыл. Или разведка... Да тем более и сейчас только маневры.

Но Шишкин не слушал его.

— Знаю.

И закричал сердито:

— Я сказал катай! Скажи, чтобы связного на коне прислали. На мерине, словом, на мерине. И точка.

Мотоциклетка снова застучала и задымила. И помощник сказал:

— Влетит нам, пожалуй, Иван Фомич.

— Пускай. Я скажу два раза контуженный. С меня спрос в полгреха... Небось, вот за Дерзкого никто заступу не взял. Жди теперь вороной батареи... Гуси какие-то, Рим там какой-то...

И плюнул на серый, нагретый солнцем камень.

Лесные коньки, напуганные было мотоциклеткой, снова начали свои брачные игры.

Особенно красиво пел и летал один лесной конек. Прельщая самочку, сидевшую на березе возле молчаливых коней, этот горячий пестрый комочек мгновенно взвивался с песней к небу и с песней же стремительно возвращался с неба.

Казалось, что от неба к земле протянуты невидимые струны. И нехитрая, но страстная и радостная, неповторимая на человеческом языке песня звенит на них, не умолкая.

ИЖОРЦЫ

С. Марвич

11. ДОЛЖНИКИ И ФИНАНСИСТЫ

Еще не успел маляр Орлов дописать на полотнище все слова, которые подчеркнул в потрепанной книжечке Панов, как в переднюю вошел человек лет сорока, сорока пяти. Он деликатно кашлянул. Орлов обернулся. Лицо знакомое. Встречались у ворот и на улице. С виду серьезный человек. Этакий запорожец, длинные усы, которые шутники зовут „усы номер двести семнадцать". Густые брови нависли над глазами. Но не обманут ни усы, ни густейшие брови. Не боевой человек. Идет в праздник такой усатый по Колпину, крепко хвативший в гостях или дома, — люди сторонятся. Еще расшибет, если не понравишься ему. Под хмельком песни горестные поет, начальству грозится. И кричит, что сейчас пойдет к Воскресенскому говорить насчет прав. Требует, чтобы подали шапку. Женщины с визгом тянут его на место. Да он не очень-то противится. А проспится — тишайший человек. Когда с начальством говорит в мастерской, мнет картуз в руках и потеет от страха. А что суровые усы — начальство этому не препятствует. Наоборот, поощряет. В таких усах русская старина. Не то, что пановские усы, — те короткие, щеткой, для мастерового вовсе и не подходят. Те усы для мастерового — просто дерзость.

Даже и здесь, в большевистском комитете, человек с длинными усами робко кашлянул, переминулся с ноги на ногу и снял шапку. Наконец, он он решился:

— Значит... выводите?

— Вывожу, — согласился Орлов.

Полотнище уже было расписано. Орлов проверял свою работу.

— А к примеру... Вот эти слова — о чем бы они?

— Понимать надо! — с некоторой важностью сказал Орлов.

— Понимать-то надо, — вздохнул усатый, — это так. У вас, говорят, главный есть Панов. Я к нему за понятием. Повидать бы надо.

— А имя тебе?

— Имя мне — Бондарев, Федор Степанов. Из железокотельной.

— Глухарь, значит?

— Покуда нет. А не миновать этого. Как водится. На правое туговат.

— Иди, Федор Степаныч, вот в эту залу. Там и Панов.

Но Федор Степаныч еще трижды отер ноги и только потом на носках огромных сапог осторожненько вступил в залу.

— Записываться, что ли, к нам пришел, товарищ Бондарев? — спросил Панов.

Бондарев даже испуганно руками взмахнул:

— Где мне записываться! Я только насчет правды, как говорится, узнать.

Тогда Баклайкин, сидевший тут же, вдруг вскипел:

— А у нас что, правда напрокат? Взял да ушел? Поносил да бросил? К нам за правдой, а записывался, небось, у трезвенников?

— Был и у трезвенников, — нехотя согласился Бондарев.

— Под поповский звон записывался, что водку пить не будешь?

— Под звон.

— А выдерживал? — вдруг спросил Панов.

— Да ни в какую, — усмехнулся Бондарев.

— У трезвенников записывался, а к нам за правдой ходишь! — кричал „дедка". — Вот ты какой человек!

— Погоди, Баклайкин, — сказал Панов.

Простой и понятный человек сидел перед ним. Как и другие, в праздничном пальто. Только у других приколот маленький красный бант, а у этого — большой и пышный, как его усы. Свой... но уж больно темный человек. Может, он и на маевках бывал и жадно слушал речи подпольщиков и читал листовки. А в заводе покупал за пятак бульварную газету и углублялся в чтение романа из жизни большого света. И если товарищи смеялись, смущенно ухмылялся: „Интересно... какой у них там хаос".

Отставший человек... И много еще надо, чтобы разбудить его. Одного февраля еще мало. Его будили корниловские эшелоны, весть о мире, бои с Красновым, выстрел в Ленина. В дни, когда Юденич стоял на Пулковских высотах, доведется увидеть Панову, как вот этот самый человек, едва держась на ногах, будет день и ночь стучать молотком, снаряжая бронированный ижорский поезд, и, снарядив, молча возьмет винтовку и пойдет отбивать высоты, поглаживая те же великолепные, но поседевшие усы. А когда отобьет высоты, так же молча сдаст винтовку и вернется в цех.

— Погоди, Баклайкин. Дай поговорить с человеком.

Бондарев и сам знал, что сознание у него темное.

— Как литейщики говорят, товарищ Панов, Тимофей Никитич, в голове у меня... ну, будто козел[1] засел.

— Когда так, выбивать его надо.

— Выбивать-то надо... Да как бы башку не расшибить? Да и с такой башкой-то... жить неудобно.

— Зачем же ты пришел, товарищ Бондарев?

— Тут не моя одна правда, — заторопился Бондарев, — тут, понимаешь, многих правда. Я, как это теперь говорится, делегат.

— Чей ты делегат?

— Как же... Ступина из меднокотельной знаешь? Павла Егорыча Сомова из новосборочной? Силантьева из цепной? Корзухина из ремонтной?

Он назвал наизусть еще имен десять.

— Тимофей Никитич, все ходим, говорим между собой, — платить или не платить? И не знаем.

— Кому платить-то? Ты ясно говори.

— Да Ноткевичу, Тавиеву. Им.

— В заклад носил?

— Всю жизнь носил! Все годы! — Бондарев обрадовался тому, что Панов его понял с полуслова. — Да не в заклад, не в заклад! Что у меня для заклада есть! Под расписку брал. Приходим мы теперь в сомнение — не-

---

[1] „Козел" — охлажденный, застывший металл в плавильной печи.

ужто платить? Ходили мы к Александру Станиславычу Белецкому. Посоветуй, значит.

— А Александр Станиславыч? — улыбнулся Панов. — Советует?

— Советует, да мало понятно. Борись, говорит, за светлую жизнь. Вникай, говорит. Говорит — жди, объявка будет от учредительного собрания. А какая она, объявка, будет? И чего учреждать-то будут?

— И много брал у Ноткевича с Тавиевым?

— Сам знаешь, праздник надо встретить, или жена разрешается. Идешь к нему. Да чего там! Больше отдал, чем брал. Бо-ольше!

Два приветливых домика с чистеньким крыльцом. Входили ижорцы в эти дома с другого, заднего крыльца, возле собачьей будки. Добрая половина ижорцев поднималась по черному крыльцу. Жили в этих домиках Ноткевич и Тавиев, два колпинских финансиста, два заимодавца всего посада. Оба — старики, но разные. Ноткевич будет попроще, приветливый, как и весь его домик, говорун и остряк. Тавиев — посерьезнее, молчалив. „... Праздник встретить, или жена разрешается...“ Не миновать было в эти дни черного крыльца ни Бондареву, ни Ступину, ни Сомову, ни другим. Ноткевич показывал серебряные часы и предлагал купить их. Всегда одни и те же часы — помятые, с ключиком для завода. Какой-то унтер взял их, как приз за стрельбу, и сплавил Ноткевичу.

— Царские часы! — шутил Ноткевич.

(На крышке был портрет царя с царицей.)

— Как же они нынче ходят? — в тон Ноткевичу спрашивал колпинец.

— Ходят они нынче в четвертной.

— Господин Ноткевич, да им цена-то в девять, от силы — в девять с полтиной, — молвил колпинец.

— Царским-то часам! — качал головой Ноткевич — На царском заводе состоишь, а такие слова произносишь!

Колпинец знал, что молить тут и не к чему, — Ноткевич только отшутится.

— Да они и не ходят. Стоят.

— А тебе требовается, чтоб ходили? Сейчас починим. — Ноткевич доставал лупу, инструменты, открывал крышку, трогал пружину. Он был по профессии часовщик. — Требуется, так чего ж. Сейчас пойдут.

— Да не требовается, чтоб ходили, — останавливает его колпинец.

Оба знали, что часы так и останутся в этой комнате. Но разговор бывал всегда один и тот же. Оба знали до последнего слова этот старый обряд покупки часов. Ноткевич проделывал обряд с важностью феодала, который принимает у вассала землю в обмен за покровительство, а потом дарит эту землю тому же вассалу. Отступлений от формы Ноткевич не допускал. Он был не только веселый, но и осторожный человек.

— Что ж... Пишите, господин Ноткевич.

И Ноткевич писал, что мастеровой такой-то купил у него в кредит серебряные часы отличной системы за двадцать рублей, что эту сумму мастеровой такой-то обязуется уплатить тогда-то. А потом Ноткевич говорил:

— С покупкой! А теперь продай мне часы за наличные. За наличные, сам знаешь, с уступкой полагается. Что возьмешь?

— Пятнадцать мне надо, господин Ноткевич.

— Уж и пятнадцать! Сам сказал, что от силы девять с полтиной. — Тут полагается молча усмехнуться.

— Ну, я полтинник набавлю.

И колпинец уходит с десяткой в кармане, подписав обязательство на двадцать рублей. По дороге встречался знакомый.

— Куда ходил?

— К Ноткевичу часы смотреть.

— С церемонией?

— С церемонией.

Иной раз, махнув рукой на Ноткевича, шли на крыльцо к Тавиеву. Тавиев предлагал на выбор четыре брошки с монограммами дутого золота—„Вера", „Надежда", „Любовь", „София". Тавиев был молчаливый старик, иногда пытался шутить, но шутил неумело.

— Покупай „Софию". Может, у тебя в посаде-таки есть Сонечка. Приколешь ей.

Происходил такой же обряд продажи и покупки, писали то же. Был еще и третий финансист — Пустынин, но к нему ходили только те, кому Ноткевич и Тавиев опасались давать, зато и брал Пустынин дороже всех.

В кануны получек Тавиев и Ноткевич пробирались к заводу. Ноткевич был одет попроще, Тавиев — в длинную шубу. Ноткевич ходил быстро, Тавиев шагал медленно и опирался на суковатую палку. Старый конторщик завода, бывалый человек, принимая от них пачку расписок, подмигивает:

— Ну, и часов перед праздником продали, господин Ноткевич! Скоро у нас в Колпине все с брошечками будут, господин Тавиев!

Расписка идет к бухгалтерам. Бухгалтера раскладывают ее на четыре, на пять получек, а если мастеровой под сомнением, то и на одну получку навалят.

После февраля Ноткевич и Тавиев забеспокоились. На завод они теперь не надеялись. Поняли, что там уже не вычтут. Ноткевич сам принялся разыскивать должников. Бойко бегал в коротком тулупчике по Колпину. На тулупчике также красный бантик. Он и теперь говорил весело и с шуткой:

— Постой, постой! Родной мой! — кричал он, заметив издали должника. — Забыл меня!

— Да и тебе бы, господин Ноткевич, надо забыть, — отвечал должник.

Ноткевич не терялся.

— Забыть, говоришь? А почему забыть? Записано, — вынимал бумажник с расписками. — Царя я забуду, а это как же забыть! Сколько лет выручал, а теперь крест поставить!

— Так волк овцу выручал.

— А кто ж тебя выручал? Шестипроцентная ваша? Выручали, когда тебя с завода гнали. А праздник встретить или так выпить — ко мне бегал! Слушай, родной, половинку я, так и быть, сброшу. Ты хоть чистый долг уплати.

— Чистый долг? В десять раз больше заплачено. Эх ты! Жрал, жрал, а все не сыт нами! Нет, брат, хватит.

Встретив Бондарева, Ноткевич также остановил его:

— Скажи вашим, что забывать не полагается. Вот и правительство пишет, что не полагается.

— Какое правительство?

— Какое! Наше с тобой правительство. Новое. Временное. — Ноткевич вынимает из бумажника вырезку из газеты. — Грамотный? Ну, так вот читай: „все сделки, что при царе заключены, действительны и теперь". Понял? Царь царем, а деньги денежками.

— Кто закон-то писал? — растерянно спросил Бондарев.

— Сенат, сенат! Правительствующий сенат! — Ноткевич назидательно поднял вверх указательный палец. — Сам понимай и другим скажи.

После этой встречи Бондарев и другие должники забеспокоились. Собрались, подумали. Говорили с Белецким — не поняли Белецкого. Тогда решили послать Бондарева делегатом к большевикам.

— Полвека у меня Ноткевич заел, — говорил Бондарев. — Так я эти полвека назад не спрашиваю. А теперь платить или не платить? Опутаны мы.

— Не платить! — сказал Панов. — Ни копейки. Дурак будешь. Дети засмеют.

— Не платить? Верно! — успокоился Бондарев. — Так и я понимаю. А то жди, какая будет объявка от собрания и что оно еще учредит такое. Не платить! К чортовой бабушке! — Бондарев с удовольствием глядел на Панова. — И царские часы к чортовой бабушке! Полвека на них глядел. А насчет сената... — Бондарев спохватился и стал говорить тише. — Не может так сенат написать, что плати и Ноткевичу с Тавиевым?

— Если напишет, приходи опять. Поговорим.

— Приду.

— Вот, возьми с собой, почитай. — Панов протянул ему тоненькую книжечку, напечатанную крупными буквами.

— Тут что же, про Ноткевича написано?

— Есть и про Ноткевича, — улыбнулся Панов. — Разберешь — про кого.

Бондарев деликатно простился, поправил пышный бант, погладил усы и ушел.

Тоненькая книжечка, напечатанная крупными буквами, называлась „Пауки и мухи". Должно быть, прочли ее все должники Ноткевича и Тавиева. При встрече со стариками должники разговаривали куда решительнее, чем в первые февральские дни. Напрямик называли стариков „пауками" и „кровососами", „осминогами", просто „гадом" и даже хуже. Ноткевич перестал за ними гоняться по улицам. Он и Тавиев накрепко запирались у себя дома и никого не пускали на черное крыльцо. И оба незаметно исчезли из Колпина, увезя с собой непогашенные расписки, домовые книги, царские часы и брошки с женскими именами.

Но третий, Пустынин, заимодавец тех мастеровых, на которых косо глядело начальство, остался в посаде. Он бесшумно и упорно ходил за должниками. Особенно не надоедал, только спрашивал:

— Отдашь?

Его ругали. Кто-то плюнул ему в лицо, кто-то пообещал: „Святого кулака попробуешь". Пустынин отставал, а на другой день опять как тень следовал сзади. Все годы гражданской войны, когда на заводе оставалась едва тысяча человек, он прожил в Колпине. Пустынин высох, сгорбился, очень состарился, но своего не забыл. И после гражданской войны в дни получек он подходил к главным воротам завода, но ничего не говорил, только пристально глядел на старых знакомых. Над ним зло смеялись:

— Ошалел от жадности? На, подними, — и бросали под ноги гривенник.

Пустынин молча поднимал и не уходил.

— Ты в Геную поезжай, там больше получишь с нас.

Кажется, Пустынин действительно тронулся. Но в двадцатке старой церкви он оставался уважаемым человеком. На что старик теперь жил — неизвестно, но после смерти у него нашли достаточно денег, чтобы поставить памятник.

И на могиле Пустынина на Никольском кладбище поставили мраморного ангела, зовущего трубой на страшный суд. Труба была железная — в ветреные дни она гудела.

12 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАСЬЯНС

В те самые дни, когда Ноткевич ездил в столицу разузнать насчет законов о старых долгах, начальник завода Беляев также ездил в столицу за справками. Первый раз оба старика ехали в одном поезде, только старик в коротеньком тулупчике полез в третий класс, а старик в черной шинели сел в вагон первого класса. Из столицы Ноткевич привез сенатское разъяснение, а Беляев привез такую уверенность, что для второй поездки в столицу он уже потребовал заводскую машину, в которой отвозили арестованного Воскресенского.

В столице Беляев видел начальника всех заводов морского министерства — Гросса. Они были давно знакомы. Гросс когда-то сам управлял Ижорским заводом и хорошо его помнил.

Гросс не взволнован и не испуган. Если и была растерянность в первые дни после февраля, то она теперь прошла. Что, собственно, прибавилось к их обязанностям и что изменилось в их начальническом положении? Гросс думает, что прибавилось только одно — необходимость быть дипломатом. Гросс начинает с примера, который относится к временам его далекой молодости. Откидывается на спинку кресла, чтобы удобнее было вспоминать. Будучи офицером, он по-особому объяснял матросам значение козыряния. Не кричал на них, если они забывали козырнуть, он сажал в карцер. Говорил матросам: „Представь себе, что ты в деревне и выходишь на улицу. Встречается тебе сосед постарше, чем ты. Ведь ты снимешь шапку, чтоб поздороваться? Снимешь?“ — „Так что, сниму, ваше...“ — „Вот видишь, я такой же сосед. Только шапку снимать хлопотно, бескозырку. Приложил руку к виску и пошел себе своей дорогой“.

Сосед теперь не тот, что раньше. Да, улыбается Гросс, не тот. Соседушка стал нахальнее. Не назовет „превосходительством“, а только „господином генералом“ и не поздоровается первым. Что ж, у французов, например, давно уже так. А все-таки существуют у французов и генералы, и адмиралы. Живут и командуют. Матросский выстрел в Гельсингфорсе? Убийство адмирала Непенина? Улыбка сходит с лица Гросса. Да, соседушка тут себя показал. И все же Гросс спокоен. Спокоен, хотя бы соседушке на этот раз и не надели петлю на шею. Бывало, что свои же солдаты убивали своих же генералов — и в древности случалось, и в недавнее время. Но убивали неумелых — тех, кто не знал, когда надо становиться дипломатом, убивали слишком непреклонных. Некоторые слишком непреклонные сами спешат уйти. Гросс называет имя одного из чинов морского ведомства. Слишком непреклонный человек застрелился на другой день после отречения царя. Оставил записку, что „хамам служить не будет“. Красивый жест, но его, Гросса, этот жест не увлекает. Незаметная смерть, как выстрел в пустыне. Время покажет, кто кому служит — они соседушке или соседушка им. Всего неделю назад было хуже. А теперь соседушка набрался. Ему и надо было дать набраться. Дали же набраться парижским соседушкам в сорок восьмом году, а потом выпустили Кавеньяка. Министерства открыты. Генералы на местах. Комиссары помогают генералам. Воскресенского держали только сутки. Они его, конечно, примут в министерство. Морского министра также

выпустили. Вчера Гросс был у нового министра, у того самого, что ездил к царю за отречением. Дельный и твердый человек. И Гросса ничуть не обижает, что новый министр — не адмирал. Гросс все ссылается на соседнюю Францию — там также военными и морскими министрами бывали штатские люди. И ничего не менялось. Словом, спокойная твердость и любезность дипломата, — вот что требуется от генералов. С этим можно благополучно дождаться важных перемен — последнее слово не за соседушкой. И потом он, Гросс, и Беляев — не строевые генералы, а технические. Им легче, чем строевым. Гросс несколько удивлен запросом Беляева. Такие бумаги теперь крайне недипломатичны. Следует ли платить тем, кто бастовал в последние царские дни? Надо заплатить без всякой бумаги, заплатить тотчас. Неизбежные и, по совести говоря, небольшие расходы. Беляев преданно смотрел на Гросса выцветшими, мутными глазами старого пьяницы, подтянуто держался, старательно слушал, но из всего этого разговора усвоил только одно — министерства открыты, правительство есть, комиссары помогают генералам. Про Кавеньяка Беляев никогда не читал. Кто он был такой — генерал или адмирал, молодой или старый, и как он точно действовал? Да и сам Гросс прочел об этом недавно — только в самые последние дни, когда он жадно искал в исторических книгах аналогий с сегодняшним днем, но аналогий с благополучным для него, Гросса, исходом. И он находил их. Исторический пасьянс отлично получался.

13. БЕЛЯЕВ ПЫТАЕТСЯ БЫТЬ ТВЕРДЫМ

Беляев запомнил только про твердость. Он потребовал к себе обратно начальническую машину. Удалось. Тогда Беляев перестал ходить на митинги и решился на большее. После того как вернули машину, генерал созвал военное начальство завода и держал перед ними речь. Говорил твердо и приказательно. Сегодня у ворот вывесят приказ. Завод начнет работать, прекратятся митинги на Новгородской. Правительство имеется, война продолжается.

Военные чины, собравшиеся в кабинете, были изумлены этой твердостью Беляева. Кто б мог подумать! Воскресенский в грош не ставил своего помощника и никогда не поручал ему серьезных дел. Начальствовал Беляев разве что над махальными.

Но самый молодой чин, сидевший в этом кабинете, ничуть не удивился Беляеву. С неделю назад, встретив в коридоре большевиков, выходивших от Беляева, лейтенант Гусаковский открыто выражался о генерале. Теперь на заседании в кабинете Гусаковский выражается одними глазами, и черные глаза говорят: „Ну, и дурак же ты, ваше превосходительство, петый дурак. Ничего вы с Гроссом не поняли, и полетишь ты отсюда турманом... Скажи, пожалуйста, „я вас больше не задерживаю, господа". Отрывисто, по-генеральски. Нет, военной богадельней тебе заведывать, золоторотцами, а не таким заводом".

Гусаковский встал вместе с другими и почтительно откланялся.

После заседания Беляев принимал у себя временный комитет по управлению заводом.

Еще и на лестницу не поднялись, как все разом почувствовали, что дали маху. Надо было раньше сговориться. Собираться собирались, да без толку. Вопросов записали сотни две. И о сквозняках, и о бесплатной бане, и о первом мая, и о мастерах, которых надо вон гнать, о брезентовых рука-

вицах, о рабочем клубе, о выселении городовых из казенных квартир, о заводской лавке. Всего не перескажешь. О чем говорить раньше? Баклайкин только часто стучал кулаком по столу и покрикивал: „Я! Я! Я! Я!“ Чего там — „я“! Говорили до полуночи — и пусто в голове. Да и Баклайкин тоже угрюмый поднимается по лестнице. Эх, ковры-то малиновые, жалко топтать. Во весь коридор коврик — не видать, где и кончается.

— Будто в рай идем, — сказал кто-то из стариков.

— А из рая что принесем? — подхватил другой.

Стали смеяться сами над собой. Думали — легче от этого станет.

— Если не принесем, наши поленом благословят.

— Благословят, — одобрительно подхватил Хлебников. — Не забудут! Да и то верно, коли под шапкой у тебя мало — так не суйся, других пусти.

— Не то, что под шапкой, а загодя не... того, не сговорились...

Нехватило слова, десятью годами позже сказали бы — „недоработали“.

Баклайкин все молчит.

В кабинете стояли вплотную один к другому, не дышали от волнения. Видели, что Беляев теперь совсем не такой, как на Новгородской площади, когда записывал в книжечку и кивал каждому оратору. За руку не поздоровался, сесть не сразу предложил.

— Так что же, господа? — пододвинул к себе какую-то бумагу.

— Вот... мы... — начал Баклайкин, — временный комитет по управлению заводом. — И подал Беляеву в доказательство список комитета.

Беляев надел золотое пенснэ.

— А при чем тут столовая?

— Какая то-есть столовая?

— Общедоступная, колпинская. — Беляев ткнул пальцем в печать на бумаге.

Много было разговоров об этой печати. Почему-то решили, что на списке должна быть печать. А где ее взять? Заказать не успели. Поставили печать общедоступной столовой. Баклайкин и объяснил это кое-как.

Не узнать „дедки“ — запинается, кулаком не стучит.

— За неимением гербовой пишут на простой, — снисходительно сказал Беляев. — Да. Только к такой печати надо было заодно и ложку привесить. Так чем же вы будете управлять? Общедоступной столовой?

— Заводом! — выкрикнул „дедка“. Он покраснел от обиды.

— Заводом? Допустим. Но как?

Помолчали.

— Рабочий контроль, — начал было „дедка“. — Доглядать...

— Позвольте, позвольте! Что значит „контроль“?

— Откуда заказы идут... И вообще...

— Известно — откуда: из министерства, — огрызнулся Беляев.

— Куда казенные деньги идут..

— Тоже известно: на покупку материалов или вам на получку. Контроль! У нас есть приемщики от морского министерства, от военного. Если каждый будет контролером, то у нас десять тысяч контролеров. Вы надо мной контролер, я — над вами. А работать? У нас военные заказы.

— Может, войны и вовсе не будет, — угрюмо сказал „дедка“.

— Не знаю-с! А пока что военные заказы.

— Восьмичасовой рабочий день? И вообще... — „дедка“ с трудом подбирал возражения. — Социальное страхование?

— А-а! Но это уже проведено или будет проведено. Я согласовал

с Федором Христофоровичем. И за увечье, и за болезнь будут платить. И за прогульное время при старом правительстве. Приходили от вашей политической партии — я предоставил помещение. Спокойно работайте и... какой тут еще контроль?

— А вот вы на площади в книжечку тогда многое записывали, господин генерал, — съязвил „дедка".

Гросс предупреждал об этом новом титуле. И все же передернуло такое обращение. И неприятно вспомнить о книжечке.

— Моя книжечка касается меня одного. Если у вас есть еще претензии, изложите.

Все устали. Хотелось поскорей уйти. Все же Баклайкин добавил:

— Первое мая праздновать будем. Не так, как при царе, — не тайком в „Зелененьком" лесу.

— Я слышал, что выйдет закон, что в первое мая устанавливается табельный день.

— Да, табельный! Заместо царских! — выкрикнул „дедка".

— Если закон — не будете работать.

— Обижаются люди, — солидно вставил Хлебников, — что учительша ставит на колени носом в угол, к иконе. Может, другие теперь и вовсе в бога верить перестанут...

— Хорошо-с. Я поговорю... с учительшей. — Беляев быстро взглянул на Хлебникова. — Что же, это полагается теперь не верить?

— Бумажечки от попа, что на духу были, не понесем, — на прощенье подразнил „дедка".

На улицу не вышли, а вывалились гурьбой. И опять сами смеялись над собой, чтоб стало легче. И вдруг зазвенел сердитый тенорок „дедки":

— Гнать такого генерала надо! Гнать! Я! Я! Я! Я!

— Выгонят, — урезонивал Хлебников. — Другие выгонят. Не такие мешки, как мы, друг. Нам за это дело будет от них, — похлопал себя по затылку. — Ох, депутаты! Самого же главного не сказали. После такого срама по-старому бы в полпивную очухаться. Знаешь, Марк Потапыч, пойдем ко мне. Племяш из города привез. Раздавим кали-мали.

И хотя „дедке" было наказано тотчас итти к Панову на отчет, он угрюмо поплелся за Хлебниковым.

Вечером Хлебников и сам подался к Панову. Не знал, о чем будет говорить с ним, но потянуло. Может, обругает — легче станет. От кали-мали особой легкости не почувствовал — едва ли не в первый раз в жизни. Он встретил Панова на Никольской, когда тот шел вместе с Баклайкиным. „Дедка", казалось, уже протрезвел и шел прямо. Хлебников еще слегка колесил. Преувеличенно твердым шагом как солдат на параде подошел к Панову и отдал честь. И Панов с первого взгляда понял, что шутовство не от озорства, а от того, что совестно человеку перед самим собой.

— Здорово, новгородец!

— Верно, — согласился Хлебников. — Новгородское вече и есть. Читал я где-то, Тимоша, что новгородцы такали, такали, да Новгород и протакали.

— А вы Колпино протакали.

— Верно! — одобрительно закивал Хлебников. — Протакали!

— Поправлять придется.

— И ты, Тимоша, — Хлебников хитро прищурился, — как попал в эту кашу на площади, не мог направить, чтобы люди в цех шли?

— Постой, Тимофей! — закипятился „дедка". — У нас тут партийный разговор. Хлебников в ячейке не был и не записан у нас покуда.

— Фракция на Никольской улице! — засмеялся Панов. — Фракция вдвоем!

— Хоть и не фракция, а все-таки промеж себя, партийных! — зазвенел „дедка".

— Нехорошо, Марк. Кали-мали сообща дули, а ты напарника в коридор суешь, покуда фракция говорит. Вот хочу, чтобы Хлебников был на партийном нашем разговоре. Ему полезно. Не чужой.

— Запишусь! — подхватил Хлебников. — Честное слово, к вам запишусь. Хоть сейчас пиши, Тимоша. Запишешь — я за давишний срам хоть один Беляева выгоню. На себя возьму.

— Когда у тебя кали-мали выдует из головы, тогда писать будем.

— Самая малость в голове осталась.

— Вот, когда и малости не будет... А это ты верно, что вече в цеха не направили. Прозевали. Так чего ты, Марк Потапыч, сразу не пришел после разговора с Беляевым?

„Дедка" остолбенел.

— Говорено об этом, Тимофей.

— Говорено до Хлебникова, а теперь я при нем хочу. Ему это полезно. К нам человек идет. Писать его просит.

Баклайкин повторять не стал.

— А знаешь, — рассердился Панов и рассердился так, что „дедка" сразу умолк, — мы за эти два часа, что вы там с кали-мали сидели, много поправить могли. Могли народ позвать в цеха! И сегодня Беляева выгнать. Теперь ночью придется цепочку крутить.

Комитет в доме на Царскосельской заседал всю ночь. В эти часы комитет был штабом, и до утра по колпинским улицам бегали курьеры. Была среди этих курьеров молодежь, были люди и посолиднее, большевики старые, вчерашние большевики, бегал беспартийный Хлебников. Курьеры стучали в спящие дома, вызывали товарища на крыльцо.

— Завтра чуть свет — в завод. Новый комитет выбирать. Скажи еще кому.

— Почему ночью? Почему чуть свет?

— Нельзя им времени давать. Гнать, покуда с силой не собрались.

— Кого гнать?

— Беляева.

— А вчерашний комитет?

— Нету его. Рассыпался.

Разбуженный товарищ одевался и шел будить другие дома. В кривых домах зажигался на минуту свет. И оттуда также выходила на темную улицу живая повестка. Ночь была глухая, мглистая. Мимо поселка ползли к столице товарные составы. Дремал, закутавшись в тулуп, пожарный на каланче. Свет только в больнице да в Морском собрании напротив. Там до позднего часа гоняют шары по зеленому сукну. Может быть, Беляев там, может быть, спит. Складывают кии в пирамиду, стряхивают мел с рукава, зевают, требуют шинели. А в разных концах поселка по зыбким дощатым тротуарам все еще стучат торопливые шаги. За ночь цепочка Панова обошла весь поселок. Утром она окружила завод.

Собрания в цехах прошли быстро. Через полчаса был выбран заводский комитет. Посылали в комитет двоих от каждого цеха. Кое-где в цехах требовали отчета от новгородцев.

— Выходи, не прячься!

— Я и не прячусь, — с готовностью отвечал Хлебников. — Весь я тут перед вами.

— Расскажи, как вы там рассыпались. Ночь из-за вас не спали. Потешь.

— Кофеем Беляев поил?

— Во фрунт перед Беляевым стояли? Или благородно — за ручку?

— Ребята, за ручку было, — признавался Хлебников. — И в креслах сидели.

Когда пошли из цехов, решили, не сговариваясь, что надо в ту же минуту выгнать Беляева. У Беляева опять шло заседание — последнее перед пуском завода.

— Хлебников, ты там человек бывалый. Веди к Беляеву.

— Да я уж не в комитете.

— Ничего, веди. С тобой интересней.

И опять стоял Хлебников в кабинете генерала, но говорил уже не то, что вчера.

— Новый комитет привел, господин генерал. К этим ложку не привесишь. Народ обижается.

— Чем я вас обидел? — не понимал Беляев.

— Да коли так по прошлому году разговаривать, то, действительно, не обидно. А по нынешнему времени не подходит. Все-таки комитет к вам приходил. Народ ждет, господин генерал.

Площадь перед главными воротами была черна от людей. В комнате стало очень тихо. С улицы доносился неясный шум. Беляев менялся на глазах у Хлебникова, и Хлебников смотрел на него с большим интересом. Вот Беляев уже и не вчерашний важный старик, который не сразу им руку подал и печать высмеял, а просто старичок, который... потребляет. Синие жилки на носу. Когда царя не стало, носил тужурку. А после разговора с Гроссом опять надел военный сюртук с генеральскими погонами. Обмяк он сейчас в сюртуке. Молчал Беляев, молчали его помощники.

— Чего это ждет народ?

— Теперь вы говорите, — Хлебников обернулся к комитету и отошел.

— А того, что уйдете с завода. Совсем уйдете. Тихо, смирно, без неудовольствия.

Беляев вспомнил о Гроссе. И чего только наговорил тот! Ему там спокойно в министерстве! Завод не под боком.

Закричал старческим срывающимся голосом:

— Не вы меня назначали! Не вы!

— Назначали не мы, а выгоним мы.

— Пока не пущу завод...

— Без вас пустят. Ничего не сделали, чтобы пустить, а говорите.

— Я вам сказал...

— А ну, ваше превосходительство, не хотите тихо-смирно, тогда просто — вон! Марш-маршем. Засиделись.

Начальство бежало. По ошибке выгнали за ворота вместе с Беляевым и лейтенанта Гусаковского. Гусаковский нисколько не обиделся. В эту минуту он зло подумал о стариках-начальниках. Вчера еще Беляев говорил по-генеральски. Нашел время, дурень! Ездил к Гроссу на зарядку. Провел его Гросс за нос, или сам Гросс — недотепа? Старикам-генералам вышел срок. Теперь с ними можно посчитаться.

Гусаковский уже год назад чувствовал, что генералы зашатались. Видел

нехитрую игру Воскресенского, видел дурацкие выходки Беляева, которым в тяжелые дни прикрывался Воскресенский. Видел, молчал, презирал тяжело, с ненавистью. Презирал не только стариков. Прапорщик Сигов, косноязычный мальчишка, орал на мастеровых, если те выходили без ратного креста. Гусаковский не орал. Молча спускал и большее. Однажды подобрал возле станка прокламацию, бегло прочел ее. Мастеровой поднял на него бледное лицо. Гусаковский только усмехнулся в усы.

— Спрячь это получше, братец. Такими штуками не шутят.

Если бы тогда начальство узнало это про лейтенанта Гусаковского! Тогда... Не может спокойно думать об этом „тогда". Старики с погонами не давали ходу. Ходил на „Севастополе". В кают-компании вестовые несли блюдо ему последнему, остывшее, гарнир весь сняли, попу — и то вперед, а ему — напоследок. А платил за стол то же, что и другие. Когда дредноут посетила высочайшая особа, Гусаковского не позвали сниматься. На балах он не был уверен — сможет ли пригласить даму на вальс, хотя дамы считали его красивым. Ведь он техник, а не строевик, дешевая кость. Ржут породистые жеребцы. Не вынес жизни на корабле, отпросился на завод. От столицы час езды, грязный посад, деревянные мостки, Морское собрание, дым в билиардной. Гусаковский здесь — первый красавец. Начальственные жены очень благосклонны, на улице подгородные мещанки подолгу глядят вслед. Но... Десять лет лейтенантом, еще десять — старшим лейтенантом, и только к старости, когда и ревматизм, и подагра, и геморой, и глупость, — доберешься до генеральских погон, да и то — если родовитые жеребцы из министерства не спихнут в отставку. Бывало это даже с военными инженерами получше, чем он. Один предлагал дешевую броню, другой — отличный двигатель для подводных лодок. И все-таки убрали их, а дубина-Беляев торчит. Если бы не война, ушел бы на службу к купцу на завод.

Вчера на минуту испугался. Подумал, что, может, и впрямь Беляев останется на заводе, если уж говорит так уверенно. Останется — и все будет, как было. Испугался, согнал улыбку с лица, опустил разбойничьи глаза и даже сподличал — крепко жал Беляеву руку, поздравляя его.

Но нет, вытряхивают генералов. Воскресенский песню пел, флаг нес, а свезли в столицу. Беляев в книжку писал — и тоже не миновать. Дудки. Пришел его час, Гусаковского. Теперь надо смелее, или навсегда останешься в обозе.

Бегут по лестнице. Топот ног. Пенснэ дрожит на сизом носу Беляева. И вот начальство на улице, и в тот же день Гусаковский стал начальником завода.

...Когда начальство выгоняли с завода, Гусаковский за воротами сразу отделился от стариков. Гусаковский подбежал к дереву, что росло на площадки. Молодой и сильный, подтянулся на сук, обломал этот сук, вытащил из кармана красный платок, прикрепил его к палке и пошел с флагом на митинг. Догнал рабочих, весело поглядел на них черными разбойничьими глазами и задорно крикнул:

— С митинга не прогоните?

Ему ответили:

— Давай! Давай!

На площади он переходил от одной группы к другой и говорил одно и то же:

— Вот мы тут с рабочими выступаем, а не видим главного. Не заботимся.

— В чем главное?

— В кольцевой смазке, — уверенно отвечал Гусаковский.

— Это моторы-то?

— Запущено. Месяц без смазки. Сам ходил — да что я один могу сделать!

На трибуне большевик сменял эсера. Эсер говорил о верности союзникам — о немедленном мире. Вылез меньшевик — едва ли не единственный на весь завод — и также говорил о верности союзникам и еще о чем-то непонятном. А Гусаковский все переходил от группы к группе и повторял:

— Только включат — перегорят. Зашипят — и стоп.

Так от группы к группе обошел всю площадь. Безошибочно угадывал, какой перед ним цех.

Если чесанки с калошами, значит — мастер. Если человек руку к уху подносит, значит — глухарь, клепальщик. Если в кепке и почище на вид — обязательно монтер. Если впалая грудь и желтое лицо — работает на кислотах. Если высок и широкоплеч — молотобоец. Если кривоватые ноги — коваль. Если лицо в черных точках — кочегар. Если на вид солиднее, чем другие, — слесарь, токарь или фрезеровщик. Если пожилой и одет много чище, чем соседи, щелкает крышкой серебряных часов, — лекальщик. Легко узнать смазчика — темные, но не шершавые, как у других, руки. Совсем плохо одет, землистые руки — формовщик, шишельник. О сталеварах и говорить нечего — сразу бросаются в глаза. Свои признаки у столяра, у модельщика, у маляра. Гусаковский не смог бы объяснить, какие это признаки, но не ошибался. У Гусаковского был острый глаз. Вот только насчет человека в рваной мешковине задумался Гусаковский. Не определить этого человека. Должно быть, отовсюду выгнан и спился. Стоит заросший, нечесанный. Поодаль стоят люди в полукафтанах из такой же домотканины, как на азямах, подпоясанные сыромятным ремешком, в лаптях с теплыми онучами. К ним Гусаковский не подходит. Это сезонники, они требуют, чтобы говорили только о земле.

Беляев на площади в книжку писал, Воскресенский песни пел. А Гусаковский поднялся на трибуну говорить. Было свежо, но он снял офицерскую фуражку и положил ее на барьер. На площади притихли.

— Я, — начал Гусаковский, — я стою здесь равный среди равных.

Говорит высоким тенором и слышен всем.

— За несколько дней мы стали братьями.

Говорить ему не легко. Навстречу летят возгласы, и Гусаковский понимает, что на них надо отвечать немедленно.

— Кто вы?

— Сейчас объяснюсь, кто я. Я социалист. Да, я социалист.

— Какой социалист? Социалисты бывают разные, — это густой голос. — Бывают и такие, что хуже капиталистов.

Знакомый голос — он говорил с этими людьми в коридоре, когда они уходили от Беляева.

— Насчет земли говори, — кричат сезонники.

— Какой социалист? Еще не знаю. Вы этому в тайных кружках учились, товарищ Панов. Нас в инженерном училище этому не учили. Одно я знаю — если бы не чувствовал себя равным, не пошел бы сюда, а пошел бы домой, когда выгнали с завода.

Почувствовал, что сказал удачно. Почувствовал по глазам этих людей,

по легкому шуму, который пронесся по площади и утих. Надо еще что-нибудь сказать об этом.

— Думаете, — легко, когда выгоняют? За что меня гнать? Беляев всю жизнь прожил, а я и до половины не дошел. Каким был, таким остался. Я моложе вас, товарищ Панов.

— Да чего там! Не вас гнали. С вами промашка получилась.

— Я и понял, что ошибка. Насчет земли? У меня земли нет, не было. Я сам сиротской ложкой хлебал.

И опять этот легкий смолкающий говор. И в легком говоре он слышит: „зря обидели".

— Я не в обиде. Я и раньше солдата за губу не тянул. Выйдите, скажите, кого я за ратный крест тянул? Никто не скажет. Я за чужую землю не заступник. Земля тому, у кого ее нет. Сам видел — под парками или так просто без дела тысячи десятин лежат, а рядом люди — как в муравейнике.

Видел, как высокий, нескладный парень в домотканине неумело бил в ладони. Парень говорил соседу: „душевно он про муравейник". А потом и многие захлопали. Но, когда смолкли, тот же густой требовательный голос сказал:

— А про войну?

Но Гусаковский приготовился говорить и про войну.

— Если завтра согласятся на мир без убытков для нас; если не откромсают у нас десяток губерний, — я за такой мир. Нам чужих земель не надо, на своей хозяйничаем плохо. Я за землю, я за мир, я за восемь часов работы, за то, чтобы совесть всякого была свободна, за то, чтобы каждый был сыт, чтобы женщины не продавали себя за пятерку (голос с площади: „за целковый себя продают") или, как говорит товарищ, за целковый. Я за то, чтобы не затирали человека с головой. Вот я такой социалист.

— Для настоящего социалиста маловато.

— Не знаю, товарищ Панов. Большему не учился. Еще я знаю только про мои моторы. Если завтра пустить, то сгорят, и завод опять встанет. Это я знаю.

Кто первый крикнул об этом — не заметил. Видел, что кричат с разных сторон площади. Потом на трибуну протискался высокий, худой человек. Он встал рядом с Гусаковским, ударил шапкой о рейку.

— Товарищи, без начальника заводу не быть. Предлагаю в начальники товарища Гусаковского. Чином мал, да нам чинов не надо. Нам — чтоб человек был.

И Гусаковского без долгих обсуждений избрали в начальники. Он и не ожидал, что это произойдет так скоро. У него был другой план — вечером поехать к Гроссу, добиться назначения от Гросса. Такое избрание на площади законно ли? Ведь если повернется на старое (стоя на трибуне, он успел подумать и об этом), то не сдобровать ему, Гусаковскому. Нет, не повернется.

Если так запросто гонят генералов, то не повернется. А Гросс — долговечен ли сам Гросс?

И Гусаковский жал руки и благодарил. За ночь он с бригадой смазчиков обошел моторы. К утру моторы были в исправности. За ночь наладили гудок, и утром в первый раз за двести лет не колокол, а гудок поплыл над посадом.

14. ГЕРОИЧЕСКИЙ КРЕСТ

— Выходит, с новым тебя начальником, Тимофей Никитич. Времена-то какие — на место генерала молодой человек стал!

— Не нравится он мне, — ответил Панов.

— Чего так? Тогда ночью сам он от мотора к мотору бегал. Мазал.

— И людей мажет, не то что моторы. На пасху христосоваться полезет, как по пятому году...

— Все-таки посмотреть надо, что за человек. Подождать надо.

— Подождать надо, — соглашался Панов, — да ждать не с пустыми руками. А вот с этим...

Показывает на винтовки, составленные в козлы.

— В случае чего, если ждал, да обманулся, так можно было бы и за себя постоять, а не как в пятом годе.

— Это так.

Разговор шел в саду, что при зимнем театре. Весна наступала ранняя. Посад тонул в грязи. Дощатые переходы были густо облеплены глиной. Сани скрипели и по воде, и по снегу, и по ледяной корке, затвердевшей в глубине. В снегу на каналах проступали темные пятна. Сваи против плотины стояли голые и черные — снег с них слез. И с деревьев слез также.

На подсыхающей площадке в саду при зимнем театре сошлись отдохнуть и покурить человек тридцать. Винтовки приставили к деревьям. Это были разные винтовки, пехотные, кавалерийская винтовка, австрийские винтовки, о которых фронтовые солдаты отзывались плохо, японская винтовка со сложным затвором. Все эти винтовки были добыты по-разному. Русские пехотные взяли у солдат понтонного батальона на другой же день после отречения царя — разоружили на улице посада отряд. Молоденький офицер сначала грозил, а потом плакал.

— Господа, ведь если вы не победите, меня за это расстреляют. Не поверят, что силой взяли. Вы же голыми руками взяли.

Кто-то из разоруживших сказал:

— И в такой-то день о своей шкуре гадает! — и плюнул с сердцем.

И солдаты-понтовщики тоже плевали.

Кавалерийскую винтовку нашли у станционного жандарма в коровнике. Австрийские винтовки привезли как трофей фронтовые солдаты. Японскую винтовку кто-то из знакомых людей выдал тайком с интендантского склада. Ложа одних винтовок потемнели, захватанные руками множества людей, какие-то буквы были выведены на них чернильным карандашом, имена и годы — знаки войны и судьбы. Другие винтовки еще хранят свежий лак. У одних винтовок ремень цел, у других — мокрая веревка вместо ремня.

— А полагается винтовки ставить так вот прямо у дерева? — спросил Панов коменданта штаба Красной гвардии. Вопрос был обращен к Черневичу, обучающему командиру.

Черневич, молодой унтер-офицер, хвативший и пули, и газов, и окопного ревматизма, и окопного тифа, отвечал:

— Как их только там не ставят!

— Нет, ты скажи: на учении, по уставу, можно прямо к дереву?

— Ни боже мой! На губу угодишь.

— Хоть мы и без губы живем, а тоже нельзя. Объясни, как надо ставить.

— Чего там объяснять! „Вейся, вейся, не развейся ты, веревочка моя". Голос раздался по ту сторону ограды. Оглянулись. С улицы на ученье смотрел старый незнакомый рабочий. Он шутливо отдал честь Панову.

— Рядовой пятой роты Моршанского пехотного полка. Вояки ижорские, кольца надо вить. Из сахарной веревки.

— Кольца из шпагата, — подхватил Черневич. — Однако кольцо на три штыка. Да шпагата нет.

— Принести, что ли? — вызвался старик у ограды.

— Принеси, рядовой Моршанского, — ответил Панов. — Как тебе фамилия?

— Забыл Бондарева? К тебе же насчет Ноткевича и Тавиева ходил.

— Не разглядел. Забор мешает. Алексей Павлыч, знаешь, наш комитет на Царскосельской. Скажи — Панов просил.

— Зачем! Мы с завода принесем.

Через пять минут тот же голос крикнул из-за ограды:

— Вояки ижорские, принимай!

В сад полетел тяжелый клубок отличного шпагата. Красногвардейцы разрезали клубок на куски и расселись по скамейкам. И когда винтовки были по правилу составлены в козлы, Панов разговорился с Черневичем о новом начальнике завода Гусаковском.

— Так что, как по пятому году?

— Чего по пятому году?

— Да ты говорил, товарищ Панов, христосоваться полезет.

— Во-во, в пятом годе христосоваться с народом лезли и офицеры, и купцы, большие купцы. Едет купец на своем рысаке. А тут народ с фабрики идет. Купец тянет кучера за кушак. Слез с пролетки и ну христосоваться. Такой чмок пошел! А как пятый год прошел, ничего, взяли нас опять за шкирку.

— Народ теперь не тот, что в пятом, — сказал Черневич.

— Какой ни-на-есть народ, без этого пропадет. — И Панов снова показал на ружья, теперь уже стоявшие правильно, по уставу.

— Где орден твой, товарищ Черневич? — вдруг спросил Панов.

— Какой? — удивился Черневич.

— Какой! Что царь пожаловал.

(...Стояли под львовскими знаменами на площади возле костела. Выбрали самых статных и высоких. Выдали новые шинели и новые пояса, фуражку велели надеть лихо — на самые брови. Ждали в строю два часа. Плохо держали застуженные ноги. Кто-то упал — вынесли. На далекой улице послышался оркестр, потом оркестр — ближе, еще оркестр на соседней улице, и марш на самой площади. Адъютант нес за царем дамскую корзиночку. В корзиночке позвякивали кресты. Царь накалывал крест солдату на грудь и, не глядя в лицо, шел дальше. Потом он устал, и кресты стал накалывать великий князь, а после него — командующий фронтом.)

— Крест? Да как к вам приписался, стыдно мне с ним. Дома в шкатулке лежит.

— Все-таки ты носи его покуда, товарищ Черневич.

— Зачем? — не понимал Черневич. — Ведь против войны идем.

— Затем и носи покуда, что мы против войны. Разная сволочь вопит — дескать, „оттого вы против войны, что шкуру бережете". И Белецкий разводит это, и Боярский, поп. А мы предъявим — у самих боевые кавалеры имеются. Свою шкуру не жалели, а требуем кончать войну и заставим

кончать. Если дойдет, знаешь, до потасовки, то в первый ряд тебя поставим — и с орденом обязательно. Пусть на той сторонке соображают.

И молодой унтер-офицер Черневич стал ходить на занятия с георгиевским крестом на груди. Он удивленно замечал, что когда он с орденом на груди, то ученье проходит лучше, народ подтягивается. Сказал об этом Панову. Панов усмехнулся:

— Видишь, не потерял еще, значит, силу. Как поставим на войне точку, тогда хоть бросай крест, хоть пропивай его.

Учил Черневич красногвардейцев строю — походному, боевому, учил рассыпаться цепью, укрываться за деревом, за бугром земли, учил ружейным приемам, штыковому бою.

В саду, что при зимнем театре, вдруг раздавалось нестройное „ура", и по дорожкам, по талому снегу бежали люди в полушубках, в ватных пиджаках, в черных пальто, в картузах, в кепках, а один даже в шляпе. Однажды так увлеклись штыковым боем, что вонзили штыки в деревянную стену зимнего театра. Снаружи прохожие слышали очень спокойный, негромкий, но твердый голос Черневича:

— Рамка четыреста... Рамка четыреста... Готовьсь!

Если мимо ограды шли офицеры в Морское собрание, то это место проходили в полном молчании.

Сначала красногвардейцев был один только взвод — двадцать, тридцать человек. Но скоро набралось до семидесяти. Приезжал из Царского Села прапорщик-большевик. Очень хвалил Черневича, но сказал, что одного строевого командира теперь будет мало. Вторым командиром или, как тогда говорили, обучающим назначили Аралова. Был это высокий, жилистый человек. Он-то и ходил в шляпе. Аралов говорил о себе:

— По земле я — эсер, по Красной гвардии — большевик.

На это Панов ему отвечал:

— Ничего, когда и на земле умней станешь, Леня.

Черневич был очень спокоен, Аралов — очень горяч. Аралов был слышен и в саду, и на улице, и в том месте, где прежде стояли мордачи, и даже у собора.

— Аралов орала и есть, — говорили про него красногвардейцы.

— Как штык, как штык держишь! — кричал Аралов. — А мушка? Куда мушка смотрит? Мушка — это компас!

Когда Аралов очень волновался, он становился бестолков. Снимал шляпу, хлопал ею по коленке, а если стоял на трибуне, то и — по трибуне.

— Замолотил орало! — говорили в толпе.

Слово — и хлоп шляпой по рейке. Спорил ли с большевиками насчет земельной программы (знал ее очень смутно, больше со слов Белецкого), спорил ли со своими эсерами насчет Красной гвардии, насчет мира (в этом он также скоро стал большевиком) — выходило все так же: слово — и хлоп шляпой. Он жаловался Панову:

— Все зараз хочу сказать. В словах недочет — за шляпу берусь, — и конфузливо показывал обтрепанную, обколоченную шляпу.

15. ПИСАЛ НЕ ТОТ, КТО ПОДПИСЫВАЛ

Вечером в комитет запыхаясь прибежал Вавилов.

— Тимофей Никитич, ты знаешь? Вот, содрал со столба, — и протянул Панову афишку. — Нам ничего не сказали, а прямо на столб.

Панов прочел.

— Коготки выпускает белесый, — пробормотал он.

— Какой же он белесый! Тимский-то белесый?

— Не в нем суть. Что Тимский! Стоит за стеклом. Напялят на деревяжку пиджак, манишку, фрак, а хозяин в магазине сидит, не виден. Так вот и Тимский. А хозяин будет белесый, Белецкий, студент. Резал бы там труп в покойницкой. А то живых хочет резать.

Как он в эту минуту ненавидел Белецкого! Белесый, бесцветный, весь какой-то мягкий, невзрачный, хотя и не маленький. Говорит — пришептывал и через каждые два слова—„понимаете меня, товарищ?“ Что ему тут надо, в посаде? Жил бы в столице. Ну-да! Там у эсеров покрупнее есть люди, а здесь он эсерам голова, самый ученый, самый умный. Зимой у большевиков сыграть не удалось, хоть и возил прокламацию Циммервальда. Теперь у эсеров играет.

Тимский один до этого не додумался бы. Побоялся бы. Тимский стал начальником милиции. Хоть и он не в заводе теперь, а понимает, что за такие слова могут и шишек наставить. Белецкий подбил, не иначе. И вот она, эта бумажка, на которой крупными, неровными буквами напечатано:

„... в виду воцарившегося полного спокойствия и абсолютного торжества новой демократической власти...“

(Нет, Тимский так не напишет, таких слов не подберет.)

„... свободные граждане могут быть вполне уверены, что правопорядок непоколебим и ничто не угрожает достоинству, достоянию и безопасности гражданина свободной России. Организована милиция, охрана поселка в надежных руках...“

(Организована...А „чины милицейские“ боятся и стоять возле Балкан.)

„... в силу всех этих причин и соображений не является более необходимым оставлять в руках частных лиц оружие, захваченное у представителей низвергнутой власти в первые дни после революции. Нахождение этого оружия в руках частных лиц ведет исключительно к нежелательным эксцессам и столкновениям...“

(Первые дни кое-кто из ребят действительно палил без дела, но только в воздух. Разве-то кошку на трубе подшибли, а *он* и кошку к столкновениям присчитал.)

„Граждане обязаны сдать оружие. Оружие необходимо на фронте для нашей храброй армии, отстаивающей дело международной демократии. Назначаю следующие сроки для сдачи...“

— Андрей, — говорит Панов Вавилову. — Одна нога здесь, другая там. Зови, кого найдешь: Пронина, Веселова, Вересова...

Андрей, знаменитый быстрыми своими ногами и свистом, побежал по улицам поселка. Через полчаса состоялось короткое совещание. Пришел Пронин, пришел Вересов, вечно молчаливый помощник Панова, Егоров, высокий, полный, благодушный, отменно вежливый человек, старый рабочий Герасимов, прозванный за аккуратность „хозяином“, Черневич. Черневич пришел с орденом на груди. Вызов был спешный. Может быть, это и есть случай, о котором давеча говорил Панов. Может быть, и придется

сегодня Черневичу итти в первом ряду, и со стороны должны видеть, что он боевой фронтовик.

— Заседание без протокола, — внушительно предупредил Панов.

— При „новой демократической", — подмигнул Пронин, показав на бумажку.

Пронин читал бумажку, прищурившись, почесывая пальцем переносицу.

— Я так понимаю, — неожиданно сказал он, — что студент и дурак и хитер.

— В чем дурак? В чем хитер?

— Дурак он в том, что вздумал, „понимаете вы меня, товарищ?" — с такой точностью показал Белецкого, что невозможно было не улыбнуться,—дурак он в том, что горячее железо руками хватает. Не дает ребятам остыть. Ему бы подождать, а он теперь. А ребята не остыли. Хитер он в том, что о нас, о Красной гвардии, ни слова. Хотя это для него и главное.

— Да ум-то в чем?

— Вот в чем. Найдутся, которые трусы или сволочь. Снесут оружие. Подождет. Попугает, если найдет, чем. А потом станет говорить: все сдали, а Красная гвардия—нет. Тем, которые сдали, разной сволочи, обидно будет. Вместе с ним будут травить нас.

— Силы у него нет. Понтонный батальон с ним не пойдет. Разве гвардию из Царского позовет...

— Гвардия в Царском покуда тихая. Знает, что злы на нее.

(В середине марта в столице и Колпине ходили слухи, что царь якшается с гвардией, охраняющей дворец. Говорили, что готовится побег. Говорили, что гвардейцы пьют за царское здоровье и кричат „ура". Из Петроградского Совета ездили проверять. Панов с красногвардейцами также ходили проверять. Стояли у ограды Александровского дворца, смотрели, как царь лепит снежную бабу и сгребает снег. Вернувшись в Колпино, доложили на митинге, что царь не сбежал. Но толсторожие гвардейцы в щегольских шинелях не понравились Панову. Черневич по-военному приветствовал гвардейский караул, а они не ответили, смотрели хмуро.)

— Силы у Белецкого никакой. С милицейскими чинами на нас не полезет.

— А если потом у него сила будет?

— Расписать винтовки и патроны по людям, — предложил Черневич.— В случае чего предупредить, чтобы разобрали и прятали.

— Дело, — одобрил Панов.

— Собрать долго?

— Исправный солдат в пять минут соберет.

— Ты, товарищ Черневич, займись с ребятами разбором. Поучи. Должно быть, пригодится.

Просил слова Егоров. Он благодушно потирал руки и хитро улыбался:

— Можно и вовсе без шума обойтиться!

— Как это?

— Отдать пару завалященских. Пяток, которые не жалко. Наган порченный... Сказать, что все сдали и больше нету.

— Пример показать хочешь?—рассердился Панов.—Отдай завалященские — а там все из поселка понесут, раз Красная гвардия первая покорилась. К нам еще многие придут. Со своим оружием.

— Ну, уж тут и с проектом не лезь! На крик от тебя напорешься,— обиделся Егоров.

— Лезь, да подумай. На чем же решаем?

— Расписать, как говорил Черневич. Расписать и чтобы каждый отвечал. За последний патрон чтоб отвечали.

— Белецкому не отвечать. Будто и не знаем.

На другой день в комитет на Царскосельской улице пришел милиционер. Он приложил руку к козырьку и сказал Панову:

— Начальник милиции просит вас притти, товарищ Панов, для переговоров о сдаче оружия.

— Скажи начальнику милиции, — ответил Панов, — что рад бы притти, да времени нету.

Ответил он так просто, что милиционер поклонился, повернулся на каблуках и молча пошел к двери. У двери он опять обернулся и сказал, побагровев:

— Начальник милиции велел передать, что если вам некогда, товарищ Панов, он сам придет.

— Чего ж, у нас вход открыт...

— И выход открыт,—добавил Пронин...

Должно быть, Тимскому было точно передано все до последнего слова. Он в комитете не появился. Разговор об оружии он предпочел вести на улице.

Разговор состоялся ночью. Панов шел домой вместе с Огурцовым. Когда они повернули на полукруглый канал, к ним подошел Тимский. Поздоровался.

— Что ты тут так поздно делаешь, Петр?

— От фонаря закуривал, — засмеялся Петр.

— Фонарей-то у тебя, начальник милиции, правду сказать, маловато, — заметил Огурцов.

Желтые фонари слабо светили в заречьи да у пожарного сарая, то мелькнут, то пропадут в мартовской тьме.

— Толстосумы поскупились, — отвечал Тимский.

— Ты, начальник милиции, положи каждому по десятку фонарей поставить. Ничего, не слиняют.

— Просто это там все в комитете решаете, — опять засмеялся Тимский.

Замолчали. Все трое знали, о чем сейчас пойдет важный разговор.

— Ну, так как твои доблестные дела, Тимофей Никитич?

— Доблестные нынче у тебя, Петр.

— Какие же у меня доблестные! Как был Тимский, так и остался Тимский. Петр и есть Петр. По одежде,—ткул пальцем в потасканный зимний пиджак с мерлушкой,— и по нутру.

— А ты сразу мундир захотел? Рысачью пару, как у Дунаева? Ты и без того райскую дверь охраняешь, Петр, то-есть в поддувало, — Панов показал на кобуру, неловко пристегнутую к пиджаку с мерлушкой.

— Это мне по должности.

— По должности, — согласился Панов. — Ты у нас теперь начальство. Заместо Дунаева поставлен.

Второе напоминание о Дунаеве очень не понравилось Тимскому. Дунаев был колпинский пристав, ненавистный всему посаду. На второй же день революции Дунаева рубанули шашкой по руке, и он умер от заражения крови.

— Что ты все о Дунаеве, Тимофей Никитич! Я народом выбран. Народом. В поддувале у меня только воры сидят.

— Какие воры?

— Обыкновенные. Что к тебе в карман лезут.

— Ко мне многие в карман лезут. Вот Протасов с Хабаровым лезут.

Хабаров и Протасов — колпинские толстосумы, гласные думы.

— Сахар они припрятали. Так сидят у тебя в поддувале? Ты бы посадил их, Петр. А то как бы народ чего похуже с ними не сотворил. Загодя сажай. А ты даже на фонари с них не берешь.

Разговор о постороннем уже нельзя было продолжать.

— Спать пора, — зевнул Панов и двинулся итти дальше к мосту.

— Погоди, Тимофей Никитич. Я вот что хотел сказать. Анархия выходит.

— С чем это анархия?

— С оружием. К нам несут, возвращают. А от вас ни звука.

— И не будет тебе звука, — рассердился Панов. — Никакого звука. Ты что задумал?

— Частные лица... — начал Тимский.

— У нас не частные лица. У нас Красная гвардия. Организация, если не знаешь.

— А к какому министерству приписана ваша организация? — заикаясь, спросил Тимский.

— Дур-рак! — зло и с расстановкой сказал Панов. — Хоть и начальник, а дурак. Это бы интеллигентишке сбрехнуть, а не тебе, рабочему.

— Оружие полагается только органам демократической власти, — бестолково продолжал Тимский. — Иначе — анархия.

— Брось, Петрушка, не срамись. У Протасова с Хабаровым спекулянтский сахар отобрать боишься, а к нам за оружием лезешь. Пошли, Миша. Завтра дел не переделать.

Тимский догнал их у моста.

— Послушай, Тимофей Никитич. Ты — злое слово, я — злое слово. Так не столкуемся.

— Не столкуемся, покуда у тебя слова чужие. Ведь не сам ты бумажку писал. Чья рука? Чья голова? Ну, кто писал? Давай по-честному. Кто?

— Станиславыч,—тихо ответил Тимский и сразу закричал,—евоной голове верю. Или не страдал он? Давно мог быть доктором.

— Хоть бы и был. Не мешал бы нам теперь.

— Давно! По трешке за больного — вот и капитал, а не хочет. Ученье два раза бросал. Писал он, а думали вместе. Послушай, Тимофей Никитич, я насчет министерства, конечно, злое слово подпустил.

— Дурацкое...

— Ругай, как хочешь. Давайте так. Обучаться обучайтесь. Я для обученья винтовки оставлю, которые старенькие. Остальные отдайте. Вот тебе слово. Никуда они из Колпина не уйдут. А если что, скажем, реакция зашевелится, Гучков там, генералы, назад получите. Вот так давай!

— У нас сохранней будут. Гучков зашевелится—и Тимскому по шапке. От кого мы спрашивать будем?

— Ведь я для вас, — ужасно заторопился Тимский, — чтоб разговоров не было.

— Чьих ты разговоров боишься? Протасовских? Хабаровских? Плюнь, Петр. Ведь насчет реакции тебе тоже Станиславыч придумал.

— Нет. Я сам.

— Сам так сам. А только плохо придумал. И насчет разговоров плохо. Эх, Петр, даже своих людей не знаешь.

— Как это не знаю?

— Да ведь в Красной гвардии, у нас в отряде, тоже есть эсеры, твои товарищи. Поди попроси у них назад оружие. У того же Аралова. Он тебе отдаст?

— Дорожил я вам,—рассердился Тимский.—Думал, чтобы не говорили. А то кто не сдал? Знаешь? Вы и Балканы.

Балканы — подозрительное место в посаде, мимо которого опасно проходить.

— Заодно с Балканами идете. Знаешь, как поется:

На Балканах лес и горы—
Все девчонки... все мальчишки—воры.

— Честью вашей дорожил,—кричал Тимский,—А теперь баста! Пусть про вас говорят.

— А знаешь, балканские на-днях твоих милицейских лупцовали. Спасибо скажи Огурцову да Черневскому, да ребятам из отряда. Подоспели, а то бы твоих под лед пустили. За фонарями смотри, Петр. Мало у тебя керосину льют. Должно, воруют. Воду льют. А керосин Протасову носят. Видишь, никак все и погасли.

В заречьи в последний раз мигнул фонарь — и посад погрузился в полную тьму.

16. БЛИНОВ КАЕТСЯ В ГРЕХАХ

С разных концов завода доносился шум, которого не было слышно вот уже больше месяца. Загрохотало на рудном дворе—пошли тележки к мартенам. Где-то поблизости зафырчали моторы — проверяют недоделанные „Остины", которые не успели при царе уйти за ворота. Свистнул паровоз, лязгнули буфера—через финляндские ворота пошли на Николаевскую дорогу вагоны со шрапнельными стаканами. Затрясся пол—вступили в работу паровые молота. Если подойдешь поближе к трубному корпусу, услышишь еще громкий шип, будто приползли в это место огромные змеи. Это выползают трубы, могучие и тонкие, раскаленные докрасна, пышущие жаром.

Все, как было месяц назад. Везут опоки к мартенам. И землекопы ведут у печей длинную канаву. В механической требуют шорника — „наладь ремень!" В околотке фельдшер ждет первого пострадавшего от работы. Стены и мебель окрашены заново масляной краской, фельдшер одет в белоснежный халат. Насчет краски и насчет чистого халата лично распорядился Гусаковский.

Все—как было... Но человек пятьдесят в заводе слишком уж часто стараются глядеть рабочим прямо в глаза и слишком часто шутят. А шутить не умеют, потому что раньше не шутили—в один день не научишься. В одном они поступают одинаково. В конторке разложили перед собой личные карточки и разучили имя и отчество своих рабочих. Но шутят все-таки неловко.

— Ну, что, Анисим Иваныч, за месяц отдохнули?

— Хорош отдых!—отвечает Анисим Иваныч.—Без хлеба сидели.

Анисиму Иванычу очень хотелось бы послать шутника к чортовой матери. Но шутник смешон и жалок. Анисим Иваныч только сдержанно ухмыляется. И эта чуть заметная ухмылка беспокоит шутника.

— Зато теперь содержание за весь месяц получите, Анисим Иваныч... Как станок, Алексей Петрович? Не болтает?

— Весь расходился.

— Проверим ночью. Ишь ты, расходился, хоть и отдыхал.

Когда смена окончила на обед, в заводский комитет прибежали сообщить:

— Сигова на тачке повезли. Как бы не утопили!

Побежали в ту сторону, откуда доносились громкие голоса. Сигов, который месяц назад вздумал остановить саблей весь цех, ехал теперь в тачке по двору. Везли его быстро, голова тряслась из стороны в сторону, будто Сигов кланялся на прощанье заводу и людям. Военная фуражка сползла на затылок, а потом и вовсе упала. Откуда-то взялся гармонист. Он во весь дух поспевал за тачкой и наигрывал на-ходу: „Куда тебя черти носили?“

Топить Сигова не собирались. Тачку остановили за воротами, у того дерева, от которого новый начальник завода Гусаковский отломил сук для красного флага. Остановили с разбега, и Сигов вывалился на землю. Поднялся и стал растерянно отряхиваться. Кто-то подал ему фуражку, упавшую во дворе.

— Сп-п-п-аси-бо, т-товарищ...

Сигов заикался еще больше, чем всегда. Забыв надеть фуражку, пошел домой.

А рыжий мастер Блинов, яростный помощник Сигова, прятался в укромных углах цеха. Одного хотел — выиграть время. Авось остынут после Сигова. Сидел, согнувшись, за огромным ларем, в который сбрасывали негодные инструменты, мелко крестился и шептал:

— Только бы сегодня пронесло. Завтра все как-нибудь...

Чуть приподнялся над ларем. Пусто в цеху. Может, и уйти сейчас удастся? Ноги не шли. Вдруг они там на дворе митингуют? В самое пекло угодить? Вспомнил — месяц назад обходил цех, когда завод стоял. Где-то тут копошился один на весь цех. Посмеялся тогда над штрейхом, а у штрейха даже уши от страха ходили. Так штрейх что! Много-много — по шее накостыляют. „А мне? Боже мой... Нет, не простят. Сбегу. В город поеду. Только бы сегодня пронесло. Придут сейчас с обеда. Неужто до ночи сидеть? Хватятся, искать будут. Лучше самому объявиться“.

И Блинов вылез из убежища.

Когда вернулись с обеда, Блинова будто и не заметили. Он ободрился. Что Сигов! Сигов — офицер, погоны носит, шашкой замахнулся. И Блинов ходил по пролетам, пытался шутить. А когда смена подошла к концу, вдруг понял, что не шутить надо было, а бежать без оглядки.

— Блинов, теперь твой черед. Держи ответ. Что с ним делать, ребята? Тачку? Да что, мы рысаки, что ли? Иди сюда, Блинов.

Его поволокли в другой конец цеха. Не упирался. У стены стоял огромный бак с машинным маслом.

— Лезь, Блинов, в купель. Очищайся от грехов.

— На евоные грехи такой купели мало. Ему в нобелевский бак. Разве там очистится. Да не в масле, а в чистом спирту.

Блинов перекрестился и шагнул к баку.

— Стой! Одежу сними. Одежа не виновата. Подлости на тебе растут, а не на одеже.

Блинов быстро скинул сапоги, одежду и голый, с серебряным крестом на шее, полез в бак.

— Во святой Иордани...—запел кто-то.

Церковную службу на казенном заводе знали хорошо.

Тепловатое масло доходило Блинову до шеи. Ногами он чувствовал дно, но барахтался, чтоб рассмешить или разжалобить людей.

— А ты мыряй!—крикнул очутившийся в цеху сезонник.—Мыряй с головой! Мы мельника нашего однова у плотины купали за обвес, — разъяснял он окружающим.

— Нырни, Блинов.

Блинов был готов и на это. Согнул колени и на мгновение погрузил голову в масло, не забыв закрыть нос и уши. Поднял голову и, как бы справляясь, посмотрел — довольно ли будет? С рыжих усов стекало тяжелое масло.

— Чисто тюлень. Гладкий, и усы торчат. Тюлень ученый. Его бы в цирк Дурову.

— А то сам людей на веревке тянул.

— Мыряй! — кричал сезонник. — Еще мыряй!

Блинов опять погрузил голову в масло.

— Хватит! Распотешились! Поучили малость. А такому, как был, и жить не надо.

— Маслом не учат. Вылазь, Блинов.

Подоспели из заводского комитета.

Кто-то принес Блинову сухой пакли обтереться.

— С маслом что делать? Нельзя его теперь в дело пустить.

— Это почему?

— А в нем блиновская подлость осталась. Заест ею станки.

Одеваясь, Блинов кланялся и говорил:

— Спасибо, ребята, что поучили. Без этого весь век слепой прожил бы.

— Ты не ластись. Не кощонок. Знал, что делал. На все глаза были открыты.

— Глаза начальство застило, — уверял Блинов.

— Вали на покойника.

Понял Блинов, что зря сказал насчет начальства. Все испортил. Так, может, и обошлось бы.

В соседней мастерской чинили в это время допрос мастеру Шевчуку. Вины на нем было меньше, чем на Блинове, да и отвечать мог лучше, веселей.

— Литки ведь брал? У каждого брал?

— Брал, — соглашается Шевчук. — Было...

— Почему было? Совесть на гвоздок повесил? Чтоб отдохнула?

— Почему брал? Думал — мир не на трех, а на четырех китах стоит. Три кита—обыкновенные, четвертый—литки. Кто не брал в заводе литков? Найди такого мастера.

— Андреев не брал. Мы его уважаем.

Но Андреев был один такой мастер во всем заводе.

— Дурость моя. Плюнуть при царе на литки, и меня бы вы уважали. Только литки за мной и водились.

— Теперь живи без уважения.

Шевчук шумно вздыхал.

— Хайкевича зачем дразнил? Других дразнить подговаривал. Свиное ухо показывал.

Хайкевич был единственный в цеху еврей-рабочий. Евреев на завод не

пускали. Для Хайкевича сделали исключение — тяжелая рана на фронте, две георгиевские медали.

— Хайкевича? Только раз и было. После литков получилось в башке. Я не против евреев. У меня, если хотите знать, брат у евреев служит. Артельщик. Как артельщик говорит — лучше нет, чем с евреями работать.

— Говори! Говори! Не быть тебе больше в мастерах.

Решили перевести на станок. Шевчук также кланялся и благодарил за ученье.

17. ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ СПИСАННЫХ С ИЖОРКИ

Многие думали, что на этом и обойдется. Кого — вон с позором, кого — поучили, чтоб вперед знал, но оставили на заводе. И все забудется. Даже в заводском комитете так думали. Даже три большевика, избранные в заводской комитет, не подавали голоса. Похоже было, что и они так думают. По этой причине Панов поторопился вызвать их в комитет.

— Давай расскажи, как вы там работаете, — предложил он трем товарищам.

— Помилуй, Тимофей, — удивились те, — только неделя прошла, а ты — давай отчет. Вы посылали, вы и доверяйте. А не то, чтобы за каждый день требовать к ответу.

— За каждый день потребуем. Для того и посылаем. Если не нравится — освободи место.

К железному этому закону еще только начинали привыкать.

— Известно тебе, что делается. Кого мы списали...

— Не вы списали! Гнали снизу, а вы прибегали, когда дело до Ижорки доходило или до бака с маслом.

— С Удачиным разве сговоришь? — жаловались делегаты.

Удачин был председатель заводского комитета, эсер, человек нерешительный, болезненный, скучный.

— Что ж, мы вам нового изобретем? У эсеров в организации триста человек, у нас покуда пятьдесят. Покуда эсеры изобретают. Другого поставить не можем. А надо и при Удачине своего добиваться.

— Как гнуть?

— Вот и гнуть, а не обухом. И не говорить ко взаимному удовольствию то же. Пять человек выгнали — и баста? Больше сволочи нет? Тут двести лет сволочь подбирали, как хороший помещик — свору. Народ видит эту сволочь — кто умом, а кто нутром. Эсеры филькиными речами народ разболтают. Такое начинается... Тогда и не только сволочь пострадать может.

Тимофей говорил, словно знал заранее, что будет. На другой же день в мартеновской едва не бросили в печь инженера Дудника. Дудника давно ненавидели. Но в тот же день неизвестные хулиганы тяжело оскорбили другого инженера, которого уж никак нельзя было отнести к „сволочи".

Еще через день толпа нашла сахар, спрятанный в подвале у Протасова. Протасова били. Ему повесили на шею карточный лист: „Я — спекулянт и мародер" и так водили по улице. Его заставляли кричать: „Я спрятал сто пудов сахару!" Довели до Горбатого моста и хотели сбросить в черную полынью. И отбивать Протасова пришлось красногвардейцам-большевикам. Из толпы кричали:

— Чего же вы? На попятный? Про капиталистов голосите. А как до живого капиталиста добрались — шкуру евоную спасаете!

— Судить! Судить его будем!

— Уйдет от суда! Не давай!

Пришлось тут же, возле Горбатого моста, устроить народный суд. Протасова приговорили к вечному изгнанию из Колпина. Ночью его отвезли в Царское Село. Красногвардейцы ссадили его у Египетских ворот.

— Дальше сам пойдешь, куда знаешь. Хватит, навозились с живодером.

Лавочник приподнял картуз и заковылял дальше, держа в руках ковровый чемоданчик с бельем и едой, который принесла ему на место судилища жена.

Когда судилище кончилось, Панов видел, как к Горбатому мосту поскакал верхом Петр Тимский. Сидел он на лошади криво, только-только держался.

— Куда летишь, кавалерия? — крикнул ему Панов. — Там разобрались, начальник.

— А вот я уж и не начальник, — растерянно ответил Тимский. — С завтрашнего дня. Приезжает на мое место...

— Кто приезжает?

Тимский чего-то крикнул, Панов не расслышал.

После всех этих событий три большевика из заводского комитета и близкие им люди ходили по цехам. Расспрашивали людей, записывали чьи-то имена. Потом они стали „гнуть" Удачина. Удачин не сразу сдался. Он болезненно морщился:

— Ведь самоуправство. Буржуазные газеты ославят на всю страну.

— Какое же самоуправство! — „гнули" Удачина. — Двенадцать тысяч человек требуют.

И Удачин подписал, все также болезненно морщась. Список понесли к новому начальнику завода Гусаковскому. Гусаковский просмотрел список. Понял, что на этот раз возражать не приходится. Вызвал канцеляриста и велел ему поскорее вывесить приказ об увольнении тридцати пяти мастеров и офицеров, которых не согласны были впредь видеть у себя в заводе ижорцы. В этом списке были знакомые Гусаковскому люди. Одно имя было такое, что невольно поднялась правая рука. Но Гусаковский опомнился и погладил короткие густые усы. Нет, не самое это имя... И не самый этот человек, а его жена. Милая женщина, хотя и довольно податливая. Все же она скрасила ему первый год жизни в этом грязном посаде. Правда, это давно забыто и той и другой стороной. Однако, надо быть признательным. Но ничего нельзя сделать. Вокруг стола выжидающе стоят *эти* люди, собрался весь заводской комитет. Не следует даже вздохнуть. Гусаковский написал в верхнем углу листа „согласен".

— Так вы это сделайте... сегодня же, — говорит Гусаковский канцеляристу.

Канцелярист вышел, ушел и заводской комитет.

Может быть, выдать этим тридцати пяти из особых сумм, хотя бы офицерам? Нет, и это не выйдет. Комитет не утвердит. Одно только и мог сделать Гусаковский: в формулярах было отмечено, что каждый из тридцати пяти увольняется по собственному желанию.

18. ДВЕ ВСТРЕЧИ

Шли со станции нагруженные вещами. Молодая миловидная женщина несла ребенка. Ребенок был в аккуратной шубке. Он спокойно спал всю дорогу. Его нимало не беспокоили ни рытвины, которые мать старательно

обходила, ни скрипучие доски. Отец ребенка так же не был стар, пожалуй, только начинал приближаться к средним годам. Но глубоко сидевшие очки, очень серьезные глаза и повадка молчаливого человека делали его старше, чем он был. Это шли со станции в комитет на Царскосельскую муж и жена Нимвицкие.

— Узнаешь, Борис? — спросил Панов.

— Чего ж узнавать! — ответил Нимвицкий. — Все как было. Даже гвоздя нового в тротуар не вбили.

Полгода назад монтер Нимвицкий был арестован в Колпине. Его скоро выпустили. Но в Колпине показаться нельзя было. Он работал в столице и держал связь с Колпиным. Устраивал Пронина на работу, выводил химическим составом злосчастную пятерку с паспорта Пронина — знак, который отнимал у Пронина и жизнь, и хлеб, и давал ночлег тем, кто скрывался, и доставал для Колпина листовки из подпольного петроградского комитета. Теперь Нимвицкий возвращался в Колпино на постоянную политическую работу.

Товарищи встретили на станции. Помогли донести вещи и устроиться. „Хозяин“ (иначе — Герасимов) нес колясочку. Панов — корзину с одеждой и с бельем. Пронин — тюк с книгами. В тюке был „Капитал“, переплетенный домашним способом, подчеркнутый во многих местах, с пометками, нанесенными в разных городах ссылки и эмиграции, и „Жизнь народов“ Элизе Реклю, „Развитие капитализма в России“, и Пушкин в дешевом издании (на обложке Руслан на вздыбленном коне возле мертвой головы) и „Без семьи“ Гектора Мало — книга, очень любимая Александрой Николаевной Нимвицкой. „Дедка“ нес провизионный мешок, из которого торчали бутылка с молоком и банка с овсянкой — ребенок скоро проснется, и ему надо будет сварить завтрак. Прасковья Григорьевна Панова несла детскую ванну, Вересов — тюк с одеялами и подушками. Вавилов нес две кастрюли и керосинку. Он хмурился... Хмурился не из-за керосинки и кастрюлей. Казалось ему, что больно уж тут неуютно в посаде для этой молодой, красивой, образованной женщины. Косые заборы, кривые дома, доски под ногами шатаются. Через каждые два шага он говорил, как бы прося извинить его:

— Грязно тут... Грязно у нас.

Александра Николаевна только улыбалась. Не тяжело ли ей нести ребенка? Кастрюли и керосинка — разве вес! На одном пальце донесет. Может, взять и ребенка? Нет, спасибо, нисколько не тяжело. Улыбка слегка успокоила Вавилова.

Когда уходили со станции, на перроне играл духовой оркестр пожарной команды. Вавилов оглянулся и хмуро сказал:

— Не для нас музыка-то.

— Для кого бы это? — задумался на ходу Панов. — Встречают, что ли?

Белецкий пробежал мимо на кривоватых ногах и махнул фуражкой.

— Тимофей Никитич, — крикнул Белецкий, — приветственное слово не скажете? Хорошо бы.

— Кому это? — удивился Панов.

— Как же! Петерсону, нашему ветерану. Вернулся. Работать здесь будет. Начальником милиции.

— Вы лучше меня скажете, товарищ Белецкий.

— Да я скажу... от нас. А вы — от вас.

— Зачем же от нас?

— Уважаемый же человек, всеми уважаемый.

Панов вспомнил отрывочные слова, которые ему бросил Тимский, скача на лошади к Горбатому мосту.

— Петерсон, народоволец.

— Да я его не знаю.

— Эх вы! А еще старый ижорец! — И Белецкий побежал дальше.

Оркестр заиграл „Смело, товарищи, в ногу". На платформу вынесли ящик. На ящик поднялся старик, седой, красивый человек. Старик поднял руку и начал говорить. Нимвицкий и товарищи ушли со станции. По дороге их обогнала лакированная коляска. В коляске сидели Петерсон и Белецкий. Они о чем-то оживленно говорили. Увидев Панова, Белецкий что-то сказал Петерсону. Петерсон поглядел на Панова и осанисто снял фуражку. Панов ответил на поклон, но сразу же поинтересовался:

— Чьи это кони?

Кони были купеческие, сытые, резвые. Панов спросил у знакомого ему литейщика Чебакова, колпинского старожила, который им встретился на пути.

— Хабаровские кони, — подтвердил Чебаков. — И кучер хабаровский.

А уж Чебаков-то знал всех колпинских коней и все коляски. Сам когда-то был кучером.

— Снизошел, значит, Хабаров. Одолжил коляску для встречи. Что ж, белесый Петерсоном все колпинские классы объединять будет? Додумался.

— Опера, а не партия, — заметил Пронин.

Подошли к дому на Царскосельской. Нимвицкому отвели для жилья комнату при комитете. В комитете раздался пронзительный детский крик. Ребенок проснулся. Панова хлопотала возле керосинки. Ребенка накормили и снова уложили спать. Вещи расставили. Вавилов прибил гвоздь для умывальника. И когда все было улажено, Панов созвал первое совещание комитета с Нимвицким для того, чтобы осветить своему другу и учителю о положении дел в колпинский организации большевиков.

19. НЕ ТОТ ЯКУТ

Коляска остановилась на Адмиралтейской улице возле дома приветливого вида. Кучер выжидательно посмотрел на Белецкого — не будет ли на чай? На чай не получил и медленно отъехал от крыльца. Старик шутливо спросил Белецкого:

— Что же? Штаб-квартира?

— Наш комитет, — с гордым удовольствием ответил Белецкий.

— Ничего палаты отхватили. А это что? Боже ж мой!

Над крыльцом спускалось красное полотнище, и на полотнище буквами, видными издали, выведено: „В борьбе обретешь ты право свое".

— Обрели, значит? — обратился старик к Белецкому.

— Обрели, Алексей Николаевич.

— Долгонько обретали. Мы за это вон куда топали, — Петерсон махнул рукой в ту сторону, откуда доносились паровозные гудки, — а вы, молодежь, пришли на готовое. Спасибо хоть старикам скажите.

Петерсон шутливо потрепал Белецкого по плечу. Старик был много выше Белецкого и стоял прямее, чем он, молодой.

— Спасибо, конечно, спасибо. Только я, Алексей Николаевич, — заторопился Белецкий, — не пришел, знаете, на готовое. Тоже потопал. И ученье пришлось бросить.

— И вы баланды отведали?

— Баланды?

— Вот. Сразу видать, что дальше столичной тюрьмы не ходил человек. Сибирская тюремная похлебка. Крупинка за крупинкой гонится с дубинкой.

Вечером в том же доме Белецкий устроил чашку чая. Набралось полная зала. В комитете у эсеров в это время были записаны уже четыреста человек. Пришли рабочие. Пришел кое-кто из начальства. Старики-рабочие знали Петерсона и раньше. Рядом работали с ним в бронеотделочной еще в прошлом веке. Ездили с ним тайком на чухонский берег.

— Якут, — восторженно говорил один из стариков. — Якут и есть.

Якутом Петерсона прозвали в мастерских после возвращения из якутской ссылки.

Старым знакомым „якута" хотелось пробиться к Петерсону, сесть с ним рядом, напомнить о себе. Но почетные места возле Петерсона были заняты совсем другими людьми. Сидел там полковник Онисимо-Яновский, иначе „Дунька", объявивший себя в эти дни эсером. Он привел жену. Явился настоятель собора Боярский. Пришла Прутковская, жена начальника цеха, рослая, говорливая женщина с испанским гребнем в волосах. А старички жались в конце стола. И было им ужасно обидно. Ведь с этим самым якутом возили на чухонский берег читать запрещенную московскую книжку „Хитрая механика. Правдивый рассказ — откуда и куда идут мужицкие денежки", возили и удочки и бутылки. А теперь вот и рядом не посадили.

— Александ Станиславыч, — позвал Белецкого один из старичков, — как бы это нам с якутом рядышком?

— С якутом? — удивился Белецкий. — С каким якутом?

Пришлось ему объяснять, что так прозвали Петерсона, — тому лет двадцать пять.

— Старые же знакомые...

— Ну, товарищи, пересаживать неудобно. Потом всласть наговоритесь, как старые знакомые. — И Белецкий побежал хлопотать.

А старичок конфузливо крякнул и стал усиленно вытирать платком лоб, желая показать, что неловкости никакой и не было, а просто чай очень горячий.

И сейчас еще легко было узнать того самого якута, хотя Петерсону шел шестьдесят седьмой год. Когда-то, в прошлом веке, назойливый человек пристально глядел на Петерсона весь долгий конец в конке, пошел за ним следом по улице и сел с ним вместе в другую конку.

— Я художник... Вы — редкая натура. Такая красивая голова. Не разрешите ли вас нарисовать?

Нет, он не мог тогда разрешить. Эту „натуру" разыскивали шпики, и нельзя было оставить рисунок у неизвестного человека. Петерсон был красив и теперь. Держался прямо во весь огромный рост. И грудь такая же богатырская, как в молодости. И плечи такие же. И широкий открытый лоб. Голубые глаза, правда, чуть выцвели от старости, а длинные, когда-то каштановые волосы сплошь серебрились.

Да, это был тот самый якут, который с кандалами на ногах мерял Владимирку, а потом — сибирский тракт до Олекмы. Тот самый Алексей Николаевич — и в двадцать лет ижорцы не звали Алешкой: очень уж был он внушителен — который почти полвека назад ходил на Васильевский остров к Обнорскому, слушал Кропоткина, следил за боями Парижской Коммуны, пел русскую марсельезу, а у марсельезы тогда были другие слова:

„Пришла пора народной славе". Тот самый Алексей Николаевич, который водил дружбу со столяром Степаном Халтуриным и вместе с ним строил „Северный союз русских рабочих".

Но что стряслось с якутом? Почему старый литейщик Чебаков, тот самый, что с точностью сообщил Панову, чьи кони везут Петерсона с вокзала, — почему он непонимающе смотрит на давнего приятеля? Смотрит и хмурится незаметно для себя. Почему Чебакову теперь, через много лет после тайных поездок на чухонский берег, смутно не нравятся речи якута?

Чебаков этого не знает, не знают и его соседи-старики, так же давние приятели якута. Не знает и сам якут. И никто в этом зале не знает.

Пять лет на Олекме... Кажется, в эти годы якут и пропустил важное время, не захотел понять или не понял. На далекой Олекме также слышали о молодом революционере, который, сидя в тюрьме в год коронации царя, писал листовки памяти Парижской Коммуны и замечательную книгу о капитализме в России. Учителя Петерсона говорили, что пролетариата в России нет, а молодой революционер видел из своей тюремной камеры десять миллионов пролетариев, которые и поведут за собой российскую революцию.

Если бы Степан Халтурин дожил до этих дней, он пошел бы по дороге, указанной молодым революционером. Петерсон дожил, но шел по старой дороге, и вот он сидит за одним юбилейным столом с полковником и попом.

Говорит распорядитель встречи Белецкий. Волнуясь, он становится слегка косноязычен и часто мигает белесыми ресницами:

— Я рад сообщить дорогому гостю, что наша партия во всей стране и здесь, в Колпине, растет не по дням, а по часам. Наша партия — наследница „Земли и воли", и мы, наследники, низко кланяемся дорогому учителю Алексею Николаевичу Петерсону, старому ижорцу, славному хранителю традиций „Земли и воли".

Оркестр пожарной команды грянул туш. Белецкий торопился. Ему хотелось сказать очень многое.

— Что такое „Земля и воля"? Что такое наша партия? Это проводники демократического процесса в обществе. Что такое история? Наш учитель Лавров говорил, что важны мысли знаменосца...

В зале становилось жарко. Прутковская вынула из сумочки веер и стала обмахиваться. Петерсон сочувственно ей улыбнулся. А Белецкий все говорил и говорил:

— В чем же основа прогресса, как не во взаимной солидарности и убежденности? Наш учитель Михайловский, мысли которого теперь можно излагать вслух, никого не боясь, говорил...

В зале начинался легкий шум. А Белецкий говорил еще про князя Нехлюдова из „Воскресенья".

— Землю можно дать только культурному человеку, потому что только культурный человек, солидарный с культурным соседом, может ею разумно распоряжаться. Я не во всем согласен с Толстым. Но Нехлюдов говорил правильно. Грабежи, произвол, от кого бы они ни исходили, никогда не помогали прогрессу. Помните, что Нехлюдов говорил крестьянам в саду?

Нехлюдова Белецкий поминал теперь в каждой своей речи.

— Я, товарищи, — поднялся Петерсон, — оратором никогда не был. Кто меня знал раньше, тот это знает.

Да, старички помнят, что якут всегда говорил мало, но очень веско. Теперь Петерсон разговорился.

— Пришла пора великой справедливости. Спасибо за поклон. Мы, старики, несли на своих плечах...

И слышат старички то, что он говорил в прошлом веке. Нет у него новых слов. Думать, что ли, перестал? Кабы это год назад говорил при царе... Нет, и год назад не ново было. Вот тогда на чухонском берегу это подходило.

Ведь тут на заводе такое поворачивается. Сыновья заправлять норовят. А война? А людей для чего убивают? А хлеб? А спекулянты? Когда говорил Белецкий, один из старичков не выдержал:

— Значит, землю мужику дадут, когда он по-французски, что ли, выучится?

Белецкий не ответил. А якут строго посмотрел в ту сторону, откуда донесся возглас. И зачем якут прослезился? Зачем у него руки дрожат? И слова какие-то непростые. На чухонском берегу проще говорил. Говорит про Сибирь и даже запел:

„Дин-дон, дин-дон, слышен звон кандальный..."

Так и не удалось в тот вечер говорить с Петерсоном. Якут устал, пожал им руки и ушел спать. А когда расходились, Чебаков задумчиво сказал на улице соседу:

— Не такой якут стал. Вроде и не наш теперь якут.

Может, это наперво только? С дороги. Оркестр. Речи. Голову закружили. Очухается потом. Очумел якут малость.

— Разве что так...

20. ЗЕМНОЙ ПОП

Он часто развивал свою любимую мысль:

— Коли в газетах о нас пишут или судят, пока ты не расстрига, то перед именем ставят маленькое „о" да точку. Скажем, про меня — отец Александр. А народ попросту поп да поп. Ученые утверждают, что слово это происходит от греческого παπας — папас. Похоже, что правда. А παπας, как помню я еще из семинарского словаря, означает „первые лепетанья дитяти, когда оно ласкается к отцу". Ласканье к нам у народа-дитяти прошло. Да и не теперь только, не после царя. Давно замечалось мною: идешь в рясе по улице, и народ тебе вслед такие лепетанья пошлет, что хоть в подворотню сворачивай. Отношения у нас с народом-дитятей установились сложные. И не только в России. Когда приходилось мне паствити в западном крае, епископ из католической епархии рассказывал про Испанию. Снаряжают там религиозные шествия от различных кварталов города. Каждому шествию желательно первым пройти к святому месту. И у каждого шествия своя богоматерь. Громко спорят при этом. Одни говорят: „Наша богоматерь старше вашей будет. Ее раньше писали". Хоть святое место и близко, как от нас, к примеру, завод, а кричат: „Какая-такая старше! Да ваша богоматерь — шлюха!" До кулаков доходит и до ножей, которые потамошнему зовутся навахи. Или у нас. С одной стороны почитают. В церковь ходят, за требы дарят. Дескать, ты человек почти небесный. Поговорка даже есть: „Верно, поп с гармонью!" Так понимай, что никогда в жизни веселого попа не встретишь. И вот, как верно, что не увидишь попа с гармоньей, так верно, что ты, друг любезный, врешь. Взять меня — сделай милость, неси двурядку, трехрядку, с немецким строем, с русским строем — все одно, и даже баян — сыграю. Неудовольствия имел по этой причине от

епархии. Я поп земной. Так вот, с одной стороны — кажущаяся небесность. С другой — мало ли сложено про нас обидных поговорок! По какой, однако, причине это происходит? По причине древней неподвижности церкви, по причине ее нераспорядительности в мирских делах. В католической церкви обстоит иначе. Бывает и так, что монастырь кооператив заводит, сепараторы, разделку свиных туш и продает это в городе. Крестьянин видит выгоду. Недаром патер с пастушьим посохом ходит. Опять же церковные больницы и даже родильные дома. В Привислинском крае на деньги князя Радзивилла родильный дом построен. А мысль князю подала церковь. К тому же мирянин желает, чтобы с попом и с богом сподручнее было, чтоб даже богоматерь за крепкие слова не обижалась. А церковь православная неподвижна. Даже добилась, чтоб за крепкие слова на волостном сходе пороли. Все это подлежит коренному изменению. Мирянин говорит о спекуляции — поп, вникай и говори первый. Мирянин о войне говорит — поп, вникай. Про восемь часов работы — опять вникай. Про социализм говорит — и тут, поп, вникай обязательно. Вспомни соответствующие положения из евангелий. Не токмо что следи за мыслью мирянина, но даже предупреждай ее своей мыслью. Иначе и церкви не устоять.

Так рассуждал настоятель колпинского собора отец Александр Боярский. Появился он в Колпине во время войны. Белорусс родом, он звался прежде Сегенюк. Сразу смекнул, что в чисто-русском приходе Сегенюком зваться будет непривычно. Поэтому после долгих хлопот в синоде появился отец Боярский. Был он крепкий, не очень высокий, но видный, с красивой окладистой бородой, спокойный. Внимательные, настороженные глаза, на лице добродушие, и воля, и хитрость. Очень скоро он оттеснил назад простоватых колпинских попов и стал настоятелем собора. В революцию первый из попов нацепил на рясу красный бант. Первый отслужил молебен во здравие новому правительству и с амвона громил пороки знати:

— При мне так не будет, что хилый, сластолюбивый старец приедет тайком из царской резиденции сочетаться браком с молодой, неопытной девицей. Это было покрывательство разврата божьим словом. Не допущу! Прокляну, не посмотрю — кто приехал. Ты от людей не таись. Ты у себя венчайся. А то несешь свой грех в церковь, где люди победней.

Это многим нравилось. А попы, которых Боярский вытеснил из собора, только головой качали: „ловок же белорусс". Белорусс ходил на все собрания и часто сам выступал. Был он ярый оборонец.

На митингах часто говорил о том, сколько Россия должна Франции и Англии в отдельности. Цифры знал наизусть

— Может, освободит кто от должишек? — хитро прищурился Боярский.— Ротшильд освободит? Не захочет. Или ваш брат тамошний рабочий? Ротшильду по шапке? Насчет отдельных неудовольствий с рабочими — не ручаюсь. Может, это и бывает там. А на бунт не надейтесь. Про бунт там не слышно.

Говорил он подчеркнуто по-народному. Одно — в церкви на амвоне. Там позволял себе библейские сравнения. Если говорил о „неистовствующих людях" (прямо называть большевиков считал неудобным), то поминал жену Лота.

На митингах пугал не соляным столбом, а умелым практиком-немцем, который норовит взять лучшее из жизни.

— Будет с вами, как с неграми, — пугал Боярский, — с вятичами, с сибиряками — все одно. А потому бейтесь, как бьются союзники.

С амвона про немца говорил — „дерзновенный и ненасытный враг", на собраниях — просто „немец".

Знакомым Боярский объяснял значение этого различия:

— По месту и речь. Прихожанам по сердцу исконный язык проповеди. Вокруг лепота — золото, роспись, свечи лампады. А на митингах — там проще требуется. Ближе к народу надо. Вот я замыслил... Заводской комитет, слыхать, становится управителем. В городскую думу также вошли рабочие. О совете и не говорю. И у нас в клире рабочие тоже будут. Добьюсь.

И добился. На двух людей Боярский обратил особое внимание. Рабочим из них был, правда, один. Другой служил конторщиком. Но обоих Боярский считал „заводскими людьми". Рабочего звали Павлов, конторщика — Анц. Оба — люди, любимые начальством. Павлова начальство ставило в пример как добропорядочного мастерового. Был у него аккуратный домишко с огородом, пчелы, корова и своя баня. Имелся также и золотой лист за выслугу лет. Много лет Павлов и Анц пели на клиросе неистовыми басами. В патриотические праздники пели на концертах. Обряжались в пиджаки с бумажной манишкой. От волнения ужасно потели, и манишка становилась серой. Наливаясь краской, дружно гремели кантату — „Славься, славься...", стараясь перекричать один другого. Павлов, кроме того, выводил: „Ты придешь, моя заря. Взгляну ль в лицо твое, заря..." Высокое начальство, посетившее завод, заметило про Павлова:

— Это даже не бас, а чистое бассо-профундо. Октава. Самородок.

Бывало „самородка" вызывали в Морское собрание, поили до бесчувствия и заставляли показывать голосом невозможные фокусы. Ставили стакан на стол близко от края. Павлов начинал гудеть. И пьяные офицеры таращили глаза на стакан, который медленно подвигался к краю. На самой оглушительной ноте стакан становился у самого края, застывал на мгновенье и, не в силах противиться сумасшедшему реву, падал и разбивался.

— Постой! — кричали Павлову. — Ты билиардный шар подвинь. Можешь его одним голосом — в лузу?

Павлов опять выпивал, ревел, склонившись над зеленым сукном, но шар подвинуть не удавалось.

Весной после революции Боярский позвал к себе Павлова и Анца:

— Хватит вам во славу бога задарма петь. Потрудились. Попами хотите стать?

Анц сразу согласился. А Павлов испугался:

— Засмеют, отец Александр. Проходу не будет.

— Кто и посмеется, — согласился Боярский, — недельку, другую. А потом забудут. Так и то смеялись, когда вы кантату орали.

Боярский прикидывал возможные доходы.

— Дом свой сдашь в аренду, — говорил он Павлову, — переедешь в дом при церкви.

— За него ничего не платить? — осторожно осведомился Павлов.

Павлов перенес дело на семейный совет. Высказывались разные соображения:

— Развод теперь, говорят, будет легче, чем было. Стало быть и венчаний будет больше. Это наперво. Второе — дома нынче в Колпине дорого ходят. Дрова при казенной квартире тоже дадут даром. Восемнадцать сажен в год. И керосину не покупать.

— Покуда я хлопотать о вас буду, — говорил Боярский Павлову и Анцу, — вы волосы отпускайте и бороду подлинней.

Хлопотать пришлось долго. Боярский ругался:

— Святые отцы. Сидят, будто ничего не произошло. Этак досидятся. Что за пастыри, коли не знают, какая теперь паства. Говорю им — лестно будет простым людям. Они — знают ли эти двое то, знают ли это? А где им образования было набраться? Службу знают? Мирян знают? Чего же еще? Говорят — вы еще и диаконисс заведете. А заведу. Так это осуждено вселенским собором. А при вселенском соборе революция, говорю, была? Ну, как хотят святые отцы — не отступлюсь. К митрополиту в синод поеду.

Пока Боярский хлопотал в столице, у Павлова и Анца отросла борода, отросли волосы. Получив, наконец, разрешение, Боярский послал их к духовному портному.

— Теперь мы вас пожарным порядком обрядим.

Прежних дьяконов Боярский выжил из собора в другую церковь победней, что на кладбище.

Анц быстро освоился с переменой в жизни. Павлов некоторое время совестился. И даже неохотно выходил на улицу. Приходилось, бывало, сзади слышать:

— Ну, и времячко, слесаря стали в рясах ходить... Значит, теперь Павлова и выпить нельзя позвать?... Как это нельзя? Свободно можно, только на крестинах или на похоронах. Да и так тоже можно, только под богатую закуску.

Павлов торопился уйти, конфузливо поглаживая бороду, и путался ногами в рясе. Но скоро и он привык к новому званию. Колпинские купцы были еще при деньгах, хотя и без прежней силы. Звали Павлова на пирог, на именины.

— Теперь уж ты не как слесарь, а как отец Павлов провозгласи.

Провозглашал.

— Господи, что делается. Этак скоро тебе и ручку доведется лобзать.

Боярский, если он сидел здесь же, на это отвечал:

— Ручку мы вовсе отставим. Ручка — это небесность. Поп должен быть земной, легкий. В ручку лобызнут, а сзади... лепетание пустят.

— Да вы скажите, отец Александр, кто ручку-то отставит?

Но Боярский до поры до времени молчал.

В июне Боярский собирал в приходе подарок солдатам и уехал с подарками на фронт.

— Я вездесущий поп, — говорил он. — И здесь служу, и на поле брани. Ободрять солдат еду.

Вернулся после июньского наступления. О фронте рассказывал неохотно. Если и рассказывал, то не о солдатах.

— Видел я на фронте делегацию французских социалистов. В частности, господина Тома. С бородой, почтенного вида, — хмуро улыбнувшись, — отростит еще немного, то как Павлова с Анцем рукоположить можно. Через переводчика беседовал. И узнал, что во Франции социалисты религию не рушат. Хоть церковь и отделена от государства, однако, влияние на умы имеет. И сам господин Тома́ сказал мне, что он верующий, хоть и просвещенный социалист. В каждом у них селении, в каждом полку, на каждом военном корабле имеется священнослужитель — по тамошнему о-монь-е. И ничего, живет клир, хотя и республика.

Разговоры эти Боярский вел потому, что вскоре после возвращения с фронта начались столкновения между собором и заводским комитетом, особенно с большевистской частью комитета. В конце июля Пронин и

Королев обнаружили, что завод платит собору большие деньги на содержание попов. На общем собрании они предложили отменить этот расход.

— За что платим? — говорил Пронин. — Как это понимать — соборный цех завода?

Боярский пытался сначала возражать мягко:

— Не зря платят. Есть люди, ваши же рабочие, кои не без пользы для себя ходят в собор. Успокоение от дум находят. Это необходимо человеку. А если он любитель музыки, то и хор слушает. Хор у нас великолепный.

— Чем год за ваши концерты платить, лучше раз Шаляпина привезти, херувимы.

— Так-то вы народ жалеете? Весь причт хотите ему на спину взвалить!

— Как народ жалеем — не ваше дело, — отвечал Пронин. — От народа вы тоже брать не отказываетесь, хотя и завод платил. Сколько со свечки перепадало? Чего там говорить — за старушичьи удовольствия, за вековух платить не будем.

— Верно! — крикнул кто-то очень уж веселый.—Коли платить, так за молодух.

Веселый оказался также и пьяным. Его вывели.

— Одни ли старухи? Одни ли кликуши? — не унимался Боярский.

— Покуда не одни, — соглашался Пронин.— А придет время — будут одни. Как тогда-то причт проживет?

Тогда Боярский не вытерпел. Заговорил почти как на амвоне:

— Сей небольшой ростом, но весьма ядовитый еретик Пронин...

Ядовитый еретик только весело откликнулся:

— Давай, отлучи меня, как Льва Толстого.

— Ты, батя, говори и даже сердись, тут твой кровный вопрос, но о словах думай. Тут тебе на собор и не старушки божьи.

— Повторяю! — гремел Боярский. — Ядовитый, злой и опасный еретик, смущающий народ...

Этого уже не могли снести. Боярского стали неучтиво толкать к выходу. Отмахивался, побледнел и сцепился с кем-то руками. И вот уже чья-то рука схватила Боярского за шиворот. И было бы совсем плохо Боярскому, если бы сам же Пронин не поспешил ему на помощь. Он сбежал с кафедры и растолкал людей:

— Товарищи, уймись, а то для Боярского прок будет. Такое в церкви наговорит... Кто за то, чтоб Боярский ушел с собрания? Хорошо, большинство, гражданин Боярский. Придется вам уйти.

— К вечерне звонят! — кричали Боярскому. — Спеши, батя, на работу.

С первого июля платежи собору прекратили. Павлов жаловался:

— Рассчитали, как городовых...

Он очень обозлился на весь большевистский комитет, на всех большевиков страны и после июльских дней решил отвести душу. Встретил Пронина, когда тот шел со станции. Еще месяц назад Павлов конфузился, когда с ним на улице заговаривали старые ижорцы. Теперь он заговорил первый:

— Что-то вы невеселы нынче, товарищ Пронин.

На душе у Пронина, действительно, было невесело.

Павлов снял поповскую соломенную шляпу.

— Имею вещественные доказательства, что Ленин и вы все состоите германскими шпионами. Ленин привез золото. Золото вы поделили между собой. А у духовенства отнимаете последнее.

Пронин устало поглядел на Павлова.

— Скажи, вшивая почта, на каком вокзале грузили это золото?

Дьякон поднял руку, как бы защищаясь:

— Утверждаю на основании докладов и... тайных материалов.

— Какие твои, длинноволосый клоун, тайные материалы?

— Вот они, — дьякон вытащил из рукава газету „Живое слово“ и щелкнул по ней ногтем.—Тебе сколько перепало?

Сегодня Пронин стоял возле Троицкого моста и видел издали, как самокатчики змейкой въехали во дворец Кшесинской. Вслед за ними подъехали на грузовике щеголеватые юнкера. Из дворца выносили папки с документами, книги, газеты, пишущую машинку, вынесли портрет Маркса. Все это швыряли в грузовик. Вынесли красные полотнища, что висели в зале, скатали их и также бросили в грузовик. Вынесли знамя, которое подарили центральному комитету путиловцы. Пронин все смотрел и смотрел. Он еще не знал, где сейчас Ленин. Ходили слухи, что Ленин собирается открыто явиться к судебным властям... Юнкера со смехом отодрали знамя от древка. Кто-то наступил на древко, и оно переломилось. Нет, Ленин не должен, не должен явиться.

Тихо подошел сзади Нимвицкий.

— Борис Николаевич, где же теперь будет явка?

— Не знаю еще, Афанасий...

Нимвицкий также молча смотрел на юнкеров.

— Постой, ее отпустили... Или обманом ушла?

Пожилая, просто одетая женщина вышла из дворца, растерянно поглядела на юнкеров и вдруг, заторопившись, словно о чем-то вспомнила, повернула налево. Нимвицкий и Пронин знали ее. Она работала в центральном комитете.

— Она пошла по Дворянской. Догоним, — предложил Пронин. — Должно быть, на Выборгскую идет. Там, кажись, уцелели.

— Нельзя, чтоб юнкера видели. Пойдем на набережную, а там свернем.

Они нагнали женщину возле Гренадерского моста.

— Где явка? — опять спросил Пронин.

— Пока во фракции Смольного, а там видно будет...

Когда Нимвицкий и Пронин шли к вокзалу, на стенах домов уже белели объявления-четвертушки. Градоначальник и прокурор судебной палаты обещали за поимку Ленина крупную награду. Возле четвертушек собирались зеваки.

— Значит, не открылся, — тихо сказал Пронин. — Так и следует.

...А дьякон все еще ухмылялся и щелкал ногтем по газете:

— Сколько империалов в карман всыпал? а?

Этого Пронин не мог вынести. Он размахнулся и двинул дьякона в зубы. Соломенная шляпа упала на землю. Павлов схватился за голову и завопил на всю улицу:

— Бьют! Большевики бьют! Священника бьют!

На помощь ему бежал мясник, последовали протасовские сыновья. Пронин подвинулся к забору, готовый отбиваться. Но подбежали и рабочие, знакомые Пронину.

— Пронин, за что ты его?

Пронин рассказал задыхаясь.

— Мало дал. Дьякон-слесарь, хочешь, прибавим?

Панов настаивал на том, чтобы Пронину объявили выговор. Выговор

вынесли, под протоколом подписались. Подписываясь, Герасимов, которого звали „хозяин", сказал:

— А пожалуй, и я бы двинул Павлову по харе.

И многие кивнули головой, соглашаясь с „хозяином". Даже Миша Огурцов, известный всем как деликатный человек, сказал, вздохнув:

— И я не ручаюсь...

Один только Егоров, также известный всем своей обходительностью, неодобрительно улыбнулся:

— Этакие приемы в политической борьбе...

Панов недовольно посмотрел на всех и зло взглянул на Егорова:

— Я бы и сам двинул, коли хотите знать. Только... ничего это не доказывает. Боярский-то попользуется.

Боярский действительно спешил попользоваться. В следующее же воскресенье он говорил с амвона о том, что претерпел дьякон Павлов.

Павлов хотел подавать на Пронина в суд.

— Может, штраф с него в мою пользу возьмут.

Боярский в суд подавать запретил и отругал дьякона:

— Если штраф и возьмут, то не в твою пользу, а в казну. Духовному лицу по судам шляться нечего. Будут еще смеяться, что попу морду набили. Мало чести. Будут тебя спрашивать, говори — хоть и претерпел, а обидчику простил. Да я и сам скажу.

И когда Боярский говорил сам с амвона, дьякон стоял на видном месте и старался казаться спокойным и скорбным, как и подобало страдальцу. Но дюжему детине с толстым, красным, лоснящимся лицом, которое в цехах иначе не звали как кабаньей ряжкой, плохо удавалось такое выражение.

С этих дней в саду за церковной оградой у Боярского открылся политический клуб. Говорили каждый вечер и обо всем — о войне, о продовольствии, больше всего — о большевиках.

После Октября Боярского арестовали одним из первых. Его отправили на автомобиле в Царское Село. Боярский скоро вернулся. По приходу стал ходить рассказ о силе Боярского.

Рассказывали так. Когда Боярского повезли из Колпино, за Славянкой лопнула шина. Не успели проехать и версту, как лопнула вторая. Тогда красноармейцы сказали Боярскому:

— Молись, батька. Коли лопнет третья, тут тебе и будет генеральская участь. Дальше не повезем.

А Боярский встал в машине и поднял нагрудный крест:

— Молюсь, да не о том. Не токмо, что третья, но и четвертая лопнет. А я слуга божий буду цел.

За Шушарами лопнула третья шина, а у Пулкова — четвертая. И не поднялась рука на Боярского. И от Пулкова шел Боярский с красногвардейцами пешком.

Однажды Боярского остановили на улице те самые красноармейцы, что везли его в Царское:

— И как это врать не совестно человеку! — сказали они ему.— Ни одна же шина не лопнула. И доехал ты до Царского, как барон.

— Я за притчу отвечать не согласен, — говорил Боярский. — Мало что в посаде говорят.

— Ты притче язык укороти. Так-то спокойней будет!

И притча скоро заглохла.

После ареста Боярский заметно потишал. Клуб прикрыл и отныне пред-

почитал говорить на вечные темы. Случалось ему заходить по делам двадцатки к Мише Огурцову, которым заведывал в Колпине откомхозом, и тогда Боярский определял свое личное отношение к коммунизму.

— Коммунизм — да это божье царство на земле! Кто же из честных людей его не хочет! Только трудно. И мечтательно. Вот постройте хорошую коммуну — первый пойду в нее примерным коммунаром. И сан сниму, и приход мой приведу.

Деликатный Огурцов отвечал:

— Вас туда, скорей всего, и не позовут, гражданин Боярский. А уж если захотели трудиться, то вот случай. Колпино в холоде сидит. В больнице и то мерзнут. Рабочие на субботнике в Поповку ездят, дрова резать. Поезжайте и вы, соберите приход. Часть дров вам отдадим, часть возьмем на школу.

— А и поеду, а и соберу, — оживлялся Боярский.

— Инструмент у меня в любой день, хлебный паек — тоже.

Но Боярский приход не собирал и дрова резать не ездил.

В годы нэпа Боярский открыл в Колпино живую церковь. Попов, несогласных с ним, выселил в церковь на кладбище.

— Мертвые, так и будьте с мертвыми, — сердито напутствовал он их.

На диспутах о религии, а они бывали частыми в то время, Боярский выступал как лойяльный гражданин, который только тем и отличается от других граждан, что верит в бога. Он и теперь уверял, что религия не мешает советской власти, при этом он ссылался на заграничные страны, на того же господина Тома, который еще был жив. Говорил про диалектику веры: „Бог-отец — тезис, бог-сын — антитезис, бог-дух святой — синтез". При случае Боярский порицал патриарха Тихона.

Боярский и теперь не терял надежды стать поближе к власти. Он пошел на публичный разрыв с тихоновцами. Попы пригородных церквей попались на мошенничестве. На весь пригород была известна икона, которую верующие считали чудотворной. Иногда икону вывозили в другие церкви и брали за прокат. И вдруг оказалось, что одна и та же икона в одно время стоит в разных церквах. Открылось, что напрокат попы вывозили не подлинную икону, а копии. А принимали чтимую икону торжественно — с колокольным звоном, с ближним крестным ходом. Верующие были жестоко оскорблены и подали в суд. Боярский охотно выступил свидетелем обвинения. Три десятка старых попов с ненавистью смотрели на этого гладкого крепыша, который деловито выкладывал суду тайны тихоновского клира. Он держался спокойно и издевательски.

— Скорбно мне, служителю церкви, докладывать о моих братьях. Однако, верующие должны знать правду. Во многих грешно духовенство старого ложного направления.

Говорилось так, а звучало иначе:

„Нет, я Боярский, не такой. Если и возьму деньги, то за икону того письма, которое чтут верующие, а не за копию".

Боярский в то время был известен не только в Колпине. Он отхватил себе еще церковь на Сенной. Сенновские торговцы носили Боярского на руках. Это была самая богатая церковь в Ленинграде, и Боярский, друг и советчик сенновцев, прочно засел в ней. Дело он поставил крепко. Церковь ремонтировали каждый год — не то, что государственные дома, а под пасху в хору певали оперные артисты. А в Колпине дела шли хуже, чем раньше. Правда, удалось сколотить в соборе отличный хор — лучше, чем в рабочем

клубе, но приход редел. И дьякон Павлов задумывался всей семьей, а хорошо ли он сделал, приняв сан. Доходы падали, а старые слесаря вернулись на завод и даже новых набирают:

— Отец Александр — исконный поп, — думал вслух Павлов, — а я... церковь по нынешним временам дело не надежное. И женятся без нас, и рожают без нас, и грешат — нам ни слова, и умрут — не зовут.

Павлов также норовил встать поближе к власти, но на то была особая причина. Павлов надеялся найти у власти управу от буйного зятя. Однажды Павлов прибежал растрепанный в совет и заговорил:

— Уймите вы его, товарищи... Ведь это ж, это ж...

— Кто?

— Настоящий... большевик,— неожиданно для самого себя сказал Павлов.

— Да ну? — весело щурился молодой секретарь совета.

— Не в том смысле, не в том смысле,— заторопился Павлов. — А в том, что как некоторые в первые годы, как царя не стало, несдержанные были. Только в этом смысле.

Может быть, он вспомнил в эту минуту Пронина.

Годы шли жестокие для Боярского, для Павлова, для тихоновцев. С Сенной исчез последний частник. Богатая церковь закрылась. Боярскому остался один колпинский приход. В соборе было тихо и пусто. Сморщенные вековухи кланялись кряхтя иконам и жгли свечи подешевле. А тут еще услышали, что рабочие требуют совсем закрыть собор, что ходят по заводу подписные листы. И тогда пришел конец распре Боярского с тихоновцами.

— Эх, отец Александр, — говорил Боярскому старый настоятель кладбищенской церкви, — к мертвым нас переселил! Мертвые, будьте с мертвыми! А к кому прижиться надеялся!

— Если бы не переселил тогда, — отвечал Боярский, — укоротил бы собору срок. Давно бы довели вы его до замка, мертвые!

Обе церковные партии дружно взялись спасать собор. Ходили листы по заводу — церковники пустили свои листы по Колпину. Было на церковных листах много беспомощных крестов, поставленных дрожащей от старости рукой. Говорят, что было много и липы, что на церковных листах оказалось больше людей, чем в колпинском адресном столе. На этот раз собор отстояли. Однако, Боярский победой не обольщался — понял, что она последняя, что собор и сам скоро упадет, хотя бы и не толкали его. Делать в Колпине больше было нечего, и Боярский собрался уезжать. Куда?

— На Кольский полуостров. Буду там слово божие проповедывать. Должны ж там быть дикие туземцы...

Сменил рясу на ватный пиджак, взял евангелие, требник и отправился в путь. Видели этого крепкого человека, как он переезжал на лодке через кольские озера, сам потрошил кумжу, дремал возле костра, появлялся в лопарских становищах.

Нехватило Боярскому образованности, которой он когда-то славился. Не нашел он диких туземцев. Наступала середина первой пятилетки. В сердце полуострова взрывали горы и строили новый город. В лопарских становищах, которые по-старому мрачно назывались погостами, видел Боярский красные чумы, больницы, радио. Ушли отсюда последние попы.

Говорят, что Боярский, походив по тундрам, поступил конторщиком в ловецком селе, чтобы заработать на обратный путь, и будто показал и расторопность, и сметку. Говорят, что раньше срока он пустился в обратный путь. Денег хватило до Петрозаводска, а в Петрозаводске на базаре Бояр-

ский пел довольно приятным, хотя и дребезжащим голосом „По старой калужской дороге...“

Только один из ижорцев видел еще раз Боярского. Это был Миша, теперь уже по праву Михаил Федорович Огурцов. Кто-то окликнул его у освещенного подъезда кино.

— Давно, давно! А вы как? Я-то? Ничего, здравствую... Вот, видите.

Перед ним стоял человек в барашковой шапке, в меховом полупальто.

— Отец Боярский!

— Да уже теперь не отец, хотя и дедушка.

Да, тот самый Боярский, все еще крепкий, с умным зорким взглядом, как будто не унывающий.

— Так-то... М-да...

— Н-да. Вот.

Это был звуковой знак того, что говорить обоим было не о чем. Боярский попрощался и пошел смотреть американскую комедию.

С тех пор его следы теряются.

21. МАРКС, ДОКТОР ХРУЩИНСКИЙ И МЕДИЦИНА

Трое друзей не сговаривались, как распределить в комитете работу. Это вышло само собой. Каждый взял ту работу, для которой он и подходил. Панов — признанный руководитель и организатор. К нему всегда прислушивались. Он решал споры, и решение становилось последним, для всех обязательным.

Нимвицкий принес с собой знания, которых нехватало товарищам. Нимвицкий — это день, когда прибирают зал, расставляют скамейки, когда Вавилов хозяйственно прикидывает взглядом, сколько на них рассядется людей, и тащит со двора еще скамейки. О Марксе хотелось узнать многим — и большевикам, и завтрашним большевикам, и посторонним людям. И две-три сотни людей напряженно слушали глуховатый голос Нимвицкого. Нимвицкий думал, что от него ждут чего-то большого. Видел, что ни одно движение не проходит незаметным — и как карандаш берет, и как пьет воду, и как вынимает закладку.

— Понимают ли меня, Тимофей? — сомневался он. — Когда кончишь доклад, подходят скопом к столу и смотрят на книгу — я „Капитал“ принес... Смотрят и молчат, будто чуда, что ли, ждут.

— Один раз не поймут — еще придут.

— Придут, — подтверждал „дедка“.

„Дедка“ требовал, чтобы лекций было больше, а сам на лекциях, случалось, подремывал, забравшись в уголок. А если просыпался, сердито глядел на других и опять начинал клевать носом.

Пронин был массовик. Лучшего не найти. Балагур и острослов, он одним метким словом мог сказать больше, чем другой оратор за час. В метких словах Пронин бы неистощим. Они у него являлись сами собой, лишь только начинал говорить, и собрание всегда ждало таких слов от Пронина. Его слова убивали врагов — не только колпинских, доморощенных. Приезжие министры почесывались от них, а потом слова Пронина гуляли по посаду. Их вспоминали еще много лет спустя, когда Пронина в Колпине уже не было.

Так и применили свои силы три близких друга. Но для Пронина и для Нимвицкого Тимофей всегда был старшим.

— Тимофей идет, ну, прямо... как по компасу, — говорил Пронин.

Нимвицкий иногда удивлялся.

— И откуда у него это?

Знаний у Панова еще было немного. Ведь года два всего, как они уселись с Пановым за стол, и Панов стал чертить треугольники и довольно коряво писал — 2d. А в другой тетрадке тогда же писал про другие d—t—d. И после этого уныло спрашивал:

— Борис, да что же это такое ме-та-мор-фоза товара?

И очень трудно было объяснить ему это.

— Превращение? Где оно? Как есть, так и осталось. Дал — взял. Товар и деньги. Где оно, превращение? Ведь я ему деньги дал. Он товар дал. Все, как было.

А теперь Тимофей сразу разбирается в сложных делах. И, бывает, учит самого Бориса.

После первых выборов в совет Борис был озадачен.

— В колпинский совет нас выбрали мало, и трети не будет. В петроградский совет выбрали восемь человек, из них шесть большевиков. Не понимаю.

Панов понимал.

— Колпинский совет — свое, домашнее дело. От него много не ждут. Ну, и послали эсеров. А столичное дело важнее считают. Должно быть, не хотят на такие дела Белецкого с Нехлюдовым посылать.

— Да ведь с питерских заводов — и то больше эсеров с меньшевиками посылали.

— Наши из ссылки не собрались... А покуда столичная интеллигенция нажала, заговорили. В Колпине ее не было. Одного Белецкого мало.

— Постой, Тимофей... Как же... Только ли в этом дело? — спросил Нимвицкий.

И сразу пожалел, что спросил. Нет, Тимофей вовсе не так прост. Он улыбнулся.

— Одно — силы не собрались. Другое — разворот только-только начинается. Одно к одному. Нам в Колпине покуда везет. Без разворота свою шестерку в Питер провели. А на развороте и здесь все свои будут.

Среди двух-трехсот людей, которые ходили слушать Нимвицкого, был заметен высокий старик в пальто с черным бархатным воротником. Он вешал шляпу на набалдашник палки и сидел чуть раскачиваясь.

Однажды он спросил:

— Вы говорите, товарищ Нимвицкий, что экономические условия влияют на все? Хорошо-с. Относится ли это также и к медицине?

— Конечно, доктор.

— Значит, если бы были эти условия лучше, то было бы меньше туберкулеза, язв желудка...

— Безусловно.

— ... родильных горячек, грыж, тифов?

— Меньше.

— И даже очень сложных болезней? Самых сложных?

Все в зале переводили глаза с Нимвицкого на старика. Старик, вздохнув, продолжал:

— Я, собственно, как врач догадывался об этом. Но ведь Маркс не был врачом?

— Какой же он врач!

— И все-таки видел?

— Видел.

— Интересно... Очень интересно.

Нимвицкий готовился продолжать, но старик снова прерывал его:

— Значит, при очень хороших, так сказать, идеальных условиях вовсе забудут о туберкулезе, о язвах?

— Очевидно.

В зале начинали это обсуждать и спорить.

— Но одна медицина этого не добьется?

— Нет, тут нужно еще что-то, — улыбался Нимвицкий, — кроме медицины.

— Интересно, очень интересно... Я, знаете, как врач об этом думал. Верно, он об этом много думал и даже говорил, но говорил по-чудачески. Доктора Хрущинского любил весь завод. К нему можно было притти хотя бы ночью, можно было и позвать к себе ночью. Но средства он признавал только простые — иод, ланцет, компресс. А в тех случаях, когда дешевые средства могли вылечить, Хрущинский говорил больному:

— От сорока твоих болезней, друг, прими сороковку.

Молодой врач однажды обвинил старика в жестокости.

— Жестоко? — прищурившись, отвечал Хрущинский. — Вы пропишете литейщику поездку в Боржом, абсолютный покой, тертую курицу, бульон из устриц? На руп тридцать в день?

— Надо сказать ему правду.

— С такой правдой только тяжелей умирать, молодой человек.

Осмотрев ребенка, Хрущинский говорил женщине:

— Корми рисовым отваром.

— А где рис теперь взять? — запальчиво начинала женщина.

Это было в войну. Другой врач, толстый брюзга, после таких слов кричал:

— Я — доктор, понимаешь? Если я буду искать для вас рис, то не попаду на службу.

А Хрущинский отвечал просто:

— Негде.

И ему это прощали. Его любили за простоту, за доступность и даже за жестокую правду.

Примеру Хрущинского последовал Репкин, очень мирный человек, но ярый эсер, почитавший Белецкого. И тогда Панов еще раз удивил Нимвицкого:

— Ты говоришь, товарищ Нимвицкий, — говорил Репкин, — что Маркс наперед видел историю. Жил в Лондоне и видел за полсотни лет. Там... вооружение рабочих, как буржуазии. Удивляюсь. Если видел и знал наперед и учил тому в толстых книгах, как это буржуазия позволяла ему жить! Человек ей могилу копал, хоть и пером, а копал. А она позволяла. Что-то не так!

Репкину взялся отвечать Панов.

— Да уж не дала бы жить, коли вперед понимала, коли толстые книги правильно читала бы.

— Выходит так, что капитал вперед не видит?

— За неделю, если хочешь, видит.

— Войну, однако, видел не за неделю, — не сдавался Репкин. — Дредноуты строил? Аэропланы строил? Газ готовил?

— Войну видел, а за войной что будет, не видел.

Панов на серьезные вопросы отвечал спокойно, медленно, веско. А Пронин... Чем больше серьезных вопросов, тем веселей становился на трибуне Афанасий. Именно этого порою и ждали от него.

— Пронин! — кричали из зала. — Скажи про эволюцию.

Перед этим об эволюции долго и туманно говорил столичный оратор.

— Эволюция, — с готовностью отвечал Пронин, — это если тебе капиталисты в год по гривеннику прибавляют, а в голодный год по рублю снимают.

И зал стонал от смеха и аплодисментов. И опытный оратор видел, что его речь уже забыта, будто ее и не было.

Таковы были три друга, которые в ту пору вели за собой ижорских большевиков, а немногим позже повели за собой всех ижорцев.

22 МОЛОДЫЕ

Они трое были старшим поколением ижорских большевиков (Баклайкин старше годами, потому и „дедка"). Ровесниками или почти ровесниками им приходились Алексеев, „хозяин", Огурцов, Королев, Вересов.

Тогда еще не говорили о „смене". Но Панов растил молодых как смену, хотя, быть может, и не думал об этом. А смена росла быстро.

Андрей Вавилов, которому было неполных девятнадцать, взрослел скачками в эту весну и лето. День ото дня не узнать Андрея. В прошлом году видели веселого парня, быстрого ногами, редкого свистуна. Панов пошутил как-то:

— Ты, Андрей, вошел в революцию ногами и свистом.

Кто же не помнит, как он обегал весь посад, когда надо было тайно созвать людей, как ноги уносили Андрея от жандармов, как ловко он наклеивал возле табельной доски отчеты о деньгах, которые посылали осужденным депутатам. А свист Андрея был слышен на третьей улице. И как пугались штрейхи этого свиста!

Прошлым летом Андрей был веселый парень, ухажер. Катал девиц на лодке и до ночи горланил. Любил он душевные песни и старался петь как можно душевнее:

Тут уж, конечно, пойдут разгово-оры...

Вытягивал губы на „разговорах", чтобы вышло грустнее.

Тут уж, наверно, пойдет болтовня.
Вспомню я также милые споры,
Но это уж только шутя.

А его нынешняя серьезность иногда сердила Панова.

— Что ты ходишь, будто послушник? Тут тебе не Валаам-остров. Ну-ка, свистни. Посвищи, как „Журавушку".

В комитетском доме раздавался музыкальный, хотя и очень пронзительный свист. „Дедка" притоптывал ногой и подмигивал:

„Жура, жура, журавель, журавушка, да молодой..."

Потом сказал:

— Под журавушку-то этого три года без малого маршевые роты на смерть водили. И свояка увели. Пошел тоже. А где он, свояк? Будто и не жил человек.

— Больше не поведут. Хватит. А песня ничего. Для ноги хороша.

— Юнкерье к журавушке еще французские слова добавляло. А мы во флоте на добавку пущали...

И вспомнил „дедка“ крепкое непотребство.

— Вот это уж можно бы и за дверью стряхнуть, — посоветовал Панов.

Нет, „дедка“ не отказывается от крепких слов. Другие также грешили ими, но при Александре Николаевне сдерживались. А „дедка“ на это не глядел. Казалось даже, что нарочно при ней расходится. Александра Николаевна не выдержала однажды:

— Товарищ Баклайкин, ты не смеешь, не смеешь так в комитете.

„Дедка“ с ненавистью поглядел на нее.

— Брось похабство! Кабак, а не рабочая речь.

— Ты... — „дедка“ задохнулся.

Перед ним стоял Вавилов.

— Щенок! Учить меня, старика! Свистун чортов! Пустили вас, сосунов.

— Перестань! Слышишь! Ну!

Вавилов был белый от бешенства, и „дедка“ попятился от него.

— Деликатное воспитание от нее получил, — прошипел он. — Тоже, значит, от мата в одном ребре недочет.

Он хлопнул дверью. „Дедке“ казалось, что его кровно обидели, а обид он не прощал и долго после не говорил ни с Александрой Николаевной, ни с Вавиловым. Александра Николаевна хотела помириться с „дедкой“, но Вавилов ее хмуро остановил:

— Не говори первая Пусть сам поймет.

Суровая озабоченность не сходила с лица Андрея. Его и Андрюшкой переставали звать. Всегда тороплив и серьезен. Всегда фуражка на затылке. Быстрые ноги и теперь служили комитету. Если слышно, что кто-то одним махом влетел на крыльцо и затопал по коридору, значит — Вавилов сейчас распахнет дверь и крикнет с порога:

— Чего вы тут сидите! В бронеотделочной эсеры наших гнут. Из Питера оратора к нам прислали. Давай подкрепление. Нето они резолюцию проведут.

— Беги, ищи Пронина. А я сейчас, — отвечает Панов.

И слышно, как чековек на одном дыхании пролетел через коридор и соскочил с крыльца.

В первое время Вавилова неудержимо волновали также и пустяки. Вот так же распахнул дверь:

— Товарищ Панов, тебя Белецкий дураком назвал!

Тогда Панов рассердился и стукнул кулаком по столу.

— Что ты суешься с ерундой! Играй лучше в городки. За девками бегай, а не за дураками.

— Так ведь он в смысле политики назвал, — смутился Андрей. — Это учитать надо.

— В смысле политики... Эх ты... Ты лучше слушай, как ты говоришь. „Учитать“! Учи-ты-вать, а то Белецкий, чего доброго, и тебя дураком назовет, — улыбнулся Панов.

Но бывало, что Андрей различал в мелочах большее. Однажды Нимвицкая стояла у ворот комитетского дома и дымила папиросой. Вавилов взял ее за плечи и толкнул во двор.

— Что за дурацкие шутки! — рассердилась Александра Николаевна.

— Не дурацкие, — спокойно объяснил Вавилов. — Ты посада не знаешь. В доме кури, а на улице не смей. Мало ли у нас тут дикарей! Каждое

лыко против нас подбирают. Женщины на улице не курят. Еще скажут, что у нас в комитете веселые дамы завелись. Ты мне поверь — я этих посадских знаю.

Александра Николаевна думала насмешить Панова, но тот подумал и сказал:

— На этот раз Андрюха правильно „учитал". На улице не кури, покуда улица не наша. Судаков в посаде хватает.

— Ну, и чорт с ними! Слушать их, что ли?

— А для тебя что, папироску бросить — жертва? Свободу стесняет. Понимай так. Когда судаки насчет золота брешут — народ им не верит. А на папироске могут и сыграть. Все „учитать" надо.

Вавилов был самым молодым из молодых большевиков. И самым хмурым.

Алексеев Вася был гораздо старше, подпольщик, но нравом повеселей... И у него фуражка сползала на затылок и от хлопот и оттого, что очень уж пышные волосы отпустил парень. Хлопот было по горло, но всегда видели Алексеева улыбающимся.

Алексеев прошел по большевистскому списку в колпинский совет и скоро стал там секретарем. Белецкий не препятствовал этому. Он себя считал справедливым человеком — надо было, чтобы и большевики получили место в президиуме. А кроме того, у секретаря с первых же дней совета оказалось столько работы, что эсеры и не завидовали его месту. Каждый день перед секретарем вставали острые вопросы, а эсеры не были охотники до таких вопросов. Алексеева называли „странствующим секретарем". Он весь день бегал по посаду. Женщины толпой окружали его на улице, в коридоре совета. Вася уставал от беготни, вытирал на-ходу пот, но говорил улыбаясь:

— Разберем... Ваша фамилия? Адрес?

Прикладывал блокнот к согнутому колену, записывал на-ходу и мчался дальше. Всегда был очень вежлив, не называл женщин ни „теткой", ни „бабкой", а обязательно гражданкой, что тогда было новостью. Но женщины его звали просто „Вася".

Вася ни на одну минуту не ускользал от колпинцев. За ним ходили по пятам. С вечной папкой под мышкой бежит он по улицам, за ним на рысях поспевают женщины с плетеными провизионными корзинками.

— Вася, хлеба сегодня не выдают.

— Как не выдают?

— Пекаря ханжой обожрались и на работу не вышли.

Бежать, что ли, в продовольственную управу? Не пройдя и десяти шагов по гнилым доскам, которые зовутся тротуаром, Вася решает острый вопрос.

— Пойдем! — Он и женщины идут в милицию.

— Товарищ Петерсон! Хлеба нет. Пекаря на работу не вышли. Отрядите мне трех милиционеров.

— Но зачем тут милиционеры?

— Приведем на работу. Хоть пьяных, а приведем. Хоть к обеду будет.

Петерсон морщится и вздыхает.

— Позвольте. Но разве можно заставить работать!

— Они совесть пропили, — говорит женщина.

— Кто бы ни были. Но это ж насилие, товарищ Алексеев.

— А это не насилие — весь город без хлеба оставить! — Алексеев улыбается, но говорит упрямо.

— Человек волен работать, волен и не работать. Нельзя хватать за шиворот... У меня милиционеры, а не булочники.

— Значит, если его воля — хотя весь посад без хлеба сиди? — спорят женщины.

Петерсон нервно теребит бороду. Трудно объяснить женщинам. Что он скажет! И вообще ему трудно на этом месте. Он многого старался не видеть, но многое лезло в глаза. Старался не видеть, как милиционеры иногда отпускали зуботычину балканским хулиганам — мстили за то, что на улице они балканских боятся. Старался не слышать приглушенных ударов из-за стены и матерной брани.

Разные люди его окружают. Вот этот плечистый — бывший мясник. Говорят, он пошел в милицию потому, что разорился. Но мясник — член той же партии, что и он, начальник милиции. А вот этот молодой, почти подросток, часто читает „Окопную правду". Думали, что из любопытства, а он объявил себя большевиком. И мясник прорычал:

— Вот что! Знал бы я — я бы тебя давно убил.

— Кто кого! — запальчиво ответил молодой.

И Петерсон поучал обоих, что взгляды других людей надо уважать, какие бы ни были взгляды. Но чувствовал, что не убедил. И вообще он стар. До Колпина не уставал, а теперь часто устает. Но Белецкий убеждал его в том, что он нужен заводу и посаду. И Петерсон с ним соглашается. „Якут" тоже иногда думает, что своим именем, своим прошлым он примиряет враждующие партии. И потом... эти вечера в клубе имени Михайловского. Петерсон подолгу рассказывает о Сибири, об Обнорском, о „Земле и воле". А после рассказа — семейный вечер, молодежь танцует. А когда Петерсон идет домой, милиционер, дежурящий в клубе, берет под козырек.

Да... А Алексеев говорит, все так же улыбаясь:

— Что ж. Коли насилие, так когда и насилие нужно.

— Это, может быть, в вашей партийной программе, но во славу этой программе я не буду принуждать милиционеров, хотя с хлебом, конечно, безобразно.

Поднимается молодой милиционер, который читал „Окопную правду".

— Позвольте, товарищ Петерсон, я без принуждения схожу.

И еще один готов итти.

— Можете, — сердито говорит Петерсон. — Это ваше частное дело. Но оружие оставьте. Оно не ваше, а государственное.

Алексеев шепчет милиционерам, что оружие, если надо, возьмут в комитете.

— Хороший человек Алексей Николаевич, — говорит молодой милиционер по дороге, — а только иконой стал. Все за него Белецкий думает.

— Икона и есть со святой бородищей, — подтверждает женщина.

Через полчаса пекарей ведут на работу. Они очень пьяны. Один из них разводит руками и неистово выкрикивает модные слова:

— За что боро-олись!

Милиционер подталкивает его в спину и добавляет:

— На то и напоролись.

У колодца пекаря жадно пьют воду прямо из ведра. Женщины посмеиваются и мотают головой. Злоба прошла. К обеду хлеб выпечен.

Однажды Алексеев пришел в комитет докладывать о своей работе в совете. Только он начал говорить, как с улицы постучали в окно. У окна стояли какие-то подростки. Алексеев не знал их.

— Вася! На Павловской Никаноров нас с квартиры выкидает. Батька послал. Выкидает. Мишкины мы.

— Иди! Иди! — сказал Панов докладчику. — Ничего. Потом придешь. Договоришь.

— Надо бы обсудить, — развел руками Егоров. — Этак он нам никогда и не доложит.

— Иди! Без лоскотанья. Доложит.

Алексеев схватил шапку и убежал. Когда он прибежал на Павловскую, семья Мишкиных уже сидела во дворе. На земле валялись кадушки, матрацы, корыто, перегоревшая самоварная труба... Стоял покосившись выщербленный кухонный стол, и на нем лежали образа. Именем совета Алексеев вселил семью обратно в дом и побежал заканчивать доклад.

С первых весенних дней объявился в комитете еще один молодой большевик. Был это длинный, худущий парень с костлявым лицом. Назвал он себя Ливенским.

— Почему же ты, товарищ Ливенский, идешь к нам, большевикам? — осведомился Панов.

— Талантам моим не давали при царе ходу.

— А какие у тебя таланты?

Ливенский писал стихи. Он прочел длинную поэму о старом рабочем Степане. Степан весь век на заводе. Ему тяжело, не дают даже погоревать о жене, которую только что похоронил. Всю жизнь его подгоняет гудок. Так и на другой день после похорон:

„А утром, чуть завыл гудок, —
„Краюху хвать в карман
„И снова на заводе он,
„Наш труженик Степан".

Читал он также и смешное. Особенно про начальника цеха полковника Онисимо-Яновского, которого рабочие звали „Дунькой":

„А у нас начальник цеха —
„Масса горя, масса смеха!
„Не полковник, дунь-ка, плюнь-ка,
„Пред тобой все та же Дунька".

Писал также и про любовь:

„Я вас никогда не забуду,
„Хоть пройдут золотые года,
„И не раз лед на речке весною
„Унесет голубая вода".

Многим нравилось и про труженика Степана, и про Дуньку, и про любовь. Панов также одобрял:

— Вот и свой поэт у нас. Ты, Ливенский, в литературной комиссии работай.

Была тогда и такая.

Ливенский знал наизусть книги стихов. Бывало, Панов его просил:

— Как там у Некрасова, вспомни.

Он очень любил поэму „Саша". Ливенский читал с жестами:

„Днесь я совсем примирился,
„Что претерпел на веку".

Спокойный Панов не выдерживал:

— Ведь как писал! Давно, а живет. Ведь это ж прямо про Петерсона

сказано. Ты не обижайся, Ливенский. Некрасов, должно, в годах писал. А тебе сколько? Двадцать? И ты еще такое напишешь!

Но чаще, чем с другими, Ливенский говорил о поэзии с Александрой Николаевной. Он привозил из города книжечки — на обложке рассыпаны розы или курильница, над которой висит дымок, или просто изящная, но непонятная виньетка.

— Брюсов, Бальмонт, а это „Салон поэтов". Они все тут.

И читал, захлебывался.

— А что ж такого, Саша! Красивые слова — и больше ничего.

— Какие слова! Это уметь надо. Хоть и буржуазия, а как умеет. „В роще шорох, шелест, свист..." Как сыграл!

Ливенский отростил длинные волосы, купил на толкучке куртку со странными отворотами и перестал носить шапку. Работал он в комитете плохо, часто не выполнял поручения. Другому бы за это влетело, а с него много не спрашивали. По целым дням он пропадал в городе. Однажды похвастал, что был в знаменитом кабаке — „Летучая мышь".

— И зачем это понесло тебя туда?

— Как же! Надо было посмотреть, какой у них там вселенский развал. Ну, и развал! — Ливенский жмурил глаза.

Он свел знакомство с какими-то литераторами. И кто-то ему покровительствовал. Однажды он ошеломил покровителя. Хитро спросил его:

— А где у вас тут богема помещается?

— Да тебя за деньги показывать надо, — отвечал покровитель и показывал Ливенского приятелям ради смеха. Те поили Ливенского.

— Новым Пушкиным хочешь быть? Будь! А то... кто старого Пушкина почитает, того пролетариат российский в буржуи переводит.

В комитете стали сторониться поэта. При нем не говорили о важных и секретных делах. Он, кажется, замечал. Перед июльскими днями Ливенский стал чаще бывать в комитете. Говорил, что пишет новый гимн пролетариата. В эти дни всем хватало дела. Дали поручение и Ливенскому. Он должен был привезти из Петрограда тюк с газетами. А через два часа Александра Николаевна увидела его в Колпине. Поэт картинно стоял возле ограды сада и смотрел в небо.

— Саша! — позвала она его. — Ведь вы...

— Все устроилось, — пробормотал Ливенский.

— Отчего же вы не в комитете.

— А вот тут стоял... две строчки обламываю. Не даются.

За тюком пришлось поехать другому. После июльских дней Ливенский прислал по почте в комитет свой партийный билет.

— Что ж... вычеркни поэта, — только и сказал Панов.

Через неделю по почте пришел тоненький журнал, называвшийся „Дама". В журнале было отчеркнуто красным карандашом стихотворение „Ночная дума", а на полях приписано: „Знайте, это мое. Ливенский!!!" Прочли „Ночную думу".

И под „Ночной думой" стояла подпись „Кн. Ливен". Посмеялись.

— Наш-то Ливенский от старого мира титул отхватил. Во князьях объявился.

Посмеялись и забыли.

(*Продолжение следует*)

НАШИ ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

Петро Панч

Когда урну с прахом Алексея Максимовича Горького вынесли из Колонного зала, над Москвой нависла такая глубокая тишина, что слышно было, как билось в груди взволнованное сердце.

Мысли сопротивлялись факту, что Горький совершает свой последний путь по земле. И, чтоб удержать в памяти его живой образ, цеплялись за воспоминания.

Максим Горький вошел в мое сознание в годы жестокой реакции в России, главным образом, как бунтарь против царского гнета. Его биография была близкой и родной для всех бедняков и трудящихся, и потому творчество и деятельность этого писателя вызывали у нас огромное восхищение и стремление к борьбе. А гяжелая болезнь еще больше привлекала к нему наши симпатии и сочувствия. Эти симпатии были такие искренние и глубокие, что не только встреча с Горьким, но даже его проезд через наш город был для нас праздником.

Однажды разнесся слух, что Горький едет в Крым через Харьков. Рабочая молодежь и революционное студенчество поспешили на вокзал. Но жандармерия, так боявшаяся писателя-революционера, окружила вокзал. Тогда тысячная толпа ринулась к Холодногорскому мосту, под которым проходил поезд, и устроила овацию оттуда.

В 1928 году, после возвращения Горького в Советский Союз, он по приглашению колонии правонарушителей его имени посетил тогдашнюю столицу Украину — Харьков. Литературные организации, объединенные в федерацию, устроили в доме литературы им. Блакитного встречу с ним украинских писателей. Там, за чашкой чая, я впервые и увидел этого великого писателя, жившего до того в моем представлении как романтическая фигура неутомимого борца с неумолимой болезнью в груди.

Я увидел высокого, широкоплечего, коренастого, немного состарившегося, но еще жилистого, с угловатым лицом и рыжими усами человека. Его походка и движения были так же угловаты, как у людей, долгое время находившихся на черной работе.

Он напоминал коренастый дуб с сучковатыми ветвями. Когда Горький, вытягивая свою жилистую шею, начал говорить своим глухим голосом, характерно окая, его голубые глаза, сначала хитро и отрывисто смотревшие из-под нависших бровей, сразу засветились приятными и ласковыми лучами. Эти глаза закрывали всю его фигуру. Они ласкали и очаровывали, притягивали и успокаивали. В них была мудрость веков и ласковость ребенка.

Среди присутствующих были и законспирированные националисты, кото-

рых лишь после разоблачили как врагов советской земли. Чтоб как-нибудь скомпрометировать Горького, они избрали мерзкий и негодный способ — обвинение Алексея Максимовича в великодержавном отношении к украинской литературе. Остальные же писатели такой поклеп на писателя, все творчество которого пропитано интернационализмом, встретили с возмущением. Горький также покраснел, но теперь уже от незаслуженного оскорбления. Кровь ударила в лицо, на шее натянулись жилы. Он не стал оправдываться, а только, заметно волнуясь, напомнил присутствующим о своих взаимоотношениях с лучшим украинским писателем М. М. Коцюбинским, который гостил у него на Капри целое лето, о первом переводе и издании при его участии сборника рассказов Коцюбинского на русском языке и, наконец, о подготовке издания социально-экономических сборников для популяризации и освещения жизни Украины (тогдашней колонии царской России). Помехой к осуществлению этой трудной при прежних условиях работы стала мировая война. И на этом собрании Алексей Максимович, уже по поручению русского Госиздата, также завел разговор о переводе украинской революционной литературы на русский язык.

Затем Горький заехал осмотреть колонию правонарушителей. Дети встретили своего шефа с великой радостью.

После с Алексеем Максимовичем мы встречались уже часто: и на первом Всесоюзном съезде писателей, и на отдельных совещаниях. И каждый раз у него находилась свежая мысль или смелая инициатива, возбуждавшая нашу творческую фантазию, обогащавшая тематические планы, привлекающая внимание к той или иной проблеме.

Свою речь на первом пленуме правления союза Горький закончил напоминанием о неизбежности войны с капиталистическим миром: „...а поэтому каждый писатель должен особенное внимание уделить оборонной тематике. Нужно готовиться, чтоб не быть застигнутыми врасплох". Мысль об опасности войны не оставляла его до последней минуты. Даже перед самой смертью, как рассказывает доктор Левин, Горький, уже в бреду, снова вспомнил: „Будут войны. Нужно готовиться... чтоб не быть застигнутыми врасплох..."

Эти слова должны быть программой действия для советских литературных организаций и для каждого писателя.

Горький собственными ногами прошел Украину, собственными глазами видел жизнь и быт крестьян, слышал их песни, сказки и пословицы. И когда 10 апреля 1935 года литературный актив Украины посетил его в московской квартире на Мало-Никитской, Горький в беседе с нами исключительное внимание уделил именно фольклору. В тот день было особенно много затронуто тем.

Мы сидели в библиотеке за круглым столом. За широким декадентским окном по Москве плавал седой туман, рвался о голые кусты и тяжелыми каплями стекал по стеклам. Алексей Максимович Горький, поставив перед собой кованую пепельничку, положив возле нее роговые очки и улыбаясь в рыжие усы, говорил:

— Что ж, товарищи, приближается 20-летие существования Советской власти. Многие уже стали взрослыми, но не знают, какой ценой досталась им в руки власть. Находятся и такие юнцы, которые выказывают даже недовольство. Я, мол, и того хочу, и того хочу, а мне не дают. Они не знают, как жилось раньше. Мало мы про это пишем.

— А взять наших женщин, — это же диво-дивное, новый тип человека. И это нужно показать.

— Мало, мало еще у нас про это пишут, а нужно, нужно к юбилею написать хорошие книжки.

Алексей Максимович положил на пепельницу папиросу с черным чубуком, облокотился на стол, раздвинул рукою усы, как бы для того, чтоб дать выход новым словам, и снова начал выкладывать перед нами темы. Они играли у него, как драгоценные самоцветы.

Говорили также о создании на Украине журнала „Театр и драматургия", об использовании опыта выдающихся артистов дореволюционного украинского театра. Горький был знаком и с этим театром и давал глубокие содержательные советы. Говорили о необходимости диференциации современных толстых журналов по творческим признакам, о введении приложений к журналам на исторические темы, об издании литературного сборника, посвященного жизни еврейских трудящихся за 20 лет.

Когда заговорили о детской литературе, Алексей Максимович оживился, вспомнил о Павлике Морозове и о необходимости увековечить его память. Мы рассказали несколько эпизодов, характеризующих замечательную заботливость Павла Петровича Постышева о детях. Алексей Максимович слушал с большим увлечением и повторил несколько раз:

— Интересный человек, интересный!

Напомнил Алексей Максимович также и о необходимости большего развития жанров, юмора и сатиры, свойственных духу и традициям украинской литературы и языка.

Все мы знали, что каждого из нас ждет большая работа, уйма интересных тем, а наши прекрасные читатели ждут книги; знали, что до юбилейной даты оставалось тридцать месяцев, но в беседе с Алексеем Максимовичем все это наполнялось особенным содержанием. Те же темы заговорили с нами выразительными голосами. Он вложил в них чарующее содержание, особенный аромат.

У гостей Алексея Максимовича постепенно загорались глаза, темы начинали обрастать фабулой, сюжетом, наполняться героями, а он смотрел смеющимися, голубыми глазами и, тихо покашливая, шевелил рыжие усы довольной улыбкой.

С искренней благодарностью прощались мы с Алексеем Максимовичем. Каждому из нас тогда хотелось, не теряя ни одной минуты, скорее добраться к своему столу и садиться за работу.

Но одного желания работать еще мало. Нужно не только хотеть, но и уметь. И в этом нам прекрасной школой может быть многогранная и красочная литературная и общественная жизнь Горького. Много нужно было приложить усилий и силы воли, чтобы от мальчика-посудника дойти до виднейшего организатора культурной жизни и советской литературы, стать самым образованным человеком своего времени, гениальным писателем — Максимом Горьким.

Слово Максима Горького — великого художника, революционера, бойца против царизма и капиталистического гнета — было услышано угнетенными и эксплоатируемыми всего мира и поднималось как знамя освободительной борьбы.

За сорок четыре года своей литературной деятельности Горький, имея гениальный талант, создал огромное количество тем. На его произведениях, насыщенных глубоким содержанием и художественной красотой, писатели будут учиться выразительности речи, свежести выражения, полной нагрузке фразы и живописности слова.

Художественные типы, созданные Горьким, неизгладимо вошли в наше сознание, и самый интересный из них это сам автор, всегда вызывающий у нас восхищение своей неутомимой работой. По его инициативе и при его участии началось издание „Истории фабрик и заводов", „Истории гражданской войны", „Истории молодого человека" и ряда других серий книг и журналов, ставших капитальными сооружениями в нашем социалистическом строительстве.

Горький умер.

Когда из Колонного зала выносили урну с его прахом, над землей нависла тяжелая тишина. В эту минуту трудящиеся всего мира переживали скорбь о гениальном художнике, любимом писателе, верном солдате революции, который пал побежденный смертью, накануне последних боев с капитализмом.

Алексея Максимовича уже нет среди нас, но с его именем отважные будут прокладывать дорогу в века.

Киев. 1936 г.

Перев. с укр. *Е. Ф. Ружанский*

Бронислав Кежун

БАРАБАН

Партизанский взвод рабочих,
Взвод рабочих и крестьян,
Налетал однажды ночью
На врага, и, между прочим,
Взял веселый барабан.
Партизаны, не проспите, —
Трелью сыпал барабан.
У реки коней поите, —
Звал отбитый барабан.
Словно конские копыта,
Барабанил барабан.
Из винтовки, из обреза
Смертно ранен партизан, —
Словно дождик по железу
Барабанил барабан.
Враг врывался на поляны —
Барабан гремел сильней,
И садились партизаны
На оседланных коней.
Молодые комсомолки,
Дети, старый партизан,
Молча смотрят на умолкший
Партизанский барабан.
В двадцать первом, в тридцать первом
Звонко стукал барабан.
Был я юным пионером —
Барабанил в барабан.
Выше, ниже, громче, тише
Бил товарищ барабан.
Что такое? Что я слышу?
Слух мой ввел меня в обман:
Это дождь стучит по крыше
Дробно, словно барабан.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

Детство снова в памяти встало:
Кто тогда из нас, из детей,
Не пускал бумажных сначала,
А потом живых голубей?
Иль хвостового змея, или
Детский шар алее зари,

Иль модель — бумажные крылья, —
Или мыльные пузыри?
Вот девчонки — дело другое...
Между ними была одна —
Светлорусая. Я не скрою:
Очень нравилась мне она.
Мы расстались учениками.
Где живет она? Где ведет
Над гористыми облаками
Свой серебряный самолет?
Мяч футбольный над полем взвился.
Диск летит. Взлетает копье.
Бегуны летят, словно птицы.
Я, наверно, встречу ее.
Я взгляну на ее ресницы,
На задумчивые глаза,
Я взгляну на ее петлицы
Голубые, как небеса.
А когда зажужжит пропеллер,
Попрошу ее:
Покажи,
Что такое мертвые петли,
Бочки, штопоры, виражи?
Мы взлетим. (Так летел Каманин.
Темнота? Среди темноты.
Непроглядный туман? В тумане.
Так летел он. Пели винты.)
Если вражеские эскадрильи
Над границами загремят,
Полетит она
Как орлица
На защиту своих орлят.
Над Амуром или над Вислой
Полетит она.
Тлеет закат.
Буйный ветер летит со свистом.
Дым летит. Облака летят.
„Есть в полете". Солнце в полете.
Пролетая, флаг шелестит.
День летит.
Летят самолеты.
Пух летит
И земля летит.
Птицы,
Кони,
Авто,
Трамваи,
Отдаленный моторов гром, —
Все летит.
И я пролетаю
На зеленый аэродром.

Илья Авраменко

ТУМАН

Сизый-сизый, сырой и вязкий
по дорогам ползет туман...

А дорога моя как в сказке
сквозь дремучий лежит урман.
Долог путь мой по той дороге
до холодной реки Устром,
хоть бы месяц взошел двурогий
над просторным моим шатром.

По-ребячьему плачут совы.
Настороженный мир лесной
ночь закрыла на все засовы,
занавесила пеленой.
Как мне выбраться?.. Где короче
путь?... Я вымок у переправ.
Сколько тяжести в этой ночи,
в этом душном дыханьи трав!

Чуть колышется лес высокий,
звезды тусклые далеки,
в острых стеблях сырой осоки
сонно булькают кулики.
... Спать пора...
Замирают ноги.
... Спать пора...
И уже во сне.
...Спать пора...
У моей дороги
сосны жмутся — сосна к сосне.

А за далью дороги длинной,
за туманом, за краем сна,
над Устромом живет Ирина,
шумным садом окружена.
Тесен сад там от сладких яблок,
спелых ягод пахуч настой,
там в саду распевает зяблик,

затонувший в траве густой.
Там цветочного меду много...

Ты медовых цветов нарви,
выйди, выгляни на дорогу,
светлый утренний мир яви.

...Только путь мой к тебе, Ирина,
затянулся на этот раз,
злой туман слепотой куриной
все тропинки сокрыл от глаз.
Он как сторож — угрюм и строг...

Здравствуй, что ли, молчун-попутчик,
сразу вставший у всех дорог!

М. Толстая

ДОРОЖНОМУ ТОВАРИЩУ

Люби, говорят, навечно,
Дружи, мол, до гроба дней...
Бывает же, — первый встречный
Окажется всех родней.

И время на всем разгоне
Встречает его тогда...
Проходят часы в вагоне
Огромные как года.

Товарищ по месту рядом,—
Давно ль он со мной знаком,—
Обычный лицом и взглядом,
Седеющий военком.

Но слушаю смех хороший,—
И жизнь его я пойму.
Горячей и ладной ношей
Размерена по нему.

Моя хоть иного склада,
А тоже из тех пород.
Ну, дальше... сослаться надо
На бабушкин приворот.

За стуком и тучей пыли
Мы дружбу свою несем.
О многом отговорили,
Подумали обо всем...

Под вечер гудки все резче,
В окошке плывут огни.
Сосед собирает вещи,
Затягивает ремни.

Я знаю, что к жару дела
Дорога его вела.

За сотнею верст раздела
Стоят и мои дела.

Тяни на прощанье руку
Над синью лесов и рек.
Разлука... Пускай разлука,
Я думаю не на век.

ВСТРЕЧА

Усталость окутает паутиной,
Прилепится, не смахнуть...
И тут же с погодою неповинной
Клянешь неповинный путь,

И дождь и закатную прожелть света
И мыслей неясный строй...
Бывает, — и попросту значит это—
Устала и день сырой.

Но тучи, обирая гуртом овечьим,
Над крышами ветер бьет.
А с ветром весенним приходят встречи,
Как ладожский синий лед.

Все хлестче, все жестче, — ладонью, плетью...
Ну, как бы я знать могла,
Что выйдет единственный в целом свете
Навстречу из-за угла.

Шагнет мне навстречу и пальцы тронет.
И улица — вмиг не та...
Так вот она, собранная в ладони,
Весенняя теплота.

А прежние люди, дома и вещи
Прикрыты глухой стеной.
Асфальты, умытые лаком, блещут
Под влажною пеленой.

Из тучи ползут огневые спицы,—
Прощального солнца вид...
Из розовой тучи летит не птица,
А счастье мое летит...

ГОРЬКИЙ В БОРЬБЕ ЗА ЯЗЫК

В. Гофман

I

В ряде критических выступлений, начиная с появившейся в альманахе „Год шестнадцатый" статьи „О прозе" и далее в статьях: „Письмо Серафимовичу", „О языке", „Беседа с молодыми" и др., Горький оставил нам как бы литературное завещание и в основном программу творческой учебы социалистического писателя. И в этом завещании на первом плане — конечно, не случайно — оказались вопросы языка.

С классическим мастерством владевший литературным словом, проникший в самые глубокие тайны стиля, Горький в последние годы жизни поднял и возглавил борьбу против „словесного хлама", за высокое качество литературы, за культуру языка.

Всякий раз, когда начинается новая большая глава истории литературы, заново встает вопрос о языке писателя. А этот вопрос органически тесно связан с вопросами стиля словесного искусства. С пушкинского времени проблема литературного языка, проблема, как писать, никогда не стояла так остро и не требовала так настоятельно принципиального разрешения, как в наши дни. И мы теперь можем в полной мере оценить значение спасительной тревоги, своевременно прозвучавшей в статьях Горького по поводу искривлений языка литературы, ошибочных стилистических принципов и забвения подлинной роли слова.

Высказывания Горького о языке не было научно оформленными построениями теоретика-лингвиста; это были наблюдения и выводы старого опытного мастера, писателя-практика, превосходно владеющего своим искусством и кровно заинтересованного в судьбах советской литературы. Всегда и всюду неутомимый и беспокойный искатель, страстный борец-революционер, Горький взялся, когда этого потребовала жизнь, за „несвойственное" ему оружие литературного критика и филолога не для отвлеченной академической полемики, а для борьбы, насыщенной большим политическим содержанием. Вот почему и тема — Горький о языке, Горький в борьбе за язык литературы — не просто одна из академических тем.

Это боевая тема, значение которой в свете основных задач, стоящих перед нашей художественной литературой, далеко выходит за пределы частных и второстепенных вопросов.

II

Для правильного понимания сущности горьковских высказываний о языке нужно прежде всего отказаться от ошибочного представления, что Горький брал под обстрел просто те или иные отдельные явления языка отдельных

писателей и даже отдельные слова и обороты речи, раздражавшие его или казавшиеся ему безграмотными. Так у Панферова-де его возмутил глагол „скукожиться“ и т. п., а, например, у Белого выражение „мырзать носом“...

Неизмеримо важнее, что Горький во всю ширь развернул общий вопрос о языке нашей литературы.

„Прилагаемые заметки рассчитывают на внимание к ним со стороны т.т. литераторов и критиков. Заметки эти — результат долговременных наблюдений над процессом роста нашей литературы и вместе с этим — над процессом засорения ее словесным хламом. Мне кажется, что второй процесс принимает размеры угрожающие и что я обязан выступить с доказательством этого факта. Почему — я? По праву квалифицированного работника с долголетним стажем в его „мастерстве“ и потому еще, что наша критика недопустимо односторонняя. Занимаясь почти исключительно преподаванием социально-революционной педагогики, она не учит молодых литераторов „мастерству“... ...Основным материалом литературы является слово, оформляющее все наши впечатления, чувства, мысли. Литература — это искусство пластического изображения посредством слова. Классики учат нас, что чем более просто, ясно, четко смысловое и образное наполнение слова — тем более крепко, правдиво и устойчиво изображение пейзажа и его влияние на человека, изображение характера человека и его отношения к людям. Критика недооценивает значения слова, как основного материала литературы. Ниже я постараюсь доказать, к чему это ведет и как вредно влияет на молодых литераторов, позволяя им писать неряшливо, неосмысленно, даже безграмотно... ...Чему же могут научиться молодые „начинающие“ литераторы, видя в книгах „старейших богатырей“ словесное фокусничанье, малограмотное и хвастливое сочинительство, явно безуспешные потуги на „оригинальность стиля“... („О прозе“).

Так поставил вопрос Горький и недвусмысленно подчеркнул эту принципиальную постановку вопроса в „Открытом письме Серафимовичу“ по поводу дискуссии о романе Панферова „Бруски“.

Таким образом, вопрос о языке был поставлен как вопрос о качестве литературы, т. е. „искусства пластического изображения посредством слова“. Горький подошел к языку именно с этой точки зрения как к материалу художественной литературы и средству стиля. И здесь-то следует предостеречь от другого ошибочного представления, широко распространившегося еще во время дискуссии о языке, поднятой в связи со статьями Горького. Согласно этому наивному представлению, дело сводилось к вопросам грамматики. Вопрос о языке литературы был кое-кем из писателей и критиков истолкован как вопрос элементарной грамотности — и только! С ученическим усердием иные писатели и критики стали вдруг уличать друг друга в грамматических ошибках и в неправильном словоупотреблении, полагая, что они разрешают проблему языка литературы.

Между тем, очевидно, что вопрос был поставлен гораздо глубже: не о грамотности вообще, а о писательской, художественной грамотности, не о литературном языке вообще, а о языке художественной литературы, и не столько о грамматике и лексике вообще, сколько о стиле речи, об определенных способах художественного выражения, — вот о чем говорил Горький. Именно в этой плоскости он поднял вопрос и разрешал его, анализируя конкретный материал — лексику, фразеологию, метафорическое словоупотребление. Он ясно указал на проблему „словесного отбора“, которая стоит перед каждым писателем:

„Слово — одежда всех фактов, всех мыслей. Но за фактами скрыты их социальные смыслы, за каждой мыслью скрыта причина: почему та или иная мысль именно такова, а не иная. От художественного произведения, которое ставит целью своей изобразить скрытые в фактах смыслы социальной жизни во всей их значительности, полноте, ясности, требуется четкий точный язык, тщательно отобранные слова" („Беседа с молодыми").

Впоследствии придется еще вернуться к этим мыслям об „отборе", а сейчас заметим, что Горький решительно подчеркнул его значение: „Литераторы наших дней крайне плохо понимают необходимость такого отбора, и это резко понижает качество их произведений" — и недвусмысленно указал на „упрямые попытки лентяев и двоедушных хитрецов замять спор, сведя его к вопросам грамматики, тогда как в нашей стране спор о качестве словесного искусства имеет определенный, глубоко социальный смысл" (там же).

III

Еще одно глубоко неверное представление, на котором успокоились „лентяи" и спекулировали „двоедушные хитрецы", стремившиеся „замять спор", заключалось в том, что Горький-де выступил как „пурист", как безоговорочный сторонник старого „классического" литературного языка и враг каких бы то ни было нововведений, не желающий признать права нового „языка революции", идущего на смену „прилизанному" и чопорному языку старой дворянско-буржуазной литературы.

В этой „концепции" сплошь все неверно. Но всего нелепее мысль, что Горький стоял за то, чтобы писать „по-старинке", и недооценивал задачи организации *нашего* литературного языка. Напротив, он с величайшей энергией выдвинул эту задачу, разъясняя, что борьба за отточенный язык — это борьба за орудие культуры.

„В числе грандиозных задач создания новой социалистической культуры перед нами поставлена и задача организации языка, очищения его от паразитивного хлама. Именно к этому сводится одна из главнейших задач нашей советской литературы"... („О языке").

„Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры" (там же).

Литературные задачи требуют тщательно обработанного языка, способного наиболее понятно для всех и наиболее точно и полно реализовать любую мысль писателя. И с этой точки зрения необходимо, конечно, широчайшим образом использовать историческое наследство, все его явные и скрытые ресурсы. Отсюда напоминания о значении учебы у „классиков" и в области языка, указания на важность бережного и любовного, но, конечно, критически осмысленного отношения к литературно-языковой традиции, игнорирование которой привело бы просто к распаду нашего языка и литературы.

Таким образом, задача заключается в том, чтобы надлежащим образом использовать богатейшее литературно-языковое наследство. Использовать — чтобы двинуть дальше развитие языка! В чем заключается процесс этого развития? По какому пути движется язык?

Язык социалистической литературы должен быть подлинно национальным, действительно народным, близким и доступным широчайшим массам и вместе с тем *литературно-обработанным*. Ведь от писателя тре-

буется „чуткий, точный язык, тщательно отобранные слова". „Именно таким языком писали „классики", вырабатывая его постепенно в течение столетий. Это подлинно литературный язык, и хотя его черпали из речевого (т. е. разговорного, бытового, *В. Г.*) языка трудовых масс, он резко отличается от своего первоисточника, потому что, изображая описательно, он откидывает из речевой стихии все случайное, временное, непрочное, капризное, фонетически искаженное, не совпадающее по различным причинам с основным „духом", т. е. строем общеплеменного языка" („Беседа с молодыми").

Следовательно, во-первых, национальный литературный язык, который строится на основе разговорной речи народных масс, не тождественен „просторечью", разговорно-речевой „стихии" с ее пестротой и разноголосицей, с ее структурной недостаточностью. Во-вторых, взяв за основу уже выработанные, в процессе литературной практики оставшиеся закрепленные формы языка, его строй и словарь и черпая из неиссякаемого источника — „речевого языка трудовых масс", мы должны развивать, оттачивать литературную речь в соответствии с общественными потребностями, запросами нашего сознания. Вот первый из основных тезисов Горького. Стоит остановиться на нем, — не только потому, что он насыщен большим и сложным содержанием. Из этого основного положения вытекают и важнейшие практические выводы. Здесь — один из центральных узлов полемики вокруг языка, застрельщиком которой выступил Горький.

Но прежде чем обрисовать вкратце конкретное содержание этого тезиса, следует обратить внимание на следующую весьма существенную черту.

В противоположность старой лингвистике и позиции, занятой некоторыми нашими писателями, Горький поставил вопрос о языке в связи с мировоззрением людей, которые этот язык творят. И не с индивидуальным мировоззрением отдельного писателя и не с абстрактно-неопределенной психоидеологией человека „вообще", человека с большой буквы, но всякий раз с конкретно-историческим, классовым (поскольку речь идет о классовом обществе) типом сознания. Старая лингвистика и литературоведение рассматривали обычно язык в отрыве от конкретных исторических условий его развития, от реального движения общественного сознания в целом, хотя нельзя сказать, чтобы не было разнообразных, сменявших друг друга тщетных попыток подойти с идеалистических позиций к установлению реальных связей языка с идейным наполнением речи. Проблема, однако, почти не двигалась с места, пока к вопросам языка не обратились с диалектико-материалистической позиции. Следуя за классиками марксизма, Горький настойчиво указывал на взаимозависимость, которая исторически существует между данным языкотворчеством, его направлением и его качеством и качественно определенным мышлением. Так, в статье „О языке" он анализировал связь языкотворчества с миросозерцанием феодально-дворянского класса, буржуазии, в частности российского купечества, и мелкой буржуазии — мещанства, причем в конкретных исторических условиях их существования.

В другой статье Горький показал, например, что вопрос о том, как думает крестьянин, имеет самое непосредственное отношение к вопросу о его языке и о том, как писать.

Вполне понятно, что это положение о непосредственной связи языка с определенным общественным сознанием, развивающимся в конкретных исторических условиях, должно было сыграть и сыграло чрезвычайно важ-

ную роль и при решении вопроса о засорении языка, и при определении направления, в каком должна двигаться организация нашего литературного языка. Потребности общения в связи с запросами нашего сознания, которое отражает и организует самую передовую — социалистическую — общественную практику, — вот руководящий критерий для организованного воздействия на литературно-языковый процесс.

IV

Действенность языка предполагает не только абсолютную точность, но и яркость, доходчивость, хотя, конечно, и яркость и доходчивость языка тоже являются понятиями с исторически изменчивым содержанием.

С точки зрения сообразности и соразмерности Горький на материале текущей литературы конкретизировал содержание своего основного тезиса, о котором говорилось выше.

Прежде всего по нашумевшему вопросу о языке литературном и „о языке революции", о языке прилизанном и о „рогатом", „нутряном" — в связи с вопросом о диалектизмах (провинциализмах") в литературной речи. Уже в статье „О прозе" Горький поставил этот вопрос принципиально и резко:

„Почему нужно писать „вечерняя серина"? „Скукожился"? Это у Панферова такое же любимое словечко, как у Гладкова — „сбычился". Почему трясогузку надо переименовать в „трясуху"? В некоторых местностях нашей страны трясуха — лихорадка, малярия. Местные речения, „провинциализмы" очень редко обогащают литературный язык, чаще засоряют его, вводя нехарактерные, непонятные слова. Панферов пишет, как слышал: „проклит" вместо „проклят". „Проклит" — характерно для страны, в которой ежегодно церковь проклинала еретиков, бунтовщиков, атеистов и где миллионы сектантов сами проклинали антихристову власть церкви. Все это — уже не мелочи, когда их так много, и все это с моей стороны — не „обучение грамматике", как думают некоторые молодые писатели. Мы должны добиваться от слова наибольшей активности, наибольшей силы внушения, — мы добьемся этого только тогда, когда воспитаем в себе уважение к языку как материалу, когда научимся отсевать от него пустую шелуху, перестанем искажать слова, делать их непонятными и уродливыми".

„Местные речения" — диалективизмы, т. е. слова крестьянских говоров, вовсе не призваны заменять собою слова литературно-национального языка ни с точки зрения потребностей общения — они затрудняют его, ибо мало понятны, ни с точки зрения требований мысли — они „мешают ясности изображения", ни с точки зрения эффективности языка — они очень редко способны придать фразе „силу и убедительность".

Еще резче и более категорично высказался Горький в „Открытом письме к Серафимовичу" („Литературная газета" № 17, 1934 г.) и в заметке „По поводу одной дискуссии". Поводом послужило обсуждение — устное и в печати — романа Панферова „Бруски", в частности два писательских выступления Ф. Панферова, резко полемизировавшего с Горьким. На этот раз с обеих сторон были полностью сказаны все слова, поставлены все точки над и. Но если после этого спора не осталось никаких неясностей, то это в значительной мере объясняется тем, что причина, столкнувшая две непримиримые точки зрения, заключалась в полностью созревших к этому времени определенных тенденций внутри литературного процесса.

Нужно напомнить, что после Октябрьской революции, в особенности в эпоху НЭПа, в известной части советской литературы выступили и стали укрепляться тенденции к „освежению" литературного — доставшегося по наследству — языка революционными элементами, „пролетарской и крестьянской" „стихийной" силой и „простотой". Несомненное влияние оказали пролеткультовские идеи. Странным образом перекликались с ними отголоски футуристических замыслов коренной реформы „замызганной" „импотентной" (именно такая терминология была в ходу у футуристов типа Крученых) литературной речи. Впрочем, пролеткультовские и футуристические идеи роднило мелкобуржуазное начало, определившее черты сходства и близости между ними.

Появилась на свет наивная, но невежественная и вредная теорийка, согласно которой русский литературный язык объявлялся порождением эксплоататорских классов — помещиков и буржуазии. Трудящиеся массы по мнению этих „теоретиков" не участвовали в его создании и по существу не имеют с ним ничего общего: у них свой, „народный", демократический, не навязанный сверху дворянскими писателями, во главе с Пушкиным, а „нутряной", доморощенный язык. Кое-кто объявил даже, что синтаксис придаточного предложения, сложно-подчиненная структура речи, характерная черта литературного языка, — есть не что иное, как искусственная стена, воздвигнутая эксплоататорами для затруднения доступа к смыслу, и что эту стену пора разрушить. Да и весь литературный язык оказался дискредитированным с этой точки зрения.

Внутри художественной литературы развивались тенденции, которые привели с течением времени к серьезной опасности. Процесс засорения словесным хламом принял, по выражению Горького, размеры угрожающие.

Что же конкретно противопоставлялось литературному языку? Какие элементы были призваны „революционизировать" речь писателя? Во-первых, это крестьянский язык, элементы крестьянских говоров; во-вторых, язык „мещанства", элементы, характерные для речи городской мелкокультурной мелкой буржуазии; в-третьих, люмпен-пролетарское арго, в особенности элементы, идущие от воровского жаргона („блатная музыка"); в-четвертых, разнородные, профессионально-производственные „языки" и, в-пятых, индивидуалистическое „словотворчество", как пережиток футуристических и некоторых других литературных принципов.

Эти элементы — фонетические, морфологические, лексические и фразеологические — широкой волной вливались в литературу то в виде речей персонажей, то в форме так называемого сказа, т. е. повествования от имени рассказчика, то, наконец, совершенно обнаженно, без каких-либо специальных мотивировок — в изложении от лица автора. Иной раз читатель недоуменно спрашивал себя: на каком языке это написано? И на всякий случай брал с полки словарь Даля...

Здесь нет места для развернутого доказательства, что наводнение национально-литературного языка элементами диалектов и всяческих арго ничего подлинно-революционного в себе не содержит. Национальный литературный язык создавался под непосредственным и глубочайшим воздействием речетворчества трудовых народных масс. Расшатывать нормы этого языка — в особенности под влиянием диалектическим и арготическим — это значит попросту портить русский язык.

Что представляет собой язык крестьянства в противопоставлении национальному языку? В наших условиях в особенности — это язык

отсталых слоев деревни, речь, соответствующая отсталому типу сознания. Что такое пресловутые „комсомольский“ и „рабочий“ языки в противопоставлении национальному русскому литературному языку, которым писал Ленин и пишет Сталин? Это особенности речи отсталых представителей комсомольской рабочей массы. Их речь не содержала в себе ничего действительно революционного.

Все подобные элементы несут на себе неизбежно печать языковой обособленности и ограниченности, тогда как развитие языка в условиях социалистического общества должно итти и идет по пути максимального преодоления обособленности и ограниченности — всякой узкой идиоматичности. Мы кровно заинтересованы в развитии единого и общего, подлинно-национального языка и в укреплении, а не расшатывании его норм, чем бы это расшатывание ни мотивировалось — „эстетическими“ ли требованиями или мнимо революционным лозунгом нового „языка революции“.

Именно этот не очень свежий лозунг, таящий в себе вотум недоверия национальному литературному языку, был открыто провозглашен писателем Ф. Панферовым на дискуссии в Москве в январе 1934 года („Вечерняя Москва“ 19 января 1934 г.). Панферов сказал прямо и открыто о том, что думали и высказывали и в прежние годы, но смутно и нерешительно. „В своем заключительном выступлении тов. Панферов, — писала „Вечерняя Москва“ в отчете о дискуссии, — заострил вопрос о языке советской художественной литературы. Автор „Брусков“ считает, что у нас в последнее время много говорят о языке, но никто не говорит о языке революции. Эта тема совершенно выпадает из поля внимания критиков: они предпочитают рассуждать о языке Бунина, Толстого, других классиков, но не замечают нового языка, созданного революцией“.

„Это вовсе не хорошо, это преступно, ибо это есть именно поощрения литературного брака“, — ответил Панферову Горький и тут же ядовито заметил, что „образцов нового языка т. Панферов не привел, не остановился на защите права своего пользоваться неясным словом „скукожился“, утверждая, „что это слово употребляют миллионы“... (этот глагол встретился в стихах В. Хлебникова; словаризован „Опытом областн. Великор. Словаря Ак. Н. 1852 г. и Далем, как упалектизм — первым словарем показан как Костромск., а вторым, как Тульск. *В. Г.*). „Разумеется, что не стоило бы спорить по поводу включения в литературный язык одного уродливого слова. Но дело в том, что у т. Панферова, несмотря на его бесспорную талантливость, отношения с литературным языком вообще не благополучны. Он почему-то думает, что над русской литературой все еще тяготеет словарь Даля, который вообще не тяготел над ней, и он как будто забыл, что литература наша обладает богатым языковым материалом „народников“, а также лексиконами таких своеобразных „стилистов“ как Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков, Лесков, Г. Успенский, Чехов. С этим прекрасным наследством наши молодые писатели плохо знакомы и как будто не хотят знакомиться, удовлетворяясь такими пошлыми образцами „словотворчества“, как, например, „катись колбаской“, „дай пять“ и т. д.“ (По поводу одной дискуссии).

Указание на богатейшую языковую традицию Горький противопоставил бескультурью мнимореволюционного „новаторства“. Очевидно, что Панферов понимал под „новым языком“, „созданным революцией“, не закономерное развитие русского литературного языка после победы Октября и в годы развернутого социалистического строительства, а нечто другое — такие

лингвистические явления, которые отнюдь не являются ни новыми, ни тем более революционными. О них-то как раз и шла речь выше.

Выступивший в защиту языковых принципов Панферова А. Серафимович объявил („О писателях „облизанных" и не „облизанных" — „Литературная газета", № 13, 1934 г.):

во-первых, право советского писателя на „необлизанный" язык, на „стихийную речь", не подчиненную нормам общелитературного языка;

во-вторых, признание „необлизанного" языка Панферовского романа „Бруски" литературной удачей, причем в языке Панферова он усматривает удачное выражение „корявой", здоровой мужичьей силы, той „силы, которая свойственна мужику"... „Эта сила тоже корявая, тоже с этакими штуками"...

в-третьих, в этом „необлизанном" языке предлагал видеть признак определенного стиля, присущего, в частности, Панферову.

Горький дал совершенно блестящий ответ Серафимовичу:

„Разрешите напомнить вам" что... культурно-политическая, талантливо-последовательная работа партии Ленина — Сталина направлена именно к тому, чтобы вытравить из сознания мужика эту его, хвалимую всеми „силу", ибо сила эта есть в основе своей не что иное, как инстинкт классовый, инстинкт мелкого собственника"... „Я решительно возражаю против утверждения, что молодежь может чему-то научиться у Панферова, — литератора, который плохо знает литературный язык... Прошу понять, что здесь речь идет не об одном Панферове, а о явном стремлении к снижению качества литературы".

„Я спрашиваю вас, Серафимович, и единомыслящих с вами, возможно ли посредством идиотического языка, образцы коего даны вами, изобразить героику и романтизм действительности, творимой в Союзе социалистических советов. Нам нужно вспомнить, как относился к языку Владимир Ленин. Необходима беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна четкая идеология.

Итак, вопросы языка, вопросы лексики — это вопросы идеологические. Язык „мужицкой славы" — всячески чуждый нам язык. Не „идиотический" — обособленный и ограниченный, а национальный язык — общий, литературно-обработанный, имеющий богатую традицию, корреспондирующий с другими высокоразвитыми литературными языками, движущийся по путям интернационального схождения, должен быть материалом и оружием нашей литературы, языком нашего писателя.

Позиция Серафимовича и его единомышленников — апология языка „мужицкой силы", „стихийной речи", ворвавшейся в литературу, — не что иное, как народнически-романтическая идеализация крестьянского языка. И эта глубоко ошибочная идеализация недалека от недоверия к литературному языку, недалека от проповеди взрыва национально-литературного языка, его системы и словаря, сложившихся в историческом процессе преодоления „стихийности".

Есть люди, которые не понимают глубокого различия в условиях и в качестве процесса национально-языковой консолидации в эпоху социалистической революции и строительства бесклассового общества.

Борясь против тенденций к обособлению литературного языка от народной речи, против дворянско-буржуазной несвободы развития литературного языка, народники в своем демократическом противодействии

господствовавшим классам не могли избежать идеализации крестьянского сознания и соответственно форм крестьянской речи, роли последних в организации литературного языка и стиля. Отсюда — упрощенное понимание некоторыми литераторами народного языка как „простонародного". Свойственный некоторым народникам натурализм стиля оказался и в их языке: они подбирали, подчеркивали диалектические идиоматические черты, всяческую „простонародность" речи. Сознание народников отразило с мелкобуржуазной демократической позиции противоречия языковых отношений в условиях несвободного и относительно неширокого развития национального языка.

В наших общественных условиях ничто не препятствует свободному и широкому развитию литературного языка, ставшего достоянием народных масс.

Раскрепощенный революцией от всякой сословно-классовой ограниченности, национально-литературный язык тем самым вышел на дорогу самого демократического развития как универсальная форма социалистического сознания. Естественно, что в этих новых исторических условиях утратила всякий смысл борьба за демократическое „обновление" литературного языка путем противопоставления ему остатков классовых и групповых языков, пережитков крестьянской „стихийной" речи, пресловутого „комсомольского" или „рабочего" языка и т. п.

Задача заключается, повторяем, в максимальном преодолении, снятии всяческих проявлений языковой обособленности там, где для этого имеется реальное основание в виде национального языка. Задача, следовательно, заключается в осуществлении теснейшей, подлинно-всенародной языковой консолидации — невозможной при капитализме, и потому-то Горький вслед за Лениным призвал литераторов к укреплению, к очищению нашего языка от „словесного хлама". Только при условии неустанной бдительности и заботы наша литература может стать действительно общенародной, общепонятной по языку.

С глубоким проникновением в жизнь слова, в историческую динамику языка Горький писал: „Теологи з а с о р и л и очень много слов, осмысленных ложью: б о г, г р е х, б л у д, а д, г е е н н а, с м и р е н и е, к р о т о с т ь и т. д. Лживый смысл этих слов разоблачен, и хотя скорлупка некоторых, например слова „ад", осталась, но наполняется иным, уже не мистическим, а социальным смыслом. Остаются в силе такие церковные словечки, каковы: лицемерие, двоедушие, скудоумие, лихоимство и множество других словечек, коими, к сожалению, утверждается бытие фактов. Поэтому один из корреспондентов моих, утверждая „необходимость изгнать из языка церковно-славянские слова", стреляет мимо цели: изгонять нужно прежде всего постыдные факты из жизни, и тогда сами собой исчезнут из языка слова, определяющие эти факты. В старом славянском языке все-таки есть всякие добротные и образные слова, но необходимо отличать язык церковной догматики и проповеди от языка поэзии. Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и „Жития" его остаются непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца, и вообще в старинной литературе нашей есть чему поучиться" („О языке").

Таков ответ Горького литераторам, которые хотят реформировать, но не хотят учиться, не знают истории великого своего языка, законов его развития, и выступают в легкой, но незавидной роли Иванов, родства не помнящих.

V

Общие вопросы языка Горький ставил и решал в непосредственной связи со специфическими задачами художественной литературы.

Отвергая „обновление" литературного языка провинциализмами, он, однако, допускал в известной мере использование особенностей разговорного разноречия, в определенной функции и с определенным отбором. Одно дело речь автора-повествователя, другое дело речь персонажа:

„Само собой ясно, что р е ч е в о й язык остается в речах изображаемых литератором людей, но остается в количестве незначительном, потребном только для более пластической, выпуклой характеристики изображаемого лица, для большего оживления его. Например, в „Плодах просвещения" у Толстого мужик говорит: „Двистительно". Пользуясь этим словом, Толстой как бы показывает нам, что мужику едва ли ясен смысл слова, ибо крайне узкая житейская практика крестьянина не позволяет ему понимать действительность как результат многовековых сознательных действий воли и разума людей" („Беседы с молодыми").

Здесь превосходно скрыт реалистический метод литературно-художественного использования нелитературного слова в функции речевой характеристики. Слово „двистительно" вовсе не заменяет собой слова „действительно" и не претендует на полноправие в литературном языке. Это слово не литературного языка, а языка литературно-художественного произведения, что не одно и то же. Во-вторых, это слово вовсе не дано как элемент натуралистического воспроизведения речи „натурального" крестьянина из такой-то местности. Оно выступает в плане о б о б щ е н н о й характеристики сознания крестьянина через определенную, не обобщенную черту его речи. И дано это слово как эквивалент многих других ему подобных слов, встречающихся в крестьянской речи. Натурализм стремится к протокольной передаче эмпирической пестроты явлений. Реализм ищет обобщений. Поэтому „натуралист" берет и для речевой характеристики — без внутреннего отбора — возможно более полное сочетание всех внешних „особенностей", а „реалист" довольствуется немногими типическими чертами, говорящими о „сущности явлений".

Горький разъяснял: „Я не натуралист, я стою за то, чтобы литература поднималась над действительностью, чтобы она смотрела сверху вниз на нее, потому что задача литературы заключается не только в отражении действительности. Мало изобразить сущее, необходимо помнить о желаемом и возможном. Необходима типизация явлений. Брать надо мелкое, но характерное, и сделать большое и типичное, — вот задача литературы"...

Горький возражает, например, против „реализма" Гладкова: „Гладков — „реалист". Реализм он понимает весьма упрощенно, как явствует из всего отмеченного выше, а особенно — из речей героев его. Они у него... разговаривают таким языком:

„Посади меня за хороший харч, я зареву сразу на обои дыры".

„А зад у вас тяжелее башки". „Оглобля ваша давно уже чешет вас по заду, но только зад ваш — безмозглый..." „выбирай Матрену Красноармейку... еще мужнину вонь не выдуло. Какая в бабе сила! Ни пасти, ни власти... У нее борода не на месте..."

„Это говорят „мужики"... („О прозе").

Дело здесь, разумеется, не в натурализме и не в реализме, а в своеобразно преломленном принципе орнаментализма в языке. Этот принцип и

выглядит у Гладкова как „весьма упрощенное понимание реализма". На деле перед нами вычурный, фальшивый конгломерат языковых „характерностей", набранных отовсюду, а частично придуманных, чтобы вернее ошеломить читателя.

Протестует Горький и против разновидности более сложной, чем у Гладкова, того же принципа орнаментализма в языке романа А. Белого „Маски".

Общее свое отношение к принципу орнаментального языка Горький определил так же отчетливо, как и к натурализму: „Советский читатель не нуждается в мишуре дешевеньких прикрас, ему не нужна изысканная витиеватость словесного рисунка,— жизнь его исполнена эпической суровости и вполне достойна такого же эпически мощного отражения в литературе" („О прозе").

Очевидно, вся языковая и стилистическая работа советского писателя должна сообразоваться с основными художественными принципами, которым следует советская литература. Первый из них это — принцип социалистического реализма, предполагающий искание новых форм и выразительных возможностей, в которых нуждается индивидуальное своеобразие художественного замысла для своей полноценной реализации. Но с точки зрения социалистического реализма не всякое новаторство может быть оправдано, особенно в языке.

„Я возражаю против хлама придуманных слов и стою за четкий образ" („О прозе").

В другом месте Горький подчеркнул, что обогащение языка вызывается реальными потребностями развивающейся общественной практики, что писатель должен отбирать строжайшим образом „наиболее точные, меткие и наиболее осмысленные слова из творимой народом речи", из „стихийного потока речевого бытового языка" (это значит, что нормы национального языка закрепляются в литературе) и что „искусственные, надуманные „новшества" в этой области так же бессильны, как и консервативная защита устаревших слов, смысла коих уже стерлись, выпали" („Беседа с молодыми").

„Простота и ясность языка", „слова, которые дали бы ясный и точный образ", — вот основная задача четкой техники, без которой невозможна четкая идеология" („Письмо Серафимовичу", „ О прозе").

Развернутый анализ конкретного содержания, которое вкладывал Горький в только что приведенную формулу, потребовал бы специальной статьи. Здесь же скажем только, что борьба шла, во-первых, с „мишурой дешевеньких прикрас" и с „изысканной витиеватостью словесного рисунка"; эта борьба по духу и содержанию аналогична знаменитой борьбе Пушкина за реалистическую простоту языка („Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями"... „Почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами"... (Пушкин).

„Основное мое намерение, — писал Горький, — сводится к желанию помочь начинающим писателям овладеть всей силой языка, возбудить в них любовь и бережное отношение к материалу, из которого строится книга".

На самом деле он сделал гораздо больше.

Одна из несомненных исторических заслуг Горького заключается в том, что он первый с исключительной ясностью и глубиной выдвинул проблему языка нашей литературы как насущный вопрос ее художественного качества и предуказал — теоретически и практически — пути разрешения этой проблемы в свете принципов социалистического реализма.

ПОИСКИ РЕШЕНИЯ

М. Майзель

I

Ленинград попрежнему продолжает занимать ведущее положение в области исторического романа и исторической повести. К писателям, давно пользующимся репутацией мастеров этого жанра, каждый год прибавляются новые имена. Не успел еще начаться литературный сезон, как на страницах „Звезды“ уже появились первые главы „Изумленного капитана“ Раковского — автора, молчавшего последние пять-шесть лет и теперь печатающего пространный исторический роман из эпохи Петра. Из писателей старшего поколения, впервые обратившихся к истории, можно назвать Вяч. Шишкова, недавно напечатавшего в том же журнале около десяти листов из третьей части романа о Пугачеве. Ольга Форш, внимание которой одно время не надолго было отвлечено вопросами современной действительности („Причальная мачта“), вновь выступила с двумя произведениями из времен Екатерины: мы имеем в виду роман „Казанская помещица“ и киноповесть „Пугачев“. Вообще Пугачеву „повезло“ в последнее время. Как видит читатель, в одном только истекшем году опубликовано три произведения, посвященные событиям крестьянской войны 1773—1774 гг.

Интерес к этой теме вполне объясним. Грозный костер пугачевского восстания разгорелся на рубеже двух столетий. Его пламя ярко осветило XVIII век. И добрая половина XIX века прошла под знаком испуга правящих классов перед призраком нового мятежа, которым все еще мерещился зловещий шум рушащихся дворянских усадеб. Ведь не случайно в арсенале самых крайних и сильно действующих средств, с помощью которых Наполеон хотел заставить Александра просить мира, имелась угроза поднять всенародное крестьянское восстание по типу пугачевского. Император французов, находясь в Москве, приказал заняться поисками документов о Пугачеве. Он был весьма заинтересован личностью этого выдающегося крестьянского революционера, за несколько десятков лет до того угрожавшего трону, на котором сидел теперь ненавистный Наполеону Александр. Русское дворянство не хуже Наполеона понимало все последствия такого шага. И решись на него Наполеон, весь исход кампании 1812 года мог бы оказаться совершенно иным. Дать широкое художественное изображение пугачевского „бунта“, художественно осмыслить его с позиций современной исторической науки, понять основные движущие силы этого могучего народного движения — какая благодарная и благородная задача!

При истинном таланте художник смог бы нарисовать грандиозную картину общественной жизни на очень важном этапе исторического развития нашей страны. Потрясения, вызванные крестьянским движением под талантливым руководством Пугачева, коснулись буквально всех социальных слоев тогдаш-

ней России. Современники наперебой рассказывают о том, какое и где производило впечатление „колебание государства", происходившее в результате движения Пугачева. Если там, в центре государства, в колебание пришел самый трон монархини и непритворный ужас охватил придворную знать, то в селах и деревнях тысячи и десятки тысяч подъяремных крестьян с надеждой ожидали прихода нового „царя", сулившего им свободу. Итак, вся Россия может быть показана сквозь призму пугачевских событий.

Только *советский* писатель может дать истинную картину событий 1773—1774 гг. Установление такого нового угла зрения сопряжено с большими трудностями. Дворянская и буржуазная историография немало потрудилась над тем, чтобы представить Пугачева в виде „крамольника", „душегубца" и „каторжника". Такое отношение к непокорному казаку с предельной выразительностью сказалось в знаменитых поправках, внесенных рукою венценосного цензора в „Историю Пугачевского бунта" Пушкина.

Начать с того, что Николай I предложил великому поэту изменить заглавие его исторического труда. Первоначальное наименование — „История Пугачева" — Пушкину было предложено изменить на „Историю Пугачевского бунта". Именно это название собственноручно вписал Николай в указ о выдаче Пушкину денег на печатание его исторического сочинения.

„Государь император переменил слова указа не потому, что тут полагалась ошибка, а рассуждая, что преступник, как Пугачев, не имеет истории",— писал чиновник министерства финансов Вронченко гр. Канкрину, объясняя изменения в указе.[1]

Пугачев не может иметь даже истории! В соответствии с этим указанием многие десятилетия прилежно сочинялись многочисленные жизнеописания всякого рода успешно и безуспешно охотившихся за Пугачевым генералов, но сам Пугачев не должен был иметь своей истории. Так вопреки жизни, вопреки действительности фальсифицировалась историческая наука, как правило, абсолютно ложно изображавшая социальную природу грандиозного крестьянского движения, смазывавшая и искажавшая генеральные цели восстания, его общественный смысл, жизнестойкость, политическую направленность.

„История Пугачева" Пушкина является одним из ранних по времени откликов на грозные события 1773—1774 гг. Очень многие из записей Пушкина прочно вошли в историографию движения. Проницательности великого поэта было достаточно для того, чтобы правильно ощутить размах и глубину потрясения, произведенного Пугачевым. Пушкин нащупал те основные движущие силы, которые определяли направление мятежа и главные точки его приложения. Несмотря на то, что перед поэтом стоял всегда грозный для него призрак мужика, взявшегося за топор и угрожающего всему дворянскому классу, он не мог не отдать дани уважения вождю народного восстания. Это видно из сличения первоначального текста некоторых мест „Истории" с ее окончательным текстом. Как известно, рукопись прошла предварительный просмотр у царя, и Николай брезгливо испещрил ее рядом не предвещавших ничего хорошего „NB". И тогда Пушкин меняет эпитеты, что сразу придает другое звучание первоначальному начертанию.

Пушкин пишет: „Так *бедный колодник*, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение".

---

[1] См. „Литературное наследство", XVI—XVIII. Статья Т. Зенгер: „Николай I — редактор Пушкина".

Но в тот же час Николай I ставит сбоку сакраментальное „NB“ и в печати появляется: „Так *темный колодник*...“ и т. д.

Уже в самом конце „Истории“, подводя итог всем „злодеяниям“ Пугачева, уже, быть может, внутренне произнеся для себя знаменитую фразу: „Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный“, Пушкин не может скрыть своего изумления перед сломленным Пугачевым. И тогда из-под пера поэта-историка вырывается неожиданно: „Суворов с любопытством расспрашивал *славного* мятежника о его военных действиях и намерениях...“

Но в тот же час Николай I ставит сбоку сакраментальное „NB“ и в печати появляется: „Суворов с любопытством расспрашивал *пленного* мятежника...“ и т. д.

Так властно диктовала дворянская монархия свою „установку“ величайшему и правдивейшему из русских художников!

Напрасно стали бы мы искать всесторонне правильного с нашей точки зрения понимания пугачевской эпохи в „Капитанской дочке“ или „Вадиме“ Лермонтова. Сопоставлением этих двух произведений мы ни в малой мере не хотим провести между ними знака равенства. Юношеская, полная романтической условности повесть Лермонтова, конечно, даже в сравнение итти не может с реалистически совершенной „Капитанской дочкой“. Кардинально разнятся они между собою и в трактовке основных социальных конфликтов эпохи, в частности пугачевщины. Если у Пушкина решение конфликта намечается в плане гуманистического примирения классов-антагонистов, то для Лермонтова исключается самая возможность подобного примирения. Не потому, конечно, что он понимал политическую несостоятельность подобного выхода. Автор „Вадима“ в пугачевском движении видел, главным образом, разгул кровожадной черни, что не мешало, однако, молодому Лермонтову сделать центрального героя жертвой социальной несправедливости и даже окрасить некоторые его реплики в тона общественного протеста.

Словом, даже у таких гигантов художественной мысли, как Пушкин и Лермонтов, не говоря о плеяде второстепенных авторов, многократно писавших о Пугачеве, мы напрасно стали бы искать всестороннего и верного исторической правде изображения крестьянской войны, потрясшей устои дворянской монархии в конце XVIII века.

Классовая ограниченность (плюс цензура) неминуемо должна была сказываться и действительно сказывалась на всех произведениях дореволюционных писателей.

Вот почему именно на долю советских писателей пришлось решение этой благодарной и благородной задачи — художественно изобразить пугачевское движение, обрисовать типические характеры эпохи, дать почувствовать могучий ветер крестьянской революции, который заставил зашататься пышный и, казалось бы, незыблемый трон Екатерины.

II

Из трех указанных в начале статьи произведений, которые имеют темой историю Пугачева, в каждом намечается своя постановка проблемы. Например, у Шишкова с первой страницы начинаешь понимать, что вся эпопея будет развиваться в плане бытового повествования. Конечно, настоящее утверждение может оказаться ошибочным: сейчас напечатана не вся третья

часть, а лишь отдельные главы из третьей части, относительно которой мы не знаем даже, является ли они последней или роман будет иметь дальнейшее развитие. Но уже сейчас некоторые тенденции обнаруживаются достаточно ясно.

Бытовая интонация более всего характерна для напечатанных отрывков. Именно в описании быта, повседневья, в характеристиках, основанных на хорошем знании определенной среды, писатель чувствует себя сильным и уверенным. В особенности хорошо удаются Шишкову картины глухой провинциальной жизни, страшной своей вековой неподвижностью, жестокостью и обреченностью. Уже в ранних произведениях Шишкова заметно выделялись те, которые были основаны именно на такой тематике. И в „Емельяне Пугачеве" писатель в значительной степени пошел по этой линии, как бы освободив себя от обязанности решать большие проблемы, ставить узловые вопросы исторического развития, давать типические для эпохи образы. Такой подход определил, по крайней мере, для третьей части, вынесение на первый план и подробную разработку похождений ржевского купца Остафия Долгополова. Имя этого ловкого мошенника, проникшего в стан Пугачева и там выдававшего себя за посланника цесаревича, хорошо известно исторической науке и мемуарной литературе (см., например, упоминание об этом эпизоде у Покровского, а также „Записки" Рунича, напечатанные в „Русской старине").

Впрочем, надо думать, что Шишков и не претендовал здесь на какие-либо новейшие „открытия". Просто он положил в основу сюжетного развития вещи эпизод, который привлек его своей авантюрной красочностью. Но дело не только в этом. Следя за реализацией мошеннических планов героя, писатель смог развернуть широкую картину нравов провинциальной и частично московской жизни в конце XVIII века.

Хорошо сделана сцена, рисующая встречу Долгополова в Москве с раскольниками, их заинтересованность в разгорающемся восстании. Лаконичность соединяется здесь с настоящей художественной выразительностью. Едва-едва намеченные образы протопопа Саввы, купца Титова запоминаются своими несколькими выпуклыми чертами. Подлинную жизненную правдивость обретает и образ самого Долгополова, прекрасно показанного в обстановке новой для него среды, во всем диаметрально-противоположной его собственному облику.

Главы „Град Ржев", „Суд и расправа" написаны с той сочностью и колоритностью, которые характерны для Шишкова в его лучших вещах. Но ни яркость отдельных эпизодов и образов (купец Твердозадов, описание нравов воеводской канцелярии и портрет самого воеводы), ни правильно подмеченные черты общественного недовольства в различных слоях населения (правдоискатель Волосков, „осада" твердозадовской фабрики, московские раскольники) не спасают автора от блуждания по боковым путям темы.

Центральное место, занимаемое в рассказе пройдохой купцом, сюжетное и фабульное движение, которое в значительной степени определяется им же, освещение многих событий сквозь призму его восприятия, — все это сильно мешает Шишкову подняться до уровня широких обобщений, сказать новое слово и об эпохе и о причинах пугачевского восстания.

Бытовые понтоны, которые держат на поверхности повествование в первых из опубликованных глав, отказываются служить, когда писатель приступает к изображению непосредственно пугачевского движения, его участников и главарей. Однако бытового описания оказывается теперь недоста-

точным, ибо самая яркая жанровая сцена не всегда может объяснить корни движения, его классовую подоснову. Шишков же и в этих частях романа остается верен принятой художественной манере. Поэтому центральный образ Пугачева получился обедненным. Вождь крестьянского восстания изображается со стороны таких черт характера, которые отнюдь не являются решающими для понимания организаторской роли Пугачева в движении многих тысяч угнетенных крестьян, националов и заводских рабочих. И это при том обстоятельстве, что представители всех трех сословий нашли свое изображение в романе. В отдельных эпизодах они даже обрисованы художественно ярко.

„— Я слуга ее величества государыни Екатерины Алексеевны, — наклонясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул в его ухо подполковник Михельсон.

„— А-а, так, так. Слышу,— закричал и дед, возможно распрямляя спину.— Катерина-то соромно на престол садилась, через убийство. А муж-то ейный Петра-то Федорыч, бают, вот опять ожил... Аль не по нраву тебе слова мои? Ежели не по нраву — вели вешать али так убей, ты этому обучен...

„Глаза Михельсона все шире, шире и раскрылся рот.

„— Уведите прочь этого сумасшедшего, — не стерпев, приказал он.

„Старика взяли под руки, повели. Горбя спину, он волочил ноги, как паралитик, упирался, норовил обратить взор к Михельсону, кричал надсадно с хрипом:

„— А ты, барин, набольшой, вникни, не будь собакой, как другие прочие. Мы, слышь, мертвый народ. Никто за нас не ступится. Как есть мертвяки мы все от мала до велика...

„— Мертвые и есть... — подхватили старики. — Бездыханные... Ни на столько вздыху жисть не дает нам. Тьфу".

Но столь удачных и ярких бытовых сцен, которые косвенно так глубоко вскрывали бы жизнь, в романе не много. Большею частью они, эти бытовые сцены, трактуются слишком узко и носят, как правило, самодовлеющий характер.

Серьезных же попыток художественно осмыслить сложнейшие явления общественной жизни конца XVIII столетия в романе почти нет. Одновременно мы находим в нем художественно ошибочное истолкование некоторых исторических персонажей. В первую очередь наше утверждение относится к образу подполковника Михельсона. В третьей части этот образ истолкован Шишковым в соответствии с пониманием его дворянской и буржуазной историографией. Писатель оказался не в состоянии критически осмыслить роль Михельсона в карательной политике царизма.

Шишков не сумел выделить тех принципиальных черт характера, которые, будучи сложены вместе и освежены живой водой творческого воображения, образуют типическую фигуру. Не поняв этого, Шишков обрисовал Михельсона как сверхположительного героя. И произошло это единственно по причине слепого следования автора старым литературным источникам, всегда помпезно изображавшим сего бравого подполковника.

Рисуя Михельсона, писатель ничего не сделал для того, чтобы с помощью этого персонажа показать отношение к Пугачеву служилого дворянства. Та брань, которой время от времени разражается по адресу мятежного самозванца храбрый подполковник, мало что объясняет в поведении Михельсона как представителя вооруженного авангарда своего класса.

Там, где Пушкин, например, ограничивается лаконичной записью: „... башкирцы, под предводительством мятежного старшины, на него напали и сразились отчаянно; загнанные в болото, они не сдавались. Все, кроме одного, насильно пощаженного, были изрублены вместе с своим начальником", — Шишков развертывает многозначительную картину Михельсонова великодушия:

„Михельсон заметил: в версте от него разуваются пятеро солдат, лезут в глубокое болото, где, по пояс завязшие, два башкирца, молодой и старый. В руках по кривому ножу, бронзовые лица в крови, зубы оскалены в ярости.

„— Сдавайтесь. Бросайте ножи, — надвигались на них солдаты.

„— Вам я не сделаю худого, — кричал, подъехав, Михельсон. — Я начальник. Накормлю вас, отпущу к своим...

„— Шайтан, бачка, шайтан, — выплевывал старик. — Смертям будем себе делать, башкам крошить, сдаваться не будем...

„По знаку Михельсона солдаты со всех сторон бросились к башкирцам. Старик успел перерезать себе горло, молодой был схвачен. Но ни слова не говорил или не желал говорить по-русски, дрожал и озирался. Солдаты предложили ему хлеба, каши. Он тряс головой, шептал: „шайтан". Михельсон, подавая ему серебряный рубль, сказал:

„— Иди домой, свой дюрта.

„Башкирец швырнул рубль в траву, глядел на Михельсона зверем".

И дальше Шишков полностью доверяется словам Михельсона. Писателю даже не приходит в голову взять под сомнение гуманистическое велеречие бравого подполковника.

„— Я дивлюсь, господа офицеры, — говорил он глуховатым голосом, — я не могу понять, отчего такая жестокость в сих народах?.. Сами ведаете, попавшихся ко мне я не только оставлял без всякого наказания, но и давал им несколько денег и отпущал оных нехристей с манифестами и печатными увещаниями в их жилища. Удивляюсь..."

На протяжении всех опубликованных пока глав автор ни разу не пытается „разъяснить" своего героя, точно сливаясь с ним и удовлетворенно прислушиваясь к голосу „благородного героя".

Даже Пушкин в „Истории" оказался объективнее нашего автора, записав о Михельсоне: „Заводские и экономические крестьяне распущены были по деревням. Захвачено 25 пушек и множество запасов. Михельсон повесил двух главных бунтовщиков: башкирского старшину и выборного села Чесноковки".

— Позвольте, — скажут нам, — как можно сравнивать произведение научно-историческое с романом?

А мы и не собираемся сравнивать. Приведенные выписки из „Емельяна Пугачева" призваны показать, в каком направлении интерпретируется исторический факт и как неверное истолкование приводит к созданию ложного художественного образа.

„На сером жеребце, окруженный офицерами, ехал Михельсон. Мужественное, чисто выбритое загорелое лицо его с живыми серыми глазами было мрачно" (стр. 83).

„...Молоденький офицерик Щербачев незаметно даже послал Михельсону воздушный поцелуй: все они любили своего начальника за его храбрость, простоту, трезвость мысли..." (стр. 84).

„Михельсон с офицерами сели за общий завтрак.

„— Ну, как, красная девушка, чувствуешь себя? — обратился Михельсон к Игорю Щербачеву.

„— Ничего, господин подполковник.— Щеки молодого человека зарумянились, голубые глаза сияли. — Рад служить ее величеству и вам...

„— Добро... токмо и о матери своей подумывай, зря не лезь на рожон-то, — и Михельсон наложил ему из своей банки целое блюдечко свежего варенья. — На, красная девушка, полакомься...“ (стр. 91) и т. д., и т. д.

Так выглядит сей „славный“ усмиритель пугачевщины!!

Естественно возникает вопрос, насколько же удалось Шишкову изобразить другую линию в романе,— ту, которая характеризовала бы Пугачева и лагерь его сторонников.

Мы уже указывали, что установка на быт сузила перспективы романа. Это особенно сказалось в той его части, где автор пытается объяснить характер, причины и цели восстания Пугачева. Однако, удовлетворительно решить поставленные задачи автору пока не удалось. Правда, действие романа сейчас обрывается кануном взятия Казани. А именно после оставления Казани Пугачевым движение вступает в третью, самую страшную для существования империи фазу, — в фазу ярко выраженной крестьянской войны. В этот период основную массу, на которую опирался Пугачев, составляли мужики, с надеждой ожидавшие от Пугачева освобождения от ужасов крепостной зависимости. К изображению этого этапа восстания, как сказано, Шишков еще не приступил. Но у писателя было достаточно поводов и полная возможность очертить главные моменты крестьянской войны. Образ самого вождя движения намечен бегло и дан, главным образом, все в том же бытовом аспекте.

Образ получился ущербным, недостаточно рельефным и глубоким для понимания Пугачева как вождя движения огромного размаха. Поэтому иные колоритные сцены оказываются как бы не имеющими серьезной точки приложения — они последовательно раскрывают Пугачева то как отчаянного фантазера, то как человека повышенной чувственности, то как разудалого ушкуйника.

Вследствие этого, очертания фигуры центрального героя как вождя народного восстания получились совершенно расплывчатыми.

Очевидно, желая восполнить образовавшийся пробел, автор наметил интересный образ Салавата Юлаева — предводителя поднявшихся башкир и союзника Пугачева. Инонациональная линия восстания, более чем какая-либо другая, нуждалась в новом художественном истолковании. Вся без исключения старая историография и литература всячески третировала роль малых наций, примкнувших к Пугачеву. Для буржуазного историка и литератора масса иноплеменных соратников Пугачева именовалась обычно „сволочью“, и дальше этой лаконической характеристики дело не шло.

Приходится искренно пожалеть, что Шишков не углубил этой линии.

В романе Салават Юлаев получился очень литературным, книжным. Образ окончательно побледнел из-за того, что он дается на своеобразном лирическом фоне, создаваемом влюбленностью в Салавата восемнадцатилетней вдовы старшины Шаккур. Эта героиня насквозь фальшива.

Словом, инонациональная линия в романе проведена неуверенной рукой. Это еще больше мешает правильному пониманию событий. Для пугачевского движения вплоть до оставления Пугачевым Казани (под натиском Михельсона) более всего характерен казацко-инонациональный состав его участников. Смазывание этих кардинальных моментов обедняет всю вещь.

Снова надо сказать: может быть, наша критика будет кое-в-чем поколеблена после опубликования первых двух частей романа и его окончания. Но пока на основании известного читателю и довольно обильного материала можно с достаточной уверенностью говорить об отмеченных нами погрешностях.

III

У Ольги Форш проблема Пугачева ставится различно в „Казанской помещице" и киноповести „Пугачев". Киноповесть дает наиболее законченное в смысле социально-биографическом описание жизни Пугачева — от момента колодничества и бегства из Казани до трагически-торжественной казни на Болоте в Москве. Наконец, сценарий выгодно отличается ясно выраженной точкой зрения автора на Пугачева как вождя возмущенных народных масс. В противовес „Емельяну Пугачеву" Форш всячески выдвигает в киноповести моменты, подчеркивающие эту сторону его деятельности. Быт служит для писательницы только фоном, на котором рельефнее проступает общий облик Пугачева.

В „Казанской помещице" пугачевская линия, может показаться, проходит где-то в стороне от главной магистрали рассказа. На первом плане рисуется пышный двор Екатерины, игра придворных интересов, интриги вельмож, дворянская фронда, и среди всего этого одинокая и страстная натура того человека, о котором Ленин говорил, что он составляет гордость великороссов, — Радищев. Действительно, пугачевщина только в самых последних главах оказывается на передовой линии романа. Но, несмотря на это, у читателя с самого начала появляется ощущение грозных событий, происходящих где-то вдалеке от столицы, но имеющих для судеб империи решающее значение.

Так, вначале Форш хорошо передает это настроение, прибегая к несколько наивной символике, создающей, однако, нужную эмоциональную атмосферу:

„И, торжествующая, сопровождаемая большой свитой, сошла она вчера в сад хвалиться послу высоко бьющими фонтанами не похуже Версальских...

„Две аркады против большого дворца, канал, который соединяется с заливом, усыпаны букетом огней. Лампионы заложены в зелени, — иначе светляки-великаны. Пирамиды, храмы, боскеты, — все являет вид огнем воздвигнутых фигурных строений. Фонтаны, отражая огни, сыпали мелкой брильянтовой пылью.

„Какая сказка, какие миракли", — восторгался французский посол.

„Вдруг черный дым ужасающей копотью как на пожаре потянул на зрителей. Копоть чернила светлые платья дам и, забираясь глубоко в ноздри, вызывала смехотворное чихание...

„Окончилась сказка превеликим смрадом.

„И тут вот как раз возвещен был гонец с той ужасной реляцией: город Казань разорен. Губернатор со всеми командами заперся в Кремле. Пугачев похваляется: сжег Казань, иду на Москву".

Панический испуг двора перед угрозой мужицкой революции, к сожалению, недостаточно выразительно и недостаточно широко изображен Форш, о чем подробнее будет сказано дальше. Но даже эти поверхностные зарисовки двора в его реакции на Пугачева расширяют горизонты романа. Повествование перестает быть однолинейным. Из этих же соображений надо

признать правильным то уточнение, которое произвела писательница в отношении Радищева.

Радищев, данный как пламенный ненавистник деспотии и самовластия из рядов дворянства, в свою очередь раздвигает границы истории в романе.

И если бы образ Пугачева и массы, на которую он опирался, получил настоящее художественное воплощение, мы могли бы приветствовать новый роман Форш как крупное литературное явление. Однако этого не случилось.

Основной недостаток всех произведений о Пугачеве заключается в том, что они в передаче образа Пугачева (и его единомышленников) не поднимаются выше общеизвестных исторических представлений. Легко обнаружить, что персонаж при сопоставлении с историей не претерпевает того художественного перевоплощения, которому подвергся, например, образ Пугачева в „Капитанской дочке“ по сравнению с „Историей“. Нашим авторам мешает нетворческое следование и использование истории. Они невольно превращаются в популяризаторов, тогда как читатель ждет от них широкого художественного осмысления событий. Значит ли это, что исторический романист может пренебрегать фактами реальной истории? Отнюдь не значит. Но знание фактического материала еще далеко недостаточно для того, чтобы дать художественное, а не публицистическое произведение. Сопротивление материала в историческом жанре сильнее, пожалуй, чем в любой другой области литературы. Материал „противостоит“ своей достоверностью, историческим содержанием, от которого никуда не уйти, значением того или другого факта для общественного развития в прошлом и т. д., и т. д.

Искусство настоящего художника как раз в том и заключается, что он, оставаясь верным истории, умеет сделать незаметным собственно историю. В „Капитанской дочке“, например, скрупулезное следование Пушкина исторической правде весьма трудно проследить. Во всяком случае, он умел с гениальной непринужденностью оперировать фактами истории. Художественный вымысел звучал так же абсолютно правдоподобно, как и подлинная реальность.

Совершенно иначе обращаются с историей наши романисты. Они объяты благоговейным страхом перед документом и, если уж попадется им какой-нибудь характерный факт, то можно быть уверенным, что он без всякого изменения встретится и у Форш, и у Шишкова и, найдись сейчас третий автор, который заинтересовался бы Пугачевым, то и у него мы обязательно встретили бы эти выигрышные сведения.

Например, Пушкин пишет в своей „Истории“: „Увидя стройное войско, Михельсон... принял его... за корпус генерал-поручика и кавалера Декалонга, но вскоре удостоверился в истине“.

Действительно, это примечательный факт, свидетельствующий о военной жизнеспособности сил Пугачева: накануне он был разбит правительственными войсками, а на следующий день его отряды принимаются Михельсоном за регулярную воинскую часть.

Но наши авторы используют этот факт в абсолютной неприкосновенности, не пытаясь даже „вычитать“ в нем что-либо сверх того, что сообщил историк.

Шишков пишет: „Вдруг все увидели: в верстах в пяти на открытом месте темнеет огромный воинский отряд.

— Декалонг, — от радости подскочив в седле, закричал Михельсон. — Ребята. Корпус генерал-поручика Декалонга...“

Его почти дословно повторяет Форш, а оба по существу пересказывают запись Пушкина: „Близ деревни Лягушиной Михельсон, выйдя из леса, увидал на поляне в пяти верстах тысячи две его войск. И что же? Ведь обознался — за регулярный Декалонгова генерала корпус принял".

Такое же совпадение можно обнаружить между Форш и Шишковым в передаче эпизода с Петром Беницким („Казанская помещица") и Игорем Щербачевым („Емельян Пугачев").

Нет абсолютно ничего предосудительного в том, что авторы использовали факт, широко известный еще со времен Пушкина. Но сожаления достойно, что из этого факта не сделано выводов, он не использован в целях художественного освещения такого важного явления, как воинская дисциплина в отрядах Пугачева, с одной стороны, и стремительность пополнения этих отрядов людскими резервами, с другой.

У Форш художественное изображение пугачевского движения очень часто подменяется историческим конспектом, имеющим единственно только познавательное значение.

Между прочим, этот момент определяет в большой степени успех многих произведений на историческую тему. Наш читатель, лишенный достаточного количества интересных исторических сочинений, хроник, жизнеописаний, принадлежащих перу советских ученых, стремится исторической беллетристикой компенсировать отсутствие указанного рода литературы. Мы не имеем еще книг, которые походили бы на увлекательные лекции Ключевского или даже столь популярные в свое время костомаровские жизнеописания. Ведь не случайно вышедшая недавно монография Тарле о Наполеоне читается наравне с беллетристикой, а в иных аудиториях и обгоняет ее. Пока таких книг у нас немного, и некоторые произведения наших исторических романистов выполняют роль своеобразного „ersatz'а".

В „Казанской помещице" можно встретить целые страницы, которые суть не что иное, как конспективно-схематическое изложение исторических фактов, взятых в хронологической последовательности и известной взаимосвязи. Такова большая часть главы „Черная борода", заключающая в себе компактный пересказ действительной истории. Читатель получает ряд полезных сведений, но художественных образов, типических обобщений найти ему не удается. Иногда промелькнет красочный, яркий эпизод, переключающий повествование в плоскость художественного рассказа, и снова однообразное течение исторических фактов, событий, случаев.

В центральной главе „Черная борода", изображающей стан Пугачева, в одну кучу свалено столько событий и лиц, что теряется всякая четкость характера, сюжетное положение лишается напряженности и кульминационная сцена — предательство Пугачева его приспешниками — проходит вяло, без всякого драматизма. И только заключительные строки главы несколько повышают эмоциональный тонус рассказа.

„Под собственным наблюдением Суворов повез Пугачева степью. Двигались медленно. Путь освещали смоляными фонарями. Малый ростом, быстрый оглядом и словом дозирал неусыпно Суворов.

„Предваряя картину своего предстоящего эшафота, вознесенного высоко над толпой, Пугачев, далече видный, ехал в своей громадной звериной клетке, сооруженной на телеге о четырех колесах.

„В промежутки крепких жердей клетки сверкали под красным огнем факелов два черных с прожелтью глаза на исхудавшем нестрашном, обыкновенном казацком лице. И блестела застывшей смолью неподстриженная черная борода.

„Пленника окружал конвой из двух рот пехоты, двух сотен казаков и двух орудий, вывезенных из Яицкого городка".

На известном напряжении проходит сцена казни Пугачева (в киноповести эта же сцена пронизана гораздо большим драматизмом). Отдельные фигуры, Шешковский например, отлично удались писательнице. В одном-двух абзацах Форш запечатлела образ „первейшего в империи заплечных дел мастера". Здесь найдены такие детали, которые создают живой образ этого гнусного палача.

„По своему обычаю Шешковский ласково окликнул приведенного... Осведомился об его имени-отчестве. Засим, подойдя легко, шажочками, вдруг что силы поддал ему в нижнюю челюсть. Таково ловко умел поддавать, что свои зубы вместо ответа на пол сплевывал опрошенный. И кулачком-то двигал господским не дюже великим, а видать по какому-то заграничному способу был учен".

Но и на примере этого образа можно проследить справедливость нашего мнения о том, что собственно история часто оставляет записи в художественном отношении куда более яркие, нежели „сочиненные" картины наших беллетристов. И дело здесь не в том, что тот или иной историк субъективно одареннее писателя. Вопрос хотелось бы поставить глубже. Многие из современных исторических романистов не умеют нащупать самой характерной детали или частности для понимания описываемой среды, ее нравов. Мы это с посильной убедительностью старались показать выше. Это же убеждение подкрепляется и примером с Шешковским. Форш, повторяем, хорошо использовала образ, чтоб показать „стиль" палачества Галантное мордобитие — как хорошо изобличает этот штрих варварскую природу екатерининской империи!

Но вот в одном сборнике документов мы находим следующую запись о Шешковском: „Он производил допрос в комнате, установленной иконами, и во время стонов и раздирающих душу криков читал акафист сладчайшему Иисусу и божьей матери".[1]

Разве это не замечательный фрагмент к картине, которая в руках художника могла бы засверкать всем богатством красок.

В этом, как мы могли бы его назвать, „этюде к портрету" интересно то, что не-художник подметил в облике героя черты несравненно более важные и существенные, чем те, которые изобразила, например, Форш. Конечно, писательница свободна в выборе тех или иных деталей, и наши исторические параллели показывают лишь, как полезно художнику не только знать факты минувшего, но и уметь делать из них соответствующие выводы и обобщения. Как видел читатель, наши авторы чаще оказываются под пятой истории, чем поднимаются над историей.

Такое положение в сильной степени характерно для Форш как автора „Казанской помещицы" и в меньшей степени для нее же как автора киноповести „Пугачев".

IV

При сравнении двух произведений Форш радостно установить, что второе, сценарий, не является „отходом" первого — романа. Именно в сценарии образ Пугачева получился рельефным. Это характер и притом характер художественный, а не только исторический. Очень хорошо, что сейчас

[1] Восстание Емельяна Пугачева. Сборник документов. Л. 1935. Ср. также донесение П. Потемкина Екатерине о допросе Чики-Зарубина. „Красный архив", т. II—III, 1935, стр. 162.

Пугачев предстает перед читателем (а в скором будущем предстанет и перед сотнями тысяч зрителей) во всей сложности человеческих чувств. Противоречило бы исторической правде, если бы Пугачев был изображен вождем гуманным и рыцарски благородным по отношению к своим классовым врагам. А каковы были чувства современников из дворянского сословия к Пугачеву, отлично показывают знаменитые оды Сумарокова:

Сей варвар не щадил ни возраста ни пола:
Пес тако бешеный что встретит, то грызет;
Подобно так на луг из блатистого дола
Дракон шипя ползет.
. . . . . .

Рождена тварь сия на свет бессильной выдрой,
Но ядом напоясь, который рыжет Нил,
Сравняться он хотел со баснословной гидрой:
Явился крокодил.
. . . . . .

Убица сей, разив, тираня благородных,
Колико погубил отцев и матерей.
В замужество дает за ратников негодных
Почтенных дочерей.
. . . . . .

Но сколько всех сердцам ты, новый Разин, мерзок
Колико духом подл и мужеством ты мал,
И сколько страшен был, нежалостлив и дерзок
Толь сильно свержен стал.

Если отвлечься от некоторых смешных для нашего уха гипербол, то очень легко будет почувствовать, какой ненавистью было накалено русское дворянство по отношению к Пугачеву. Последний отвечал дворянству теми же чувствами. Поэтому, надо думать, дворянские романисты, рисуя Пугачева, избегали изображения каких бы то ни было положительных человеческих черт в его характере. Такая традиция властно давала себя чувствовать много десятилетий. Только величайшая человечность Пушкина, ясный взор гения позволили ему и в Пугачеве разглядеть большого человека. В последующей литературе глубокого и всестороннего раскрытия личности Пугачева не встречалось. Рассмотренные нами произведения не являются в этом отношении исключением. Вот почему радует попытка Форш в киноповести показать Пугачева с разных сторон: и как народного мстителя, и как отчаянного предводителя крестьянской вольницы, отразившего в себе всю неразвитость экономических и общественных отношений эпохи, и как друга и товарища. Благодаря этому, образ Пугачева получился более живым и жизненно-правдивым, чем в других произведениях известных нам современных авторов. С точки зрения художественности Форш хорошо поступила, окрасив некоторые сцены в лирические тона. До нее большинство вещей о Пугачеве было построено на одной низкой, гудящей ноте: злодейство — душегубство — кровавая расправа — животный разгул страстей.

Свидание Пугачева с Софьей в казанской тюрьме, его отношение к Курке и Филимону и любовь последних к своему предводителю — эти сцены отлично дополняют и видоизменяют в новом направлении традиционное представление о герое.

Курка вначале дается мелодраматически. Вообще, надо заметить, что вводные эпизоды (до „Дворца Пугачева в Берде", примерно) схематичны и, если можно так выразиться, хрестоматийны. Этим мы хотим подчеркнуть примитивную трафаретность и, вместе с тем, известную нарочитость в изобра-

жении ужасов крепостного права на первых страницах киноповести. Нагнетение злодейств Волоцкого происходит с такой поспешностью, что действие приобретает слишком тенденциозный (в плохом смысле этого слова) характер. Курка, являющийся одной из жертв Волоцкого, только к концу киноповести обретает художественное полнокровие. Образ этот интересен, потому что он представительствует в повести ту часть крестьянской массы, которая готова была итти на что угодно и под чьим угодно началом, лишь бы добиться освобождения от рабства.

„Пугачев вдруг оборачивается, сверлит глазами Курку:

„— Как веруешь: царь я рожденный аль казак простой?

„Курка, продолжая свою работу:

„— Если бы вы, батька, и не царь були, таку заваруху на всю империю подняли, що, сдается мини, вы дуже крепко себе воцарили".

Курка противостоит в сценарии всей той массе крестьянства, которая согласна была поддерживать Пугачева, пока он расправляется с помещиками в пределах одного уезда. Зловещей тупостью, страшным проявлением „идиотизма деревенской жизни" веет от некоторых эпизодов.

„Мужики, когда Пугачев вплотную к ним подъехал, остановили коней. Покорно приготовились слушать. Пугачев, видимо, сдерживая гнев, старается говорить спокойно:

„— Зачем уйти задумали? Ну, зачем?

„Мужики подталкивают старика, чтобы он говорил за всех:

„— Как, значит, своих помещиков мы по деревам развесили... а с тобой, батюшка, на своем уезде поработали, нам, значит, во свояси пора. Овражки у нас не скошены...

„Молодой мужик подхватывает речь старика:

„— Как поне вёдро стоит, хлеба молотить хорошо бы.

„Третий мужичок:

„— Свой уезд мы с тобой прошли, батюшка, а там — (указывая на переправу) — там, значит, не наш, там чужой уезд. Пусть тамошние за себя сами стараются...

„Пугачев дал волю гневу:

„— Тяжкозадые... Эх, пока будете каждый сам за себя — всем вам на шею старый аркан.

„Старик пугается, за ним и все:

„— Да мы что? Коль нельзя, мы не пойдем...

„Медленно поворачиваются назад вслед за Пугачевым. Курка, как пес за стадом, следит сзади, чтобы кто не отстал. Всех пытается загонять к переправе".

Здесь хорошо показана неустойчивость крестьянской массы в третий и последний период восстания. Жаль только, что Форш в одной-двух сценах не изобразила той силы, которую движение продолжало сохранять и после многих поражений Пугачева, составляя угрозу трону Екатерины. Ведь именно в этот третий период, когда Пугачев превратился в вождя жакерии, существование дворянской монархии было поставлено под вопрос. Пугачев хорошо понимал, что к нему „пристанет во всей России чернь" (Дубровин). Правительство знало это не хуже самого Пугачева и потому с такой лихорадочной быстротой принялось за ликвидацию „бунта". Лучшие воинские части и лучшие военачальники во главе с Суворовым были двинуты против Пугачева. И даже после принятия этих мер Екатерина и двор продолжали пребывать в состоянии панического страха. Вот как передает воспоминания современников об этом периоде историк:

„Половина империи, — писал один иностранный дипломат, — была объята паническим страхом, и дух мятежа, одушевлявший Пугачева, обуял остальных жителей страны. Пугачев был в нескольких переходах от Москвы, и двор собирался удалиться в Ригу". Турецкий пленник Мухамед Неджати Эффенди, находившийся в это время в России, свидетельствует в своих записках, что, когда Пугачев был близко к Москве, началось волнение и в новой столице — Петербурге — „на рынках и базарах", подобно тому как оно было в Москве".[1]

Растерянность и испуг правящих классов перед угрозой расправы со стороны возмутившегося крестьянства напрасно не нашли своего более яркого и пространного отражения в киноповести. Здесь автор мог бы легко дать несколько эпизодов, которые придали бы необходимую логическую и историческую завершенность всему произведению. Тогда иначе прозвучала бы и предпоследняя сцена свидания пленного Пугачева с графом Паниным:

„Вводят Пугачева в залу Панина.

„На руках и ногах у него оковы. Вокруг пояса железная цепь. Конец этой цепи сейчас держит конвойный.

„Панин подступает к Пугачеву:

„— Как смел ты мне противиться, со мной воевать?

„Пугачев с насмешкой:

„— Не обессудь, ваше сиятельство, коли пошел я супротив целой империи, довелось заодно и против тебя мне пойти.

„— Не смеешь, злодей, дерзновенничать. Погляди (широкий жест на дворян), кто перед тобой?

„Пугачев выпрямился, стал грозен, могуч. Гремя цепями, шагнул вперед.

„— А знаешь ли кто *за мной*? Весь народ.

„На площади нарастает грузный гул толпы. Панин замахнулся на Пугачева:

„— Изверги.

„На площади нарастает гул. Панин кричит:

„— Разогнать.

„Пугачев гордо, с большой силой:

„— *Не переказнить вам всех*".

Для самой Форш киноповесть поучительна во многих отношениях и в первую очередь в отношении языка. Даже если сделать необходимую поправку на то, что роль, место и функция, которую несет слово в киносценарии и в романе, различны, и при всем том язык в киноповести по сравнении с „Казанской помещицей" кажется нам значительно лучше. Язык „Пугачева" выгодно отличается своим реализмом, отсутствием нарочитой стилизации, что так заметно чувствуется в романе. Фон-Визин у Форш, как справедливо замечают, разговаривает куда замысловатее, чем герой его собственных комедий. Действительно, стоит взять в руки „Недоросля" или „Бригадира", чтобы в этом убедиться.

Из всех рассмотренных нами современных произведений о Пугачеве киноповесть является наиболее интересным. Жаль, что специфические условия жанра не позволили Форш развернуть широкое полотно исторического повествования. Но в границах избранного жанра писательница с предельной художественной выразительностью распорядилась материалом, обнаружив понимание весьма сложной исторической обстановки и дав верный и жизненно-правдивый образ вождя крестьянской революции, Емельяна Пугачева.

[1] Н. Фирсов. Пугачевщина.

АЛЕКСАНДР БЛОК

К ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

Летом 1920 года в Петрограде организовался союз поэтов. Ал. Блок был избран председателем его. 4 августа этого же года состоялся первый открытый вечер нового союза с участием С. Городецкого. Ал. Блок, в качестве председателя открыл вечер речью, вторая часть которой особенно знаменательна как последнее программное выступление поэта. Речь эта полностью печатается впервые.

П. М.

Сегодняшний вечер — первый вечер, устраиваемый только что сорганизовавшимся союзом поэтов. Петербургский союз поэтов есть отделение Всероссийского профессионального союза поэтов. Центр Всероссийского союза находится в Москве, председателем его состоит Валерий Брюсов, почетным председателем—А. В. Луначарский.

Двери нашего союза открыты для товарищей, желающих работать вместе с нами. Условия приема, выработанные в Москве, таковы: редакционная коллегия рассматривает книжку стихов не менее чем в пять печатных листов; такая книжка считается явным профессиональным признаком, благодаря которому коллегия может быть более снисходительной в оценке. Если же книжки нет, то в редакционную коллегию представляется не менее десяти стихотворений в рукописи или в печатном виде. В случае, если художественная ценность стихов признана, автор принимается в действительные члены союза, либо в члены-соревнователи.

У нас нет еще своего помещения, поэтому мы просим временно обращаться за справками письменно к секретарям союза Н. А. Павловичу и В. А. Рождественскому по адресу — Чернышева площадь, 2, помещение Вольной философской ассоциации, бывшее помещение Ком. Нар. Пр.

Привлечение товарищей, умеющих и желающих работать, нам очень желательно, потому что у нас, уже с самого начала, намечается довольно широкий круг работ культурно-просветительного характера, а именно — работа в районах, организация центрального клуба, издательство, устройство публичных выступлений в форме чтений или диспутов. О ряде таких выступлений мы в ближайшее время объявим.

После этих формальных и необходимых слов о союзе позвольте сказать несколько слов на другом языке. „Союз поэтов“ — не кажется ли вам немного диким такое сочетание слов? Оно действительно немного дико и неестественно, ибо, я думаю, присутствующие среди вас поэты знают, каждый

про себя, как трудно поэтам сорганизоваться. Сорганизоваться — значит ведь войти в мир, а иные из вас знают—и если бы узнали и остальные! — как трудно вообще художнику выйти в мир. Еще Пушкин сказал о поэте:

Бежит он дикий и суровый,
И страхов и смятенья полн,
На берега пустынных волн...

И вот — профессиональный союз. Мы не обольщаем себя особенными надеждами, зная, как художнику трудно выйти в мир. Может быть, это и будет „профессиональный союз", т. е. довольно внешнее в конце концов и необходимое в наши дни соединение—художники будут устраивать свой рабочий быт сообща с другими, потому что слишком трудно в такие дни жить одиноко. Будут стихи — плохие стихи и хорошие — и стихи, не связанные со стихиями, останутся стихами, как это бывало весьма часто, и не получится никакого нового устремления, а получится только облегчение внешней обстановки отдельных лиц, т. е. освобождение некоторого количества творческой энергии.

Пускай бы произошло и это, я повторяю, что художнику трудно проделать многое, что не-художнику легко. Но хотя мы не обольщаем себя большими надеждами, потому что очень разные типы художников вошли в наш союз,—все-таки мне хочется сказать, что некоторые из нас думают об иных возможностях. Иные из нас думают все же о каком-то новом устремлении, которое может превратить слово „союз поэтов" в некоторую реальность. Мы не хотим никого насиловать, слишком уважая индивидуальность отдельного творца, но, может быть, без насилия может образоваться у нас какое-то ядро, которое свяжет поэзию с жизнью хоть немного теснее, чем они были связаны до сих пор. Я говорю так потому, что великий вопрос о противоречии искусства и жизни существует искони, с тех пор, как возникло искусство, — и ясно, что этот великий вопрос не может не возникнуть с новой остротой и силой в великую эпоху, подобную нашей.

Вот только таким намеком я позволяю себе отвлечь ваше внимание от прямой цели сегодняшнего вечера, выступления С. Городецкого. Позвольте мне возвратиться к этому вечеру и сказать в заключение, что мы хотим верить, что не случайно, как раз в тот момент, когда мы начали организацию союза, возвратились в Петербург исконные петербуржцы — Сергей Городецкий и Ларисса Рейснер, и что мы имеем возможность начать свою открытую деятельность с их выступления. Мы давно их не слыхали и не знаем еще, какие они теперь, но хотим верить, что они не бьются беспомощно на поверхности жизни, где столько пестрого, бестолкового и темного, а что они прислушиваются к самому сердцу жизни, где бьется — пусть трудное, но стихийное, великое и живое, т. е. что они связаны с жизнью, а современная русская жизнь есть революция, есть стихия. Мы

знаем, что наши товарищи вошли в революционную эпоху каждый — своими путями, что они дышат воздухом современности, этим разраженным воздухом, пахнущим морем и будущим; настоящим и дышать почти невозможно, можно дышать только этим будущим. И, может быть, если бы все мы, с трепетом и верой в величие эпохи, приникли ближе к сердцу этой бурной стихии, осуществилось бы то, о чем думать сейчас трудно, и стихи бы стали стихийней, и союз наш стал бы не только профессиональным союзом, а союзом более реальным, глубоким и новым. Достижение этого зависит от всех нас и от тех товарищей, которые пожелают с нами работать.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

С. Тутолмина

Александр Блок приходится мне двоюродным братом: его отец, Александр Львович Блок, профессор Варшавского университета, был родным братом моей матери, а мать их, наша общая с Александром Блоком бабушка, редкий по душе человек, жила всегда у нас.

Александр Львович несколько раз в год приезжал из Варшавы к нам навещать свою мать и жил у нас по нескольку дней. Ясно помню его удивительно красивое лицо, немного напоминающее лицо Гейне, всегда грустные, куда-то устремленные глаза и тихий, красивый, но однотонный голос. Часто он садился за рояль и играл по памяти Шопена (любимый его композитор), а затем декламировал Мицкевича. По вечерам у него бывали длинные и грустные разговоры с бабушкой, после которых бабушка всегда плакала.

Мы с Александром Блоком (Сашурой) родились в одном году—1880-м. Когда нам исполнилось по семи лет, мы с ним затеяли переписку (его мать не бывала у нас, а он сам начал бывать уже значительно позже, с 1895 года, когда наша семья после долгого отсутствия опять поселилась в Петербурге). Переписывались мы и прозой и стихами. К сожалению, эта переписка у меня не сохранилась; помню только две строчки из одного его стихотворения:

„Ужин был у нас прекрасный
И кисель из клюквы красный".

С 1895 года Ал. Блок начинает навещать нас, сначала редко, а потом все чаще. Помню его в гимназическом мундирчике, тоненьким, с нежным румянцем, с чудными курчавыми волосами, когда он приходил поздравлять бабушку в различные праздничные дни. Он был всегда тихим, но не печальным; наоборот, от него всегда веяло каким-то душевным равновесием и ясностью. Когда он сделался студентом, а мы с сестрой одновременно кончили гимназию, мы стали чаще видеться с Сашей. По субботам у нас собиралась молодежь, по преимуществу студенческая (мой отец был тогда директором Электротехнического института), и у нас было много музыки, пения и декламации. В то время Ал. Блок увлекался Шекспиром и летом в имении Шахматово на ст. Подсолнечное играл Гамлета и Отелло вместе со своей будущей женой (Любовью Дмитриевной Менделеевой).

На наших вечеринках он любил декламировать монологи Гамлета, Отелло, а также Дон-Жуана (из пьесы А. Толстого). Кроме того, он прекрасно читал „Сумасшедшего" Апухтина, и я никогда с тех пор не слышала никого, кто бы читал это стихотворение так хорошо, как Ал. Блок.

Однажды Ал. Блок привел к нам своего товарища, Николая Васильевича Гуна, тоже студента университета, который с тех пор тоже часто стал бывать у нас. Он всегда казался мне загадочным: то веселый, то задумчивый, с ярким румянцем и с болезненно худым лицом. Он, кажется, увлекся моей старшей сестрой, а потом, в самом непродолжительном времени, застрелился. От него у нас сохранились записи в наших с сестрой альбомах. Ал. Блок тоже не раз писал нам в альбомы, но, к сожалению, не свои стихи. Мне он написал в 1898 году „Песню Дездемоны" собственного перевода, а в 1899 году—стихотворение Мея „Спишь ты, Ангел ночи веет над тобою". Свои стихотворения по нашей усиленной просьбе он иногда читал, но не придавал им большого значения, и наши похвалы его всегда радовали.

В 1900 году умерли одна за другой сначала наша бабушка, а потом и мама. Отец серьезно захворал и уехал для лечения в Ялту, куда в октябре 1901 года последовала за ним и я. Из Ялты я писала Ал Блоку и, между прочим, послала ему в письме огромную душистую розу. Он сейчас же ответил мне пространным письмом, описывал мне свое времяпрепровождение, настроение и в конце, как сейчас помню, прибавил: „а роза твоя великолепна, особенно посреди нашей унылой, грязной петербургской осени".

В 1902 году в наш дом вошла мачеха, вечеринки наши прекратились, мы переехали с нашим Электротехническим институтом на Аптекарский остров, и Ал. Блок понемногу перестал бывать у нас.

Встретились мы с ним уже через много лет—в 1916 году, когда я после длительного пребывания в разных краях России снова вернулась в Петербург.

Ал. Блок был в полном расцвете своего таланта, и хотя мне очень хотелось видеть его, но я не решалась быть назойливой и злоупотреблять нашим родством с ним и старой дружбой, тем более, что я слышала от всех, что он живет совершенно уединенно, избегает новых знакомств и, вообще, „не любит людей".

Но вот мы, по случайному совпадению, оказались однажды сидящими рядом в театре на представлении оперы „Кармен". Надо было видеть, с какой теплотой, сердечностью и простотой он, узнав меня, заговорил со мной. Он, видимо, был искренно рад видеть меня, и его интересовали все мелочи моей жизни. Вспоминали мы без конца прежнюю жизнь, старые встречи, отсутствующих. Меня поразило, как мало он переменился — тот же прежний милый Саша Блок. Очень может быть, что под влиянием детских и юношеских воспоминаний он оживился и действительно помолодел. Верно лишь то, что в следующую встречу мою с ним он совсем уже не показался мне таким молодым. Между прочим, когда я просила его притти ко мне, он мне прямо сказал с милой, доброй улыбкой: „Не сердись, Сонечка, я вряд ли приду к тебе, ведь я боюсь новых людей, я теперь дикий стал".

Конечно, я не стала настаивать. Новая встреча наша произошла 1 января 1916 года. В тот момент я собиралась вторично выходить замуж,

но в виду многих обстоятельств мы с мужем хотели устроить свою свадьбу самым конфиденциальным образом, потихоньку от всех многочисленных родных и знакомых, взяв только двух самых необходимых свидетелей, но зато самых близких нашей душе и из тех, которые умеют не болтать. После встречи с Ал. Блоком я решила пригласить его вторым свидетелем (первым был уже приглашен мой родной брат Н. Н. Качалов, горный инженер). С этой целью я написала записку Ал. Блоку, прося его назначить мне свидание у него на квартире с тем, чтобы мы могли с ним поговорить наедине. Я немедленно получила ответ: „Приходи в такой-то час и день, сделаю все так, чтобы нам никто не помешал".

Когда я пришла к нему в назначенное время, Ал. Блок сам открыл мне дверь и сказал, что в квартире, кроме нас, нет ни души. Он повел меня в свой кабинет, выходивший окнами на Пряжку, с удивительно красивым и неожиданно для меня широким видом.

Узнав, с чем я пришла к нему, он очень был доволен. Он радовался моему новому счастию, но больше всего, по-моему, ему понравилась конспиративность, безлюдность всего дела. Он сейчас же обещал приехать, когда нужно, в церковь и благодарил за доверие, ему оказанное. Затем мы около двух часов проговорили с ним. Всем известно настроение Блока в ту эпоху. Помню его фразу: „как можно быть счастливым, когда кругом такой ужас?" И когда я ему сказала, что оптимизм тем и хорош, что всегда верит в выход изо всех самых ужасных положений, он грустно сказал: „я что-то изверился". Между прочим, я рассказала ему, что недавно была у А. А. Каменской, председательницы Спб. теософского общества, и меня поразила обстановка ее приемной: все стены задрапированы какими-то голубыми с серебром тканями, в конце комнаты стоит стол, покрытый тоже голубой тканью, на столе стоят серебряные тройные канделябры,—вообще, во всем чувствуется симуляция красоты и какого-то нарочитого настроения. Между тем, подойдя к окну этой приемной, я увидела вывеску самой дрянной грязной мелочной лавчонки.

Ал. Блок с некоторым раздражением заметил: „Вечная глупость, искание красоты в каких-то искусственных внешних формах, а между тем красота всюду, во всех проявлениях повседневной жизни, надо только уметь найти ее. Ты думаешь, в этой вывеске мелочной лавчонки нет красоты? В ней гораздо больше красоты, чем в этих голубых тканях, потому что в ней жизнь и правда, а в голубых тканях — ложь".

Совершенно случайно, по болезни одного из моих ребят, наше таинственное венчание пришлось отложить, а за это время узнали о нем двое или трое из очень близких нам людей, и потому, когда Ал. Блок приехал в церковь, он был неприятно поражен, увидев еще несколько лишних человек. Он даже кротко упрекнул меня за это.

После венчания он сразу уехал к себе и ни за что не захотел принять участие в нашем маленьком ужине. После ужина я имела смелость сочинить стихотворное приветствие, подписанное всеми присутствующими, и мы с мужем, захватив целую охапку цветов, завезли все это Ал. Блоку на квартиру и передали ему через швейцара. Это было 15 января 1916 года.

На другой же день я получила от него письмо следующего содержания:

Дорогая Соня.

Спасибо тебе и Николаю Николаевичу за прекрасные цветы, тебе и Никсу за стихи, всем Вам за доброе ко мне чувство.

Сегодня меня мучает мысль, что я сделал вам неприятное своим вчерашним отказом: боюсь, что Вы, от чего боже сохрани, можете иногда думать, что я „горжусь" чем-то, или что-нибудь такое; потому хочу сказать тебе несколько объяснительных слов, которые ты прими своим добрым сердцем так же просто, как я их говорю.

Жизнь моя, по тысяче причин, так сложилась, что мне очень трудно быть с людьми, за исключением немногих, что я смотрю на жизнь, что называется, мрачно (хотя сам я не считаю своего взгляда мрачным), что я не чувствую связей родственных; я знаю при этом, что дело мое, которое я делаю (худо ли, хорошо ли, — я сам, как ты уже знаешь, вовсе недоволен собой), требует, чтобы я был именно таким, а не другим. Вот ты говоришь „брат", а я не умею ответить тебе так же горячо и искренно, потому что не чувствую этого слова. Так же — со многими другими словами. Я знаю и верю, что все вы — Качаловы — милые, добрые и хорошие, и что ко мне вы относитесь более, чем хорошо, но я не умею уяснить этого, несмотря на то, что мне приходилось сталкиваться с людьми просто очень дурными и злобными.

Не умею уяснить потому, что требую от жизни — или безмерного, чего она не дает, или уже ничего не требую. Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки, — ужас надолго непоправимый. Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина может быть на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.

Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы хороши они ни были; иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кощунственным диссонансом, потому что слишком черна, а в черноте своей величава окружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена между прочим в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия), где чорт говорит, что стыдно быть хорошим. Свет идет уже не от отдельных людей и не от отдельных добрых начинаний; мы вступили явственно в эпоху совсем новую, и новые людские отношения, понятия, мысли, образы пока еще в большинстве не поддаются определению.

Не люблю говорить о себе, повторять те готовые мысли и чувства, которые для меня давно уже — „дважды два — четыре"; но я чувствую потребность сказать это тебе, с которой мы так давно не встречались, так сказать, „через голову" всех условностей, несмотря на то, что мы думаем разно и чувствуем разно, что у нас различное воспитание и уклад жизни. Сказать для того, чтобы ты знала обо мне больше, чтобы ты не толковала превратно каких-нибудь поступков моих (лучше сказать, отказа

от поступков). Я хочу, чтобы ты сердцем знала, что если я упрямлюсь, дичусь, и т. д., — то это происходит не от дурных моих чувств к тебе и всем вам, а от строя моей души, которого я не могу изменить. Недоразумения между людьми всегда бывают, но пусть будет их меньше.

Желаю тебе, милая Соня, и Вам с Николаем Николаевичем вместе, всего, чего сами себе желаете, чтобы были вы счастливы, если только бывают на свете исключения в эту сторону; передай, пожалуйста, Никсу, когда его увидишь, мой поцелуй, а также то, что найдешь нужным из этого письма; если же тебе, или вам с ним, будет в нем что-нибудь неприятно, — то поверь, что я пишу не для неприятности, обращаюсь прямо к твоему доброму сердцу, и так добро, насколько сам умею.

Твой *Ал. Блок.*

Больше мы с Ал. Блоком не встречались...

БЛОК И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Д. Максимов

В той идейной эволюции Блока, которая в конце концов привела его к поэме „Двенадцать", империалистическая война сыграла большую роль. Она чрезвычайно обострила в нем критическое отношение к буржуазной действительности и, тем самым, явилась как бы последней подготовительной ступенью на его пути к Великой пролетарской революции.

Восприятие Блоком войны в общих чертах известно. Блок никогда не разделял шовинистского сумасшествия, охватившего с 1914 года буржуазных и дворянских писателей. В противоположность большинству своих товарищей по символизму он не пытался найти в войне какую бы то ни было сознательно поставленную, оправданную с точки зрения высших задач культуры цель. Война казалась ему неизбежным и трагическим событием, с которым он в первое время пытался даже примириться (стих. „Петроградское небо мутилось дождем"), но которое никогда не прославлял. Однако, ход событий заставил его вскоре не только осудить войну, но даже возненавидеть ее. Одно из первых высказываний его в этом смысле относится к 6 марта 1915 года в „Записной книжке" (см. запись там же на стр. 183; см. Письма к матери).

Но своеобразное отношение Блока к войне стало восприниматься как общественный факт еще раньше. Позицию, в которой очутился Блок в недавно еще близкой ему писательской среде, благодаря своим „пацифистским" настроениям, характеризуют публикуемые ниже три документа. Они доказывают, что уже с первых дней 1915 года в отношении к Блоку представителей буржуазной интеллигенции начинало сквозить то чисто классовое осуждение, которое после создания поэтом „Двенадцати" перешло в неприкрытую к нему злобу.

Одним из этих документов является письмо к Блоку С. К. Маковского, художественного критика и редактора журнала „Аполлон", где Блок числился постоянным сотрудником и напечатал не мало стихов. В этом письме Маковский заявлял о невозможности поместить в своем журнале одно из стихотворений Блока за „беспросветно-мрачный" тон, который, конечно, расходился с печатавшимися в „Аполлоне" „бодро-патриотическими" империалистическими стихами акмеистов. Совершенно ясно, что по получении такого письма Блок, в то время окруженный всеобщим литературным вниманием, имеющий возможность печататься в любых изданиях, уже не пытался продолжать свое сотрудничество в „Аполлоне".[1] Таким образом,

[1] Блок и раньше был склонен оценивать „Аполлон" довольно низко (см. его письма к матери 1909 г.).

письмо Маковского как бы оформило общественно-идеологический разрыв Блока с акмеистами.

Вот текст этого письма Маковского (подлинник — в архиве Блока):

7 января 1915 г.[1]

Многоуважаемый Александр Александрович, Вы знаете, как я люблю Ваши стихи и какою радостью для меня было бы напечатать присланное вами стихотворение[2] в первой же книжке 1915 года Аполлона... Но сделать это я все-таки не в силах: Ваши строфы по содержанию своему, беспросветно-мрачному, совершенно расходятся со всем „тоном" нашего литературного отдела. Мне думается, что Вы сами легко это заметите, познакомившись со стихотворениями, помещенными в №№ 6—10. Я сделал, правда, маленькое исключение для Вашего Рожденные в годá глухие,[3] потому что, повторяю, мне трудно отказаться от Вашей музы, которую я бесконечно люблю, но в данном случае моя редакторская совесть решительно восстает... и как мне ни грустно, я принужден (в первый раз) не печатать того, что, как поэзия, меня увлекает, но, как настроение на тему современности, мне представляется глубоко несправедливым, расходящимся со всем, что сейчас объединяет сотрудников Аполлона. Мы верим. Мы ждем. И грядущие дни озарены для нас всенародной и праведной победой...

Я надеюсь, что Вы разрешите мне сохранить Вашу рукопись на память и не будете гневаться на Аполлона.

Шлю вам привет от Михаила Леонидовича[4] и прошу верить в мою искреннюю преданность.

Ваш *Сергей Маковский.*

Два других документа представляют собой письмо Блоку писательницы, близкой к символистским кругам, жены Ф. Сологуба — Анастасии Ник. Чеботаревской и ответ на него Блока. Оба указанных письма касаются участия Блока в журнале Горького — „Летопись". Этот журнал, в котором, кроме Горького, сотрудничали различные группы социал-демократии, при всей своей нерешительности и эклектизме, был тогда единственным в России легальным органом, ведущим, хотя и в крайне осторожной форме, пропаганду против войны. Кроме того, этот журнал в первом же своем номере (вышел в декабре 1915 г.) в статье М. Горького „Две души" подверг резкой критике буржуазно-декадентскую культуру — ее индивидуализм, пессимизм, упадочный романтизм и т. п. Поэтому участие Блока в „Летописи", хотя и очень ограниченное, нельзя не расценивать как факт весьма знаменательный. Во всяком случае, реакция на этот факт со стороны шовинистически-настроенных писателей-символистов, Чеботаревской и, следовательно, в чем можно быть вполне уверенным, — и Сологуба, доказывает его значительность.

В конце декабря 1915 года Чеботаревская писала Блоку:

Дорогой Александр Александрович,[5] с удивлением увидели мы сегодня на обложке гадкого Горьковского журнала Ваше имя,[6] и я по свойственной мне экспансивности не могла удержаться, чтобы не написать Вам об этом.

Ведь это журнал, щеголяющий—в пределах цензурности (в первый раз в жизни я подумала, что не всегда она вредна!) — своим патриотизмом (попросту пораженчеством!), своей „вселенскостью", прикрывающий пустое место в груди, своим грубым и безответственным невежеством и оклеветыванием искусства, мечты, интуиции, творчества, всего того, что нам дорого — какою-то вымышленною нашими утилитаристами „реакционностью" „Востока", противополагаемою ими „деятельному" гедонисту — „Западу" (статья Горького!).[7] Их отношение к войне, их заигрывание с демократией (стихи Герасимова!)[8], их ученический восторг перед „Писаревым",[9] их самодовольство и тупость поистине изумительны в наши дни! На что уж „радикалка" Кускова — и та отказалась сотрудничать, ознакомившись с их политической платформой, которую они, повидимому, не открывают поэтам. Простите за мой возмущенный „залп",— я только написала Вам то, что знаю и чувствую.

А. Чеб.

Ответ Блока был такой (оригинал — в архиве Ан. Чеботаревской):

27 декабря 1915 г.

Многоуважаемая
Анастасия Николаевна.

Журнал Горького не производит на меня гадкого впечатления, я склонен относиться к нему очень серьезно. Вовсе не все мне там враждебно, а то, что враждебно, — стоющее и сильное. — Меня позвали в этот журнал как ремесленника,[10] а я люблю ремесло, и, в частности, то ремесло, которое мне дали, нахожу нужным и полезным. — Вы пишете, что журнал этот „против всего, что нам дорого", например — против „мечты". Я думаю, что Вы меня совсем не знаете; я ведь никогда не любил „мечты", а в лучшие свои времена, когда мне удается более или менее сказать свое, настоящее, — я даже ненавижу „мечту", предпочитаю ей самую серую действительность.

Во всяком случае, Вы заставили меня Вашим письмом многое передумать сызнова; за это спасибо.

Ал. Блок.

Досада Чеботаревской на Блока после его письма еще более возросла. Чеботаревская ответила Блоку длинным и негодующим письмом, в котором повторяла свои прежние нападки на „Летопись" и, главным образом, на Горького, дополнив их новым арсеналом ругательств.

Обычно сдержанный, Блок был, в свою очередь, глубоко возмущен этим письмом Чеботаревской. Горький, которого Блок в свое время защищал от обвинений Мережковского, говоря, что от них „душа горит", что возбуждаемому ими „негодованию... не должно быть пределов" (см. ст. Блока в „Золотом руне", 1907, № 5), в связи с чем смертельно, вплоть до вызова на дуэль, поссорился с Белым (см. мемуары Белого), Горький был для Блока символом, в известной мере, чуждой, но, вместе с тем, влекущей его к себе общественно-моральной стихии. Поэтому вполне

понятна надпись, сделанная Блоком на втором письме к нему Чеботаревской о „Летописи“:

„Сие получено 30/XII 1915 г. Нельзя так говорить об авторе Фомы Гордеева, Троих, На дне — недостойно. Не отвечу“.

И Блок, всегда корректный и вежливый, действительно не ответил Чеботаревской.

Таким образом, попытка Чеботаревской скомпрометировать в глазах Блока горьковский журнал не увенчалась успехом. Стихотворные переводы Блока с армянского, шведского и финского появились как в 1-м, так и во 2-м номере „Летописи“ 1916 года. Однако, сотрудничество Блока в журнале на этом и окончилось. „Летопись“, несмотря на его симпатию к ней, была для него все же „чужим журналом“ (см. „Дневник“ Блока, запись 7/III 1921 г.). Кроме того, в июле 1916 года Блок должен был уехать на фронт.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В подлиннике ошибочно стоит: 1914 г. Письмо написано на бланке „Аполлона“. На письме имеется пометка Блока: „Получ. 10 янв., отв. 12 янв.“.

2. О каком стихотворении пишет Маковский, установить не удалось. Есть некоторые основания предполагать, что речь шла о „Голосе из хора“.

3. Это стихотворение помещено в декабрьском, 10-м номере „Аполлона“ 1914 г. На фоне соседних с ним приветствующих войну стихов Гумилева, Ходасевича, Г. Иванова — оно также выглядит очень мрачным.

4. М. Л. Лозинский, поэт и переводчик, секретарь редакции „Аполлона“.

5. Письмо без даты. На почтовом штампе: 25/XII—1915 г. Оригинал письма — в архиве Блока.

6. Здесь Чеботаревская подразумевает объявление о подписке на „Летопись“ (см. в декабрьском номере). В этом объявлении в перечне авторов, произведения которых предназначены были к напечатанию в январской книжке, рядом с Брюсовым указано имя Блока.

7. Статья Горького — „Две души“, „Летопись“, 1915, декабрь.

8. М. П. Герасимов — поэт, впоследствии член „Кузницы“. В декабрьском номере „Летописи“ были напечатаны пять его стихотворений на военные темы.

9. В том же номере была помещена статья А. Пинкевича „Писарев и естествознание (к 75 летию со дня рождения)“.

10. Блок печатал в „Летописи“ не оригинальные стихи, а одни лишь стихотворные переводы.

Н. Степанов

ПИСЬМА А. А. БЛОКА К В. Я. БРЮСОВУ

Имена Блока и Брюсова связаны в первую очередь с историей русского символизма, в котором они бесспорно занимали основное, центральное место. Символизм сложился в эпоху вступления капитализма в империалистическую фазу своего развития. Эта литературная школа выражала противоречивость положения русской буржуазии, достигшей к началу XX века кульминационной точки своего могущества и в то же время уже смутно чувствовавшей свою историческую обреченность. Символизм мобилизовал вокруг буржуазии те кадры буржуазной интеллигенции, которые, связав свою судьбу с буржуазией, с испугом и враждой относились к нараставшему революционному движению и к пролетариату как основной движущей силе революции. В то же время отдельные представители этой буржуазной интеллигенции, в первую очередь Блок и Брюсов, уже тогда особенно остро ощущали свою социальную неполноценность и неразрешимость тех противоречий, которые стояли перед ними. Как, например, характерна запись в дневнике Брюсова, сделанная еще в 1898 г. и в сущности ставшая одним из основных мотивов всего последующего, дореволюционного творчества Брюсова: „Я устал, устал от всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню, где стонут тигры в глубоких долинах, или уснуть „последним сном".

Презрение к „страшному" мещанскому миру у Блока, так же как и „усталость" Брюсова являлись той трещиной, которая проходила между ними и буржуазным миром, трещиной, то сужавшейся, то углублявшейся в зависимости от дальнейшего движения событий, отражавшихся в колеблющемся и смятенном сознании буржуазной интеллигенции. Но в отличие от подавляющего большинства символистов Блок и Брюсов смогли в конечном итоге найти в себе силы и мужество к преодолению своего ухода от действительности, своей враждебной отграниченности от революции. Однако, как преодоление символизма, так и весь творческий путь каждого из них складывался совершенно по-особому, основан был на различных социальных и творческих предпосылках. Не только внутри символизма, но и по всему своему творческому облику, „типу поэта", Блок и Брюсов были и как поэты и как люди диаметрально противоположны. Вышедший из дворянской усадебной атмосферы, романтический мечтатель, неприемлющий „пошлости" мещанского „страшного" мира, Блок и умный представитель буржуазной интеллигенции Брюсов, поэт и ученый,— они сходились в своем стремлении противопоставить искусство, понятое ими как нечто „вечное", — окружающей их действительности. По существу же дела опустошенное, эстетизованное и мистическое искусство символистов выражало распад и гниение буржуазии эпохи империализма, ее обреченность, ее идейный и жизненный тупик. Это создавало ту противоречивость, ту внутреннюю сложность и беспокойство, которые пронизывают творчество Блока и Брюсова, в конечном итоге пришедших к отказу от символизма.

Именно это сложное и часто до конца неосознанное отношение к искусству, эти полные противоречий поиски „вечного", поглощавшие все творческое внимание Блока, являются подспудным, редко пробивающимся наружу, мотивом его писем к Брюсову. И не случайно, что его письма (да и вообще вся взаимная переписка Брюсова и Блока) почти исключительно ограничены темами искусства, стихов, живописи, театра. Лишь изредка вкрапливаются в письмах Блока бытовые и деловые события и факты. В значительной мере это ограничение переписки кругом литературных и издательских тем объясняется и той ролью, какую в эти годы играл Брюсов в литературе. Признанный вождь символизма, Брюсов был тем центром, в котором сходились организационные и издательские нити. Выдающийся поэт и теоретик, фактический редактор основных символистских изданий „Северных цветов" и „Весов" (а впоследствии руководитель литературного отдела „Русской мысли"), Брюсов в течение многих лет привлекал к себе вступавших в литературу поэтов, печатая их стихи, оценивал их в своих критических статьях и заметках (а также и письмах). Но при всем том ограничение переписки в основном литературными и издательско-редакционными вопросами до конца этим не объясняется. Литература и для Блока и для Брюсова казалась единственно важным, все остальное сознательно выключалось. Этим объясняется, что в письмах Блока к Брюсову не нашли своего выражения ни революция 1905 года, ни другие общественные события.

Основное значение писем Блока к Брюсову — в тех высказываниях о литературе и искусстве, в тех оценках, которые дает Блок произведениям Брюсова. Эти оценки чрезвычайно импрессионистичны и субъективны, но, тем не менее, они дают весьма существенный материал для характеристики литературных и эстетических взглядов Блока.

Значительный интерес представляет и другой круг тем, затронутых в письмах Блока,— его литературные дела, его издательские отношения, многочисленные факты, связанные с прохождением в печать его произведений. В этом отношении Брюсов являлся постоянным устроителем произведений Блока, ходатаем по его литературным делам. Участие Блока в „Северных цветах", в „Весах", в „Голосе Москвы", в „Русской мысли" и т. д.,— все это связано с деятельностью Брюсова, усиленно сплачивавшего ряды символистов.

Личное знакомство Блока с Брюсовым состоялось, по всей вероятности, в начале декабря 1902 года во время приезда Брюсова в Петербург. Поездка Блока в Москву в январе 1904 года еще более сблизила его с Брюсовым, хотя тесных личных отношений (таких, какие были у Блока с А. Белым, В. Ивановым, например) здесь не создалось.

В это время Блок еще только начинал свою поэтическую карьеру, только готовился к вступлению в литературу, а Брюсов являлся уже признанным мастером стиха и вождем нового направления. Стихи Брюсова привлекали внимание Блока еще задолго до знакомства с ним и начала переписки: „Вы давно влияете на меня вашими книгами (*не исключая* „Chef d'oeuvre" и „Me eum esse"), сообщал Блок в одном из своих писем к Брюсову. Преклонение перед стихами Брюсова относится к осени 1903 года, времени выхода наиболее зрелой книги стихов Брюсова „Urbi et orbi". Эта книга, по словам ближайшего друга и единомышленника Брюсова тех лет С. М. Соловьева, „нас обоих совершенно раздавила". Об этом впечатлении от „Vrbi et orbi" Блок подробно рассказал в своем письме к С. Соловьеву от 1 декабря 1903 года: „Брюсов мучает меня приблизительно с твоего отъезда, ибо тогда я стал читать его книгу... Начал писать тебе ночью,

вне себя от „Urbi et orbi“... О твоих стихах напишу тебе как-нибудь отдельно... Можно ли писать: „мальчик на город уж ввез сани с обмерзлой веревкой“. Ведь это уж написано в „U. et o.“. Не потерплю такой узурпации относительно Брюсова и отомщу тебе кинжалом — в свой час. Впрочем, надо полагать, что скоро сам напишу стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова“. Это же настроение, это же преклонение перед стихами Брюсова проходит и сквозь письма Блока к Брюсову 1903—1904 гг. Так, в ноябре 1903 года Блок пишет Брюсову о том, что он „каждый вечер читает „Urbi et orbi“, а в феврале 1904 года о том, что „Urbi et orbi“ все еще лишает меня возможности писать вполне собственные стихи“.

Чем же поразила Блока книга Брюсова, почему она оказала на него столь могущественное воздействие? Об этом подробно говорит сам Блок как в своих рецензиях на „Urbi et orbi“, так и в письме 1904 года к С. М. Соловьеву, в котором он писал: „Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу, однако, неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалиптизм Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к откровению) не освещены исключительно багрянцом, или исключительной белизной, как у Мережковских. Что он *смятеннее* их (*истинный безумец*...), наконец, что он без сомнения носит в себе *возможности* многого, которых Мережковский совсем не носит, ибо *большего* уже не скажет. Притом, мне кажется теперь, что Брюсов всех крупнее — и Мережковского!“ Увлечение Брюсовым приходится в пору „соловьевства“ Блока, его мистической и эсхатологической настроенности, его ожидания „конца мира“ и нового возрождения. Поэтому и Брюсов был им воспринят в этом мистическом апокалиптическом плане, как „смятенный“ бунтарь, „истинный безумец“, видящий мировую катастрофу, ожидание которой во многом определяло мировоззрение Блока этих лет.

Эсхатологические чаяния „конца мира“ являлись уродливым и мистически искаженным рефлексом, порождаемым в умах буржуазной интеллигенции надвигающейся атмосферой революции. В своей рецензии на „Urbi et orbi“ Блок писал: „Книга выведена в мир каким-то скрытым от нас пестротонным началом — стимулом ее переливчатого движения неумолчного звона“, „важнейшая черта“ книги по мнению Блока в том, что „*что-то начатое должно быть окончено мной без участия других*“. Блок пытается переосмыслить стихи Брюсова в своем идейном плане, связать их с мистическим „соловьевством“ (от которого они были очень далеки), подчеркивая, что „мы с радостью можем отметить соприкосновение идей Брюсова с центральной идеей Владимира Соловьева“. Однако Блок в то же время признает, что „душа поэта стремится из цепей воспоминания сквозь сумрак окружающих тайн... опять к тому же роднику кипучей жизни и труда“. В то сложное отношение к Брюсову, которое возникало у Блока, входило и стремление найти ответ на свои эсхатологические чаяния, и в то же время преклонение перед мастерством Брюсова, перед техникой его стиха и пристальное приглядывание к выходу Брюсова к реалистическим мотивам, к утверждению „кипучей жизни и труда“, той воли к жизни, которую определяет в свой рецензии Блок как „общий принцип книги“.

Влияние Брюсова сказалось и на творчестве Блока этого времени в таких отделах его книги, как „Перекрестки“ и „Ущерб“. Не только такие стихи, как „Ночная“ с эпиграфом из Брюсова, но и такие стихотворения 1904 года, как „Светлый сон, ты не обманешь“, „Дали слепы, дни беспечны“, „В час, когда пьянеют нарциссы“ и др., знаменовали уже отход от той мистической абстрактности, от того „соловьевства“, которое определяло „Стихи о Прекрасной Даме“. Освобождение от религиозно-мистических настроений и увлечений „соловьевством“ совершалось несомненно под воздействием Брюсова. В стихах Блока появляется бо́льшая кон-

кретность, появляется тот реальный мир, и прежде всего „Город“ (отдел „Город“ во втором томе), которые до сих пор в его стихах отсутствовали.

Отношение к Брюсову не остается у Блока неизменным, претерпевая значительную эволюцию. Если в 1903 году Блок, еще начинающий, почти непечатавшийся поэт, „не надеется“ „никогда“ „быть рядом“ с Брюсовым, то через год, в конце 1904 года, он писал С. М. Соловьеву: „Почему ты придаешь такое значение Брюсову? — Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь, „что прошло, то прошло“. Год минул как раз с тех пор, как „Urbi et orbi“ начало нас всех раздирать пополам. Но половинки склеиваются понемногу, раны залечиваются, хочешь другого“. Это охлаждение объясняется как тем, что стихи Брюсова плохо поддавались их „соловьевскому“ истолкованию, так и разностью поэтических, а во многом и идейных путей, которыми шли Блок и Брюсов.

Иным, более уравновешенным было отношение Брюсова к Блоку, отношение уже сложившегося художника, которому мистический идеализм Блока был в сущности очень далек. Брюсов еще в октябре 1902 года, до личного знакомства, выделил Блока из числа начинающих и „мелких“ писателей: „Всех этих мелких (Ремизов, Ященко, Койранские) интереснее, конечно, А. Блок, которого я лично не знаю“.

Однако, „соловьевство“ Блока было для Брюсова глубоко чуждо, чем и объясняется его заявление в том же 1902 году: „Он из мира Соловьевых. Он — не поэт“. Только несколькими годами позже, после „Нечаянной радости“ и „Балаганчика“, Брюсов окончательно „признал“ Блока, отмечая, что „сам А. Блок, повидимому, понял всю обманность прежних чар своей поэзии. В его стихах с каждым годом все меньше „блоковского“, и перед его читателями все яснее встает новый, просветленный образ поэта“ (рецензия на „Нечаянную радость“).

Различие творческих путей Блока и Брюсова и было одной из основных причин их известной отдаленности, того, что их отношения не перешли границу литературного знакомства, не стали в дальнейшем более близкими. Особенно отчетливо это разное понимание задач искусства сказалось в следующем эпизоде. Посылая в 1904 году Брюсову „Стихи о Прекрасной Даме“, Блок в своей надписи, посвященной Брюсову, назвал его „законодателем русского стиха“ и „Кормщиком в темном плаще“ к „путеводной зеленой звезде“. Брюсов в своем ответном письме отказывается от той мистико-пророческой роли, которую стремился ему приписать Блок, заявляя: „Не возлагайте на меня бремени, которое поднять не в силах. Принимаю только первую строку. Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова!“ В этом различном отношении к искусству, так же как и в различии рационалистического отношения к миру Брюсова и романтически-эмоционального Блока заложена была основа тех расхождений, которые неоднократно давали себя знать. Моменты таких литературных разногласий были довольно многочисленны. Сотрудничество Блока в 1904 году в конкурирующем с Брюсовским „Скорпионом“ издательстве „Гриф“, участие Блока в „Золотом руне“ после ухода оттуда Брюсова с рядом сотрудников, участие его в „Факелах“, сборниках „мистического анархизма“ Чулкова в 1907 году, — все это лишь внешние проявления того несогласия с Брюсовым, которое было у Блока. Но в то же время, еще в конце 1907 года, Блок в письме к Г. Чулкову заявляет, что „Брюсова я считал, считаю и буду считать своим ближайшим учителем — после Вл. Соловьева“, и в то же время ругает направление брюсовских „Весов“.

Это принципиальное расхождение с Брюсовым окончательно и с наибольшей ясностью сказалось в известной полемике Блока и Брюсова о задачах искусства и символизма в 1910 году. В 1910 году Блок выступил с докладом „О современном

состоянии русского символизма", в котором утверждал, что поэт должен быть теургом, тайновидцем, „обладателем тайного знания", сожалея, что символисты „были пророками, пожелали стать поэтами". Против этой мистической эстетики выступил Брюсов со своей статьей „О речи рабской", заявив, что „символизм" *„хотел быть и всегда был только искусством"*. В этой полемике как эзотерическое истолкование искусства у Блока, так и эстетизм и формализм Брюсова были равно ошибочны и односторонни. Борясь во имя „литературы" с мистическим назначением поэзии, Брюсов мог противопоставить ему лишь „чистую поэзию", „форму".

Творческие разногласия определили в значительной мере и то обстоятельство, что письма Блока к Брюсову с 1909—1910 гг. становятся почти исключительно деловыми, а самая переписка делается все более случайной и редкой, касаясь лишь тех литературных начинаний, организатором которых выступает Брюсов.

Самое „преодоление" символизма, осознание неизбежной гибели капиталистического мира и попытки выхода из круга господствующей буржуазной идеологии, сближавшие во многом Блока и Брюсова, шли также различными путями, осуществлялись каждым из них по-своему. Приход Блока к „Двенадцати", а Брюсова к коммунизму был длительным и трудным путем, в их переписке, к сожалению, не отмеченным.

Отношения Блока и Брюсова обследованы В. Гольцевым в его работе „Брюсов и Блок" („Печать и революция", кн. 4 и 5 за 1928 г.), материалы которой здесь использованы.

Письма А. А. Блока к В. Я. Брюсову печатаются здесь по автографам из архива В. Брюсова (некоторые были опубликованы в упомянутой выше работе В. Гольцева „Брюсов и Блок"). Текст писем подготовлен к печати И. М. Брюсовой.

●

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Каждый вечер я читаю „Urbi et orbi". [1] Так как в эту минуту одно из таких навечерий, я, несмотря на всю мою сдержанность, не могу вовсе умолкнуть.

Что же Вы еще сделаете после этого. Ничего или... У меня в голове груды стихов, но этих я никогда не предполагал возможными. Все, что я могу сделать (а делать что-нибудь необходимо), — это отказать себе в чести печататься в Вашем Альманахе, хотя Вы и позволили мне это. Быть рядом с Вами я не надеюсь никогда. [2] То, что Вам известно, не знаю, доступно ли кому-нибудь еще, и скоро ли будет доступно. Несмотря на всю излишность этого письма, я умолкаю только теперь.

Александр Блок.

26 ноября 1903.
Петербург.

6/XI 1904 С-П-Б.

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Ваши слова о моих стихах[3] останутся для меня навсегда очень важным фактом. Позвольте мне просто выразить Вам благодарность и обойти строгим молчанием то, что и для меня самого не совсем досказано.

Посвящение мое в Вашем экземпляре[4] было вызвано совершившимся, а не имеющим совершиться. Если бы я был в состоянии считать Вас „только художником в узком смысле слова", — я бы не написал, конечно, этого самого по себе некрасивого посвящения. В действительности же я был в праве, разве, умолчать о факте, который для меня ежедневно налицо. Но находящемуся „там, где весло", присуще видеть „кормщика" в том, кто „у кормила". В той неудачной и бледной рецензии о Вашей книге[5] в „Новом Пути" я пытался сблизить Вас с Вл. Соловьевым, но, кажется, это возможно будет лишь для будущего „историка литературы". Пока же я действовал на основании опыта, испытав по крайней мере *более*, чем литературное „водительство" Ваше и Вл. Соловьева на деле. Параллель моя больше, чем любопытна, она — о грядущем.

Глубоко преданный Вам

Александр Блок.

11 января 1906.

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Приношу Вам мою глубокую благодарность за Вашу книгу, которую я сейчас получил,[6] и за надпись, сделанную Вами на ней. Вы знаете, что я издавна люблю Вашу поэзию и многим обязан ей, как ученик. На этих днях я писал о „Венке" рецензию,[7] которая должна появиться в первой книжке „Золотого Руна". В этой рецензии, характера очень не критического, но лирического, я почувствовал невозможность писать всякие формальные слова и говорил только об одной стороне, которая начала определяться для меня еще до появления „Венка". По моему, поэзия „Венка", превосходя всю предыдущую Вашу поэзию, в отделе „Правда кумиров" особенно — возвращает вместе с тем к одной ноте Вашего сборника „Me eum esse" в отделе „Вечеровых песен"[8] — для меня самом близком и драгоценном.

Глубоко уважающий Вас *Александр Блок.*

Милостивый Государь.

Крайне извиняюсь перед Вами за поздний ответ: опоздать с ним меня заставила масса срочного дела.

Решаюсь остановиться на заглавии (для всего сборника моих стихов) „Нечаянная Радость" — по имени последнего отдела, наиболее важного по внутреннему смыслу.[9]

С истинным уважением

Александр Блок.

8/IV 1906.
СПБ.

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Спасибо еще и еще — за пленительную книгу Верхарна[10] и за надпись на ней. Теперь буду с любовью, шаг за шагом читать Ваши переводы; а когда они встречаются в журналах или газетах, — всегда читаются не так охотно, как оригинальные стихи: плохая бумага, два столбца, как в „Журнале для всех". Мне захотелось послать Вам просто так („для ознакомления") мою попытку перевода стихотворения из „Toute la Flandre",[11] кажется, некоторые места вышли недурно и близко к подлиннику, хотя и не имею понятия о законах свободного стиха, а из Верхарна знаю только одну книгу, да несколько строк из других, какие попадались в рецензиях.

В Вашей книге прочел „От издателей" и новый каталог „Скорпиона"; за то и за другое опять искренно Вас благодарю.

Глубокоуважающий
и искренно преданный Вам
Александр Блок.

5 июня 1906.
С. Шахматово.

(К письму приложен перевод из Э. Верхарна „Шаги" („В зимний вечер, когда запирались".)

Многоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич.

От всей души спасибо за книгу Вашу[12] и за надпись. Теперь я прочитал только то, чего не знал раньше — „Последних мучеников", „В зеркале" и „Мраморную головку".[13] Особенно среднее поразило меня неожиданно и ярко. Это — мистерия — отдельные, раздробленные „*пассии* зеркальности", связанные *психологической вязью*. Хочется сгруппировать свои мысли о Вашей прозе; я предложил „Золотому Руну" написать заметку о „Земной Оси",[14] „Земля" стоит для меня совсем отдельно — может быть, всех нужнее мне.

Искренно преданный Вам
Александр Блок.

26.XII. 1906.
СПБ.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Большое спасибо за Ваш двойной подарок Ландсберга и Жагадиса[15] — и за письмо. Стихи я пришлю непременно, когда напишу, а сейчас осталось все только „среднее". Мне было бы ужасно важно, чтобы „Незнакомка" пошла в апреле[16] — во всех отношениях важно. О „Земной Оси": я только что отослал длинную рецензию о ней в „Золотое Руно", по просьбе А. А. Курсинского,[17] который завален работой и не успел написать. „Неч. Радость" я уже послал Вам. Благодарю Вас за то, что Вы будете писать о ней.[18]

Искренно преданный Вам
Александр Блок.

20 января 1907.
СПБ

Дорогой Валерий Яковлевич.

Крепко жму Вашу руку за Ваш — такой драгоценный для меня — отзыв о „Нечаянной Радости". Особенно ценно для меня лично Ваше отношение к моей драме, и то, что Вы говорите о ней, я принимаю, как желанное для меня, то, чего я хочу достигнуть.[19] Понемногу учась драматической форме и еще очень плохо научившись прозаическому языку, я стараюсь все больше отдавать в стихи то, что им преимущественно свойственно — песню и лирику, и выражать в драме и прозе то, что прежде поневоле выражалось только в стихах. Однако „Неч. Радость" еще далеко не целиком проводит этот принцип равномерного распределения материала, и, конечно, поэтому я не сумел адэкватно воплотить в слова свои переживания.

Следующая моя книжка (которую все еще задерживает типография)[20] будет, кажется, цельнее, и отступлений от лирики в лирике, как это было со мной, — в ней уже меньше.

Ваши драгоценные для меня слова о „дне, а не ночи, красках, а не оттенках, полных звуках, а не криках"... я принимаю, как пожелания Ваши, и благодарю Вас за них со всей живой радостью.

Искренно Ваш

Александр Блок.

24. III. 07.
СПБ.

8. IV. 08.
СПБ.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Горячо благодарю Вас за второй том „Путей и Перепутий". Хочу писать об обоих томах, книгах, сыгравших такую большую роль для меня, и надеюсь написать в „Золотом Руне".

Ваш *Ал. Блок.*

2. X. 09, СПБ.
Галерная, 41, кв. 4.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Не знаю, в Москве ли Вы теперь, но все-таки хочу Вам писать. Я только что вернулся в Петербург из деревни,[21] где находился под постоянным обаянием третьего тома Ваших „Путей и Перепутий".[22] В Италии и в Германии, где я очень много увидел и многому научился,[23] постоянно звучали мне Ваши прежние стихи (не только венецианские или кельнские[24]) — и совсем по-новому. Здесь уже второй день читаю Ефроновского Пушкина, особенно Ваши статьи о „Домике в Коломне" и „Медном Всаднике".[25]

Посылал я Вам открытку из Флоренции, которая полюбилась мне меньше всего, что я видал. Любимыми местами стали Равенна, этрусские могилы, Умбрия (особенно Сполето и Перуджия) и Кельн. Венеция поместилась как-то на особом месте, даже почти вне Италии; ее можно любить примерно, как Петербург; как Петербург к России, так Венеция относится к Италии.[26]

Любимыми художниками стали Беллини, Фра Беато и несколько менее плодовитых — венецианской и умбрской школ. Впрочем, и Флорентийской, и сиенской. Да всего не перескажешь.

Хотя я и собирался в Равенну, но, может быть, не поехали бы туда, если бы Вы не соблазняли.[27] Чувствую, что прилагаемые стихи внушены не только Равенной, но и Вашей поэзией.[28] Потому прошу у Вас позволения посвятить их Вам, если они Вам понравятся. Я их люблю, несмотря на то, что море ушло от Classis'а, кажется, до Теодориха, а „Галла" и „Плакида" — одно лицо; но я не мог не посвятить двух строф царице, поныне властвующей над Равенной незримо. Думаю, что она походила на ту египетскую девушку, изображение которой хранится на доске в Александрийской комнате Флорентийского археологического музея. Впрочем, в уффициях есть картина Карло-Дольчи Плацидия с крестом. Но здесь она — более римлянка, а я думаю, что тип ее — греческий, и брови византийские — дугами, как у той египтянки. И была она именно Плакида, а не Плацидия.

Едва ли Равенна изменилась с тех пор, как Вы были там. Повидимому, она давно и бесповоротно умерла и даже не пытается гальванизироваться автомобилями и трамваями, как Флоренция. Это очень украшает ее — откровенное отсутствие людей и деловой муравьиной атмосферы.

Старый храм Аполлинарий в поле — in classe fuari ремонтируют с головы до ног. Пол снимают, и на глубине около полуаршина открывают куски мелкой римской мозаики, повидимому, IV века.

Совершенно понятно, почему Дант нашел пристанище в Равенне. Это город для отдыха и тихой смерти.

Преданный Вам

Александр Блок.

Здесь еще никого не видел. На днях свижусь с Мережковскими, которые уже здесь. Зима предстоит трудная.

А. Б.

Не будете ли Вы в Петербурге. Если да, я очень хочу видеть Вас.

А. Б.

Никол. ж. д. ст. Подсолнечная,
с. Шахматово.

3 сентября 1910 г.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Только на днях получил Ваше письмо и с удовольствием посылаю для „Русской Мысли" маленький цикл стихов (под заглавием „Страшный мир"). Как я мог до сих пор сотрудничать в „Русской Мысли", где преобладала политика и дамские психологические романы. Вся редакция состояла из людей, слишком для меня чужих.[29]

На Вашу статью в „Аполлоне" я могу ответить Вам по всем пунктам, но ведь не стоит затягивать печатные споры.[30] Такие статьи, по-моему, всегда роковым образом догматичны, а вписанные между их строками лич-

ные правды убедительны для постороннего читателя только один раз, когда он делает выбор между тем или иным мироотношением. И уже этот выбор — навеки.

Петербургского адреса у меня пока нет совсем, сколько проживу в деревне — не знаю. Потому прошу Вас, если что понадобится, писать мне сюда. Если можно, поместите стихи поскорее, потому что я думаю собрать новую книгу.

Преданный Вам

Александр Блок.

2. XI. 1915.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Сейчас говорили мы с Павлом Никитичем Маканционом,[31] он дал мне много ценных и интересных сведений и предложил несколько текстов; из которых я непременно возьму несколько. Думаю, пока, о Кучае и Исаакиане,[32] оба пленили меня.

Спасибо Вам за письмо, я очень рад принять участие в такой работе, но то стихотворение Териана,[33] действительно, оказалось ужасно мне не по душе; я и сейчас помню его отчетливо, и впечатление остается таким же. Думаю, что, когда увижу другие переводы из Териана, пойму, что именно меня отвращает от него; это очень меня интересует, тем более, что П. Н. считает Териана одним из лучших поэтов новой Армении.

Преданный Вам

Ал. Блок.

1 декабря 1915.

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот мой перевод тринадцати стихотворений Исаакиана. Если удастся что-нибудь дополнить, или исправить, я сделаю это в корректуре, которую, поэтому, особенно прошу прислать. Относительно одного стихотворения у меня есть недоумение (написано на полях рукописи). Павел Никитич далеко, может быть, можно попросить об этом Иоанну Матвеевну. Кстати, я вчера получил ее письмо и вчера же ей ответил.

Ценными и дружественными указаниями Павла Никитича я пользовался, как мог.

Стараясь держаться как можно ближе подлинника, я имел, однако, в виду, что рифма у Исаакиана занимает не первое место, поэтому или опускал ее, или добавлял от себя (впрочем, не часто); соблюдать аллитерации стремился, стараясь не пугать ими, памятуя, что поэт — крестьянин и пандухт.

Слово „джан“ не только сохранил, но еще и от себя прибавил кое-где; очень уж хорошее слово.— Обойтись без лишних слов, конечно, старался, но, к сожалению, не всегда мог обойтись без них [34]

Душевно преданный Вам

Александр Блок.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. „Urbi et orbi" — книга стихов В. Брюсова. Стихи 1900—1903 гг., К-во „Скорпион", вышла в конце 1903 года.

2. Огромное впечатление, произведенное книгой В. Брюсова „Urbi et orbi" на А. Блока, засвидетельствовано и в целом ряде других высказываний Блока и его мемуаристов. Книга потрясла не только Блока, но и весь круг символистов. А. Белый в своих воспоминаниях о Блоке говорит, что появление „Urbi et orbi" было встречено „как нечто необычайное" („Записки мечтателей", П., 1921, кн. VI, стр. 38). С. Соловьев, особенно близкий в это время с Блоком, свидетельствует, что „этой осенью (т. е. осенью 1903 года) нас обоих совершенно раздавила новая книга Брюсова „Urbi et orbi" („Письма А. Блока", Лигр., 1925, стр. 21). По выражению самого Блока Брюсов у него был в то время в „домашнем обиходе" (П. Перцов, „Ранний Блок" М., 1922, стр. 41. Альманах — „Северные цветы").

3. Ваши слова о моих стихах — Блок подразумевает здесь письмо к нему В. Брюсова, написанное в ответ на посылку книги „Стихи о Прекрасной Даме" в ноябре 1904 года, в которой Брюсов писал: „Примите мою благодарность за присланную Вами мне книгу стихов. Читаю ее с тем редким чувством, какое испытываешь, читая „настоящие стихи". Верьте, что во мне Вы имеете читателя, какого каждый автор желал бы иметь, — старающегося угадать недосказанное, от слов перейти к тому, что за ними, к душе поэта и ко всей бесконечности, которая за этой душой. Пишу без всякой излишней скромности, что не считаю себя вправе принять того слишком ответственного посвящения, какое я нашел на своем экземпляре. Не возлагайте на меня бремени, которое поднять я не в силах. Принимаю разве только первую строчку (посвящения Блока: „законодателю русского стиха". *Н. С.*). Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова, — все большее довершите Вы, молодые, младшие" („Печать и революция", 1928, кн. 4, стр. 42—43).

В этом письме Брюсов отвечает, главным образом, на надпись, сделанную Блоком на посланном ему экземпляре „Стихов о Прекрасной Даме".

4. Посвящение — надпись, сделанная А. Блоком на экземпляре „Стихов о Прекрасной Даме", посланном В. Брюсову:

Законодателю русского стиха,
Кормщику в темном плаще,
Путеводной зеленой Звезде,
Глубокоуважаемому
Валерию Яковлевичу Брюсову
В знак истинного преклонения.

5. В той неудачной и бледной рецензии о вашей книге.—Здесь Блок говорит о своей рецензии на книгу Брюсова „Urbi et orbi", помещенной в 7 номере „Нового пути" за 1904 год. В своей рецензии Блок, давая высокую положительную оценку книги Брюсова, считал, что „в ней и самые тонкие и мучительные вдохновения и мысли переданы простыми и отточенными словами", что она „представляет" „знаменательный литературный факт", так как „беспочвенное" „декадентство" Брюсова „осталось далеко позади". Однако, основным положением рецензии Блока являлось утверждение общности Брюсова с В. Соловьевым: „мы с радостью можем отметить соприкосновение идей Брюсова с центральной идеей стихов Владимира Соловьева... Одна и та же мечта о неведомой царице, открывающей порою лицо, сопутствует Соловьеву" и, по мнению Блока, Брюсову. От сближения эсхатологической и мистической философии Соловьева с рационалистической в основном книгой Брюсова Блок вскоре отказался и, будучи не удовлетворен своей рецензией в „Новом пути", написал вторую рецензию на „Urbi et orbi" для „Весов". Однако, Брюсов, являвшийся неофициальным редактором „Весов", не поместил этой рецензии, чтобы избежать упрека во взаимных восхвалениях.

6. Вашу книгу, которую я сейчас получил — „Στεφανος" Венок. Стихи 1903—1905 гг. К-во „Скорпион", М., 1906.

7. Рецензия о „Венке" — была напечатана в 1-м номере „Золотого руна" за 1906 г. В своей рецензии Блок давал довольно подробную, но импрессионистическую расшифровку образов и символов брюсовской книги, оценивая ее следующим образом: „Στεφανος" — не превосходит „Urbi et orbi", и удивление

перед поэзией Брюсова, выражавшееся стремительно при чтении „Urbi et orbi", теперь течет плавно в зеленых своих берегах. Я свободно оставляю за собой право тихого эстетического наслаждения — право давно узнавшего, что такое поэзия Брюсова. Но говорить и мерить вновь и вновь я обязан, потому что, в отношении „переживаний", новая книга наметила новые грани, еще по-новому заострила и оттенила давно прекрасное, страшное и знакомое. Потому я не в силах говорить о „новой книге стихов Валерия Брюсова", но хочу сказать по существу—о „Брюсовском", сказавшемся острей и настойчивей, чем прежде. Исходная формула, я думаю, очевидна для всех читателей Брюсова за последние года: это Любовь и Смерть".

8. „Правда вечная кумиров" и „Вечеровые песни" — отделы в сборнике В. Брюсова „Венок" „Me eum esse" — ранний сборник стихов Брюсова (М., 1893).

9. „Нечаянная радость" — книга стихов А. Блока за 1904—1905 гг. (М., 1906). „Внутренний смысл" этой книги был передан Блоком в предисловии, где он писал: „Нечаянная радость это мой образ грядущего". Этот образ „грядущего мира" раскрывался Блоком как лирическая тема его стихов, которую он передал в импрессионистских образах своего предисловия, закончившегося следующими словами: „слышно как зажигают моря и вопят карабельные сирены. Все мы потечем на мол, где зажглись сигнальные огни. Новой радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли".

10. Пленительная книга Верхарна — Э. Верхарн, „Стихи о современности" в переводе В. Брюсова, К-во „Скорпион", М., 1906. В своей рецензии об этой книге, помещенной в „Золотом руне" за 1906 г. № 7—9, Блок писал: „Есть два пути современной поэзии... Поэты, идущие по одному из них, грезят и пребывают в призрачных снах, встречаясь с житейским. Они как бы „не приемлют мира"... На другом пути поэзия открывает широкие объятия миру. Она приемлет это целиком... на этом пути стоит Верхарн—тот Верхарн, которого мы узнаем из первой книги его на русском языке".

11. Перевод стихотворения из „Toute la Flandre" — из книги Верхарна „Toute la Flandre" (Bruxelles, 1904) Блоком было переведено стихотворение „Шаги". По поводу этого перевода В. Брюсов писал Блоку, что перевод „местами очень хорош, но у Верхарна все гораздо проще. Как это ни странно, но Вы придали Верхарну манерность, одекадентили его" (письмо от 3/VIII 1906 г.).

12. Спасибо за книгу Вашу — книга В. Я. Брюсова „Земная ось", рассказы и драматические сцены. М., 1907. Книгоиздательство „Скорпион".

13. „Последние мученики", „В зеркале" и „Мраморная головка" — рассказы из книги Брюсова „Земная ось". Рассказ „В зеркале" (из архива психиатра), выделенный здесь Блоком, посвящен описанию патологического состояния, „перевоплощения" героини рассказа в зеркало, ее „жизни как обращения".

14. Заметка о „Земной оси" — рецензия А. Блока на книгу В. Брюсова „Земная ось" была напечатана в журнале „Золотое руно", 1907, № 1. В этой рецензии Блок, давая подобную характеристику книге Брюсова, писал: „Странная, поразительная, магическая книга. И все-таки необходимо сказать, что Брюсов-поэт только снизошел до прозы и взял у этой стихии неизмеримо меньше, чем у стихии поэзии". Выделяя из сборника драму „Земля", Блок отмечает: „Книга Валерия Брюсова оканчивается торжественным многоголосым гимном механическому миросозерцанию — драмой „Земля", в которой внезапно выступает то желанное очищение, которое одно только явно оправдывает до конца безумного аналитика, испытующего землю".

15. Ландсберг и Жагадис — книги, вышедшие в книгоиздательстве „Скорпион": Г. Ландсберг „Долой Гауптмана!" Перевод с немецкого М. Семенова. М., 1902, и Жагадис „Облака", Поэма в прозе, М., 1905.

16. Чтобы „Незнакомка" пошла в апреле — пьеса Блока, напечатанная впервые в журнале „Весы" 1907 г., №№ 5—7. „Незнакомка" предназначалась к постановке в театре В. Ф. Комиссаржевской, но не была осуществлена вследствие цензурного запрещения. На сцене была поставлена лишь в 1913 г.

17. А. А. Курсинский — секретарь редакции „Золотого руна", поэт-символист.

18. „Нечаянная радость" — второй сборник стихов А. Блока, вышедший в декабре 1906 г. в книгоиздательстве „Скорпион". В. Брюсов написал о ней рецензию в 2-м номере „Весов" за 1907 г.

19. В своем отзыве о „Нечаянной радости“ В Брюсов, между прочим, писал, что „в книге А. Блока радует ясный свет высокоднявшегося солнца, побеждает уверенность речи, обличающая художника, вполне сознавшего свою власть над словом“. В заключении рецензии Брюсов подчеркивает, что „А Блок скорее эпик, чем лирик, творчество его особенно полно выражается в двух формах: в драме и в песне. Его маленькие диалоги и его песни, сложенные от чужого лица, вызывают к жизни вереницу душ, которые уже кажутся нам близкими, знакомыми, дорогими. Перед нами создается новая вселенная, и мы верим, что увидим ее полную и богатую жизнь — ярко озаренной в следующей книге А. Блока“. А. Белый и С. Соловьев видели в „Нечаянной радости“ измену своим мистическим идеалам и отрицательно встретили эту книгу, Брюсов наоборот приветствовал в ней „новый просветленный образ поэта“, то, что Блок „как нам кажется поэт дня, а не ночи, поэт красок, а не оттенков, полных звуков, а не криков и не молчания“.

20. Следующая моя книжка — „Снежная маска“, вышедшая в апреле 1907 г.

21. Письмо написано по возвращении из Шахматово в Петербург, где провел Блок осень после летней поездки за границу.

22 „Третий том „Путей и перепутий“ — В. Брюсова. „Пути и перепутья“, Собрание стихов, том III. „Все напевы“ (стихи 1906—1909 гг.), М., 1909.

23. В середине апреля 1909 г. Блок уехал с женой за границу в Италию и Германию и возвратился оттуда в середине июня. За это время он побывал в Венеции, Флоренции, Равенне, Сиене и других городах Северной Италии, а затем совершил поездку по Рейну. Это путешествие Блока оказалось плодотворным и в поэтическом отношении. Ею был вдохновлен цикл „Итальянских стихов“ и ряд статей „Молнии искусства“.

24. Венецианские или кельнские стихи Брюсова — „Лев св. Марка“, „Венеция“, „Опять в Венеции“, „Помню вечер, помню лето“.

25. Статьи В Брюсова о „Домике в Коломне“ и „Медном всаднике“ помещены были в собрании сочинений Пушкина, издание Брокгауз-Ефрон, т. III.

26. Эти впечатления об Италии Блок передает в своих лирических статьях о ней. „Молнии искусства“, где повторена та же формула о Венеции, „которая еще не Италия, в сущности, а относится к Италии, как Петербург к России“. В своих письмах из Италии к матери Блок высказывает по существу те же мысли, что и в этом письме к Брюсову: „Всех дороже мне Равенна, признаю Милан как Берлин, проклинаю Флоренцию, люблю Сполето“ (от 19 июня н. с. 1909 г.). О посещении этрусских могил, произведших на него большое впечатление, Блок писал матери из Перуджии 29 мая 1909 г.

27. О совете Брюсова посетить Равенну и о впечатлении, произведенном ею на Блока, он писал матери из Флоренции 13 мая 1909 г.: „В Равенне мы были два дня. Это — глухая провинция, еще гораздо глуше, чем Венеция. Городишко спит крепко, и всюду — церкви и образа первых веков христианства. Равенна сохранила лучше всех городов раннее искусство — переход от Рима к Византии. И я очень рад, что нас туда послал Брюсов; мы видели могилу Данте, древние саркофаги, поразительные мозаики, дворец Теодорика“ (Письма к родным, т. I, Л., 1927, стр. 260—261).

28. „Равенна“ — первое стихотворение из цикла „Итальянских стихов“, напечатанных впервые в журнале „Аполлон“ за 1910 год. Текст, приложенный Блоком в этом письме к Брюсову, не разнится от напечатанного.

В „Снежной Ночи“ Блок снабдил это стихотворение следующим примечанием: „Плиты пола в подземелье под алтарем храма св. Аполлинария и в ротонде (короля отс-готов) Теодориха Великого (454—526) ушли в землю и постоянно покрыты водой; оттого низко стоящие мраморные саркофаги подергиваются нежной плесенью розовато-лилового и светлозеленого цвета. В Равенне и ее окрестностях покоятся прахи Теодориха, Данте и той, которая названа Галлой в четвертой строфе и Плакидой в пятой. Я позволил себе так грецизировать имя Галлы Плациды, лицо которой у некоторых художников похоже на лицо гречанки. Впрочем, да простит мне археолог мои личные мысли о знаменитой царице V века, сестре, супруге и матери римских императоров (Гонория, Констанция и Валентиана III), вдове вестготского вождя (Атаульфа). Многошумная судьба бросила эту страстную и властолюбивую женщину от позорной колесницы варвара на трон Западной Римской Империи, сердцем которой была пышная в те дни Равенна. Образ Галлы, с лицом то девически нежным, то твердым и жестоким, почти как лицо легионера, неоднократно вставал перед художниками, в том числе и русскими. Средневековое предание говорит, что она похоронена в сидячем по-

ложении; но ее высокий саркофаг, как и соседние с ним (сына и мужа) — пусты. — Лежащий на юго-восток от Равенны Classe был во времена Августа главной гаванью — portus Classis; но Адриатика давно уже отступила от этих берегов, и шумная некогда гавань состоит теперь из нескольких домиков и огромной полупустой базилики, с прахом св. мученика Аполлинария. Sanguis mortyris semen fidei tuae, Ravenna".

29. Цикл стихов „Страшный мир" — напечатан был в ноябрьской книге „Русской мысли", где с 1910 г. Брюсов стал руководить литературно-художественным отделом. С приходом в „Русскую мысль" Брюсова им были широко привлечены к сотрудничеству в ней символисты, что в известной мере изменило художественную физиономию журнала, о чем и говорит дальше в своем письме Блок.

30 Статья В. Брюсова в журнале „Аполлон" № 9 за 1909 г. „О речи рабской" была напечатана в ответ на доклад Вяч. Иванова „Заветы символизма" и содоклад Блока „О современном состоянии русского символизма", помещенные в номере 8 „Аполлона" за 1910 год. Вяч. Иванов (а вслед за ним и Блок) развивал положение о том, что символистская поэзия отражает двойную „тайну": мир явлений и мир сущностей. Поэт должен быть не только художником, но и „теургом", тайновидцем, в интуитивном вдохновении прозревающим этот мир сущностей. Назначение поэзии, по мнению Вяч. Иванова, теургично: „символизм не хотел и не мог быть „только искусством". Присоединяясь к этой идеологической концепции, Блок писал: „символист уже изначала теург, т. е. обладатель тайного знания", с сожалением отмечая, что и символисты и были „пророками", пожелали стать „поэтами". В. Брюсов, полемизируя с точкой зрения Вяч. Иванова и Блока, отстаивал искусство как таковое, „искусство для искусства", символизм как новые формы поэзии, указывая, что и „символизм хотел быть и всегда был только искусством".

31. П. Н. Маканцион — член редакционной комиссии по изданию сборника „Поэзия Армении", на которого редакцией был возложен выбор значительной части произведений.

32. Кучай и Исаакиан — армянские поэты. Блоком были переведены по заказу Брюсова, редактировавшего антологию „Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней" (М. 1916), двадцать стихотворений Аветика Исаакиана (несколько переводов было помещено также в „Сборнике армянской литературы" под ред. М. Горького, П., 1916). В письме к А. А. Измайлову Блок дал весьма положительную оценку поэзии Исаакиана, говоря о нем, что: „Поэт Исаакиан — первоклассный, может быть такого светлого и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет". Исаакиан (род. 1875) — видный армянский поэт. В своем дореволюционном творчестве он близко подошел к складу народной лирики, использовав ее мотивы и стиль. Другую сторону творчества Исаакиана представляют его лирические стихи, на которых сказалось влияние европейского и русского символизма. Блоком были переведены как народные песни, так и символистские стихи Исаакиана. В „Поэзии Армении" было помещено 13 переводов Блока из Исаакиана.

33. Териан (1885 — 1920) — известный армянский поэт, выступивший в своих первых стихах как ученик символистов, но после Октябрьской революции перестроивший свою поэзию.

34. Речь идет о переводах стихотворений Аветика Исаакиана, помещенных в антологии „Поэзия Армении". Слово „джан" (ласкательное название, означает „душа") Блок оставил без перевода в первом же стихотворении „Моей матери", где это слово повторяется как рефрен в конце стиха.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

К. Паустовский. Черное море. М. Детгиз, 1936 г., стр. 215 + 1, цена 5 руб.

Обычно Паустовского зачисляют по ведомству детской литературы, издает его Детгиз с маркой „для детей старшего возраста", но это плод явного недоразумения. С аналогичным успехом те же книги Паустовского издаются „Молодой гвардией" для юношества и Гослитиздатом для взрослого читателя. Книги этого писателя — вне возраста, как очень немногие хорошие книги. Сам Паустовский хорошо сказал на Всесоюзном совещании по детской литературе, заявив, что чувствует себя контрабандистом в этой области литературы и будет им до тех пор, пока не поймут, что существует и вневозрастная литература.

В научно-художественную литературу Паустовский пришел с мало известным, но значительным опытом новеллиста. Может быть, этим объясняется построение его научно-художественных книг, в которых он воскрешает научный роман. А именно романами, состоящими из циклов новелл, являются „Кара-Бугаз", „Колхида" и „Черное море". Даже новеллы, посвященные совершенно различным эпохам, как в „Кара-Бугазе", у Паустовского тесно связаны преемственностью действующих лиц и их работы. Лейтенант Жеребцов, открывший богатства Кара-Бугаза в середине прошлого века, на склоне лет встречается с сыном своего товарища.

Через 70 лет после Жеребцова этот человек попадает в Кара-Бугаз и там спасает группу советских граждан, высаженную деникинцами на мертвую скалу. С людьми, бывшими в этой группе смертников, через 10 лет встречается автор и т. д. Исторические этапы связываются живыми людьми.

„Колхида" и „Черное море" не историчны в той мере, как „Кара-Бугаз". Действие их протекает целиком в наши дни, и прошлое выступает только в воспоминаниях и на страницах старых книг, которые читают герои. В „Колхиде" судьбы героев еще теснее переплетены, еще крепче связь новелл, составляющих роман. Научная тема растворяется в жизни людей, для нее работающих, научный материал не вкраплен в ткань романа подобно инкрустации, а пропитывает ее. Они неразделимы. Но еще больше, чем в „Кара-Бугазе", здесь недостает основного элемента — единого действия, сквозного сюжета.

По всей центростремительности „Черного моря" эта книга чрезмерно многотемна. Метеорология, археология, биология моря, гидрология, история и теория литературы, альпинизм и водоснабжение, история революционного движения и пафос наших дней перемежаются на ее страницах. В ней рассказывается о предсказании погоды по облакам и об осеннем расцвете водной растительности, о древних монетах греческих колоний и о судах, разорванных намокшим горохом, о партизанах, засевших в Керченских каменоломнях, и о свечении морской воды, о гибели лейтенанта Шмидта и о древоточцах, о потоплении Черноморского флота в Новороссийской бухте, и о поэте Максимилиане Волошине, о проектировании новых городов и о писателе Александре Грине. Все эти события, темы и люди связаны с Черным морем и каждое из них характеризует его с какой-либо стороны. Но такое многообразие тем, не связанных между собою, становится утомительным, тем более, что книга начинает рассыпаться и не только на отдельные новеллы, но и на еще более мелкие части.

Отсутствие сюжета, сцепление отдельных новелл-очерков только личностью главного героя, объезжающего море и изучающего его, мстят за себя. Такие главы (или новеллы), как „Двойная весна", „Вода из света" и т. п., совершенно выпадают из развития действия, выпадают из книги. Единственное, что могло бы оправдать их наличие именно в данном месте, — логика постепенного познания разных сторон жизни моря — не раскрыта, а потому неубедительна, и ход ее непонятен.

С сожалением приходится отметить, что в „Черном море" грань между научным и прочим материалом иногда становится вполне явственна, порою даже чересчур ощутима. В отдельных главах научное содержание, например, биология моллюска „торедо" в главе „Ржавые корабельные гвозди", недостаточно образно и дано само по себе, выпадает из произведения, дробит его на отдельные разнохарактерные куски.

Возможно, что недостатки новой книги Паустовского объясняются поспешностью и недоработанностью, сыростью материала, еще не вполне освоенного писателем. Но мы полагаем, что есть и другая причина. „Черное море" — книга, во многих частях олитературенная, в ней больше литературно преломленных воспоминаний о жизни, чем ее живого дыхания. Недаром среди героев ее, кроме автора, фигурирует писатель Гарт — проекция покойного Александра Грина во вторую пятилетку, сам Грин, в ней масса выдержек из книг и мемуаров. Повидимому, „Черное море" знаменует в творчестве Паустовского рецидив литературщины, под знаком которой прошли первые годы творческого становления писателя. Хочется надеяться, что он сумеет преодолеть эту болезнь без особых осложнений и дать новые, лучшие книги.

Научное богатство книг Паустовского обычно ставит их в число лучших образцов научно-художественной литературы. Но „Черное море" — неудача писателя, о которой можно только пожалеть.

А. Экк.

Геннадий Фиш. „Ялгуба". Онежские рассказы. Изд. „Советский писатель", 1936.

Новелла издавна заимствовала сюжеты и образы из произведений устного творчества. Исторически новелла и выросла из шутливой народной песенки, распевавшейся менестрелями, бродячими певцами, на городских и сельских площадях в средние века. Великие новеллисты прошлого очень часто использовали в своих произведениях популярные мотивы народной поэзии, ходячие бытовые анекдоты, народные романтические легенды.

В советской литературе жанр фольклорной новеллы получает заслуженное распространение. Устное творчество народов нашей страны изобилует мотивами революционной героики, партизанского мужества, доблести колхозного труда, радости новой жизни. Нередко эти мотивы причудливо сочетаются с традиционными формами былинного песнетворчества с его живописной сказовой стилистикой.

„Ялгуба" отличается от других фольклорных циклов большим тематическим богатством. От мелкого бытового анекдота до большой батально-героической истории, — таков диапазон фольклорного материала „Ялгуба".

В памяти одного из героев „Ялгубы" Петра Петровича — знаменитого песенника и враля — гнездится множество шутливых народных сказаний и бытовых острот, рисующих и примитивизм, и богатство народных обычаев и поверий.

Но особый интерес представляют те произведения фольклорного типа, в которых отражена наша революционная современность.

Такова чудесная новелла „Ураза", где проведена параллель между религиозным фанатизмом узбеков, строивших в царское время Мурманскую дорогу, отказывавшихся от пищи, пока не придет темнота (а темнота не наступала в этой полярной пустыне!), и мужеством людей, прокладывавших Беломорско-Балтийский водный путь.

Такова целая серия новелл о легендарном карельском герое Ваньке-Каине (Иване Поспелове) — вожаке партизанских отрядов, действовавшем под самым носом у английских интервентов: в тот день, когда за его голову была назначена пятитысячная награда, он проник в английский штаб и поучал одураченных офицеров, как „поймать" Ваньку-Каина...

Таковы подлинные истории беззаветного геройства и храбрости Вернера Лехтимяки, поднявшего восстание в мурманском легионе, облегчившего Красной армии победу на севере России.

Таковы, наконец, эпизоды колхозного быта („Новая изба", „Записная книжка", „Обида"), отражающие заботу о человеке, изобилие колхозной жизни, героизм хранителей колхозного добра.

„Новая изба" — лучшая из новелл этого цикла. Тяжкие сомнения одолевают героя, не находящего в деревне своей старой избы: не изменила ли — думает он — жена, не переехала ли к другому, не прельстилась ли красотой и богатством одних, властью и авторитетом других? Сомнения эти разрешаются, когда жена рассказывает о том, как подожгли кулаки ее избу в то время, когда она стерегла колхозные хлеба, как не покинула она своего поста, как сгорели дотла все ее пожитки и как колхозники построили ей новую избу. Вся новелла выдержана в манере

непринужденного житейского сказа, подкупающего читателя своей искренностью и задушевной простотой.

Как видит читатель, своеобразие фольклорной новеллы Геннадия Фиша заключается не только в том, что она опирается на фольклорную сюжетику. Особенность ее также в том, что в ней воспроизведены приемы былинно-героического повествования, фольклорная лексика и стилистика; богатая живая народная речь. Новеллы пестрят множеством пословиц, частушек, оригинальных песенных рефренов.

„Откуда петь научился? — восклицает Петр Петрович, карельский сторожил.— От бездорожья! Карелу в глубину на своей спине хлеб тащить по сто верст приходилось, через болото, пороги там, потому, может, карел и кору ел".

Отсюда — песни нужды и горя, отсюда поговорки и присловия, отражающие отсталость, голод, нищету карельского народа до революции. Но есть и другие песни, другие пословицы и сказания. Они выражают новое революционное отношение народа к труду, к природе, к человеку. О партизанах говорили: „Хоть не ел, да будь смел". О кулаках: „Ложка в бане — не посуда, девка бабе не подруга, а кулак трудовому человеку враг". О батраках: „Имущество мое: на брюхо лег — спиной покрылся". О колхозном труде: „Слову вера, хлеба мера, а деньгам счет".

Циклы фольклорных новелл строятся обычно в плане их порядкового следования на канве географической или тематической. Геннадий Фиш пытается преодолеть эту традицию, сохраняя во всем цикле единое повествовательное течение и располагая новеллы кольцеобразно, как бы подражая композиции арабских сказок „Тысячи и одной ночи".

Следует сказать, что этот принцип лишь в отдельных местах удачно соблюден автором. При рассмотрении этого вопроса мы и обнаруживаем основную слабость всего цикла. Дело в том, что не всякая фольклорная запись, будучи зафиксирована писателем, представляет собой новеллу. Это явственно видно у многих наших новеллистов, где мы наряду с острыми и интересными рассказами находим много „отходов" — несозревших сюжетов, неуместных бытовых шуток и просто каламбуров. К числу таких в „Ялгубе" относятся „Девушка в поезде", „Кадриль на мосту", „А. И. Рыков", „Валенки сгорят", „Скот и Скотт" и др.

Свое собрание новелл автор „обрамляет" довольно примитивной фабулой поездки группы вымышленных людей (с писателем в том числе) в деревню Ялгуба и обратно; при этом немалую долю в книге занимают скучные автодорожные мытарства путешественников.

Высокий ценитель народного творчества, А. М. Горький дал достойную оценку циклу фольклорных новелл Геннадия Фиша. Молодой писатель, совершивший за последние годы около двадцати поездок по Карелии, посетивший десятки колхозов, районов, леспромхозов, погранчастей, познакомившийся с живыми представителями героического карельского народа, осваивающий образцы его устного творчества,— этот писатель делает большое полезное дело.

И. Эвентов.

М. Бронштейн. Солнечное вещество. Л., Детгиз. 1936 г., стр. 112+1, цена 2 р. 50 к.

Построение фундамента социалистической экономики нашей страны, индустриализация ее вызвали необычайный подъем интереса к технике не только у взрослого населения СССР, но и у ребят. Дети часто лучше большинства взрослых разбираются в марках автомобилей, понимают устройство тракторов и принципы работы гидроэнергетических станций. И наша детская литература откликнулась на этот интерес своего читателя появлением научно-художественных книг на технические темы. В первую очередь сюда относятся работы М. Ильина и Б. Житкова.

Интересен тот факт, что новая тема научно-художественной литературы возникла в новом обличии: научно-техническое содержание приняло форму не романа и не рассказа, а очерка. Из десятков маленьких очерков состоят историко-технические книги Ильина („Как автомобиль научился ходить", „Который час" и др.). Очерками являются технические рассказы Б. Житкова („Пароход" и др.). Можно назвать также целый ряд книг авторов, подражающих первым — Ивич („Приключения изобретений"), Дрожжин („Замечательные машины"), К. Меркульева и т. д.

Очерковую форму носят работы, посвященные вопросам прикладной физики, например, „100.000 почему" Ильина. Даже такую сложную научно-теоретическую тему, как открытие гелия, оказалось возможным подать детям в виде художественного очерка. Симптоматично, что этот очерк был сперва напечатан в альманахе „Год XVIII", т. е. дошел до взрослого читателя раньше, чем до детского, для которого он напи-

сан. И это сделано недаром — книга М. Бронштейна „Солнечное вещество“ одинаково интересна для всякого читателя.

„Герой“ этой книги — гелий, элемент, который был открыт вначале на солнце (отсюда и его название) и только потом был обнаружен на земле. История его открытия и поисков тесно связана со спектральным анализом, взвешиванием газов, с многочисленными опытами физиков и химиков. Бунзен и Кирхгоф, Рэлей и Рэмуей, Резерфорд и Крукс, вместе с десятками других ученых, — вот действующие лица этой истории. Место действия—десятки научных центров цивилизованных стран. Время действия — с конца восемнадцатого века по 1935 год. Огромная насыщенность научными фактами, историческое освещение проблемы, раскрытие процесса исследовательской работы со всеми его трудностями, препятствиями, успехами неудачами,—вот основные черты этой книги.

Никакими особыми секретами искусства, необычайными приемами, удивительными способами М. Бронштейн не владеет. Его книга написана предельно просто, понятно.

Строение сюжета, композиция книги, разбивка ее на главы определены фактами, этапами исторического процесса. Основной прием — новеллистическое построение каждой главы, описание каждого шага науки как драматического эпизода, с особыми конфликтам, с своей кульминацией и развязкой. Именно такое обращение с материалом, такое понимание его делает факты истории спектрального анализа не просто любопытными и занимательными, но увлекательными в самом высоком значении этого слова. Вместе с героями книги читатель ломает голову над затруднениями и преодолевает препятствия. Хотя герои лишены психологической характеристики, вместе с ними или за них он радуется успеху, горюет при неудаче и как бы участвует в сложном и трудном процессе исследования, воспитывающем уважение и интерес к науке.

Как драматический эпизод построена глава „Цветные сигналы“, в которой рассказывается об открытии Бунзеном разнообразной окраски пламени металлов. Так построена следующая глава — „Неудача“, посвященная сложности различения невооруженным глазом схожих цветов пламени разных элементов. И дальше все главы, без исключения, продолжают ту же линию новелл, переходящих одна в другую.

Стилистика М. Бронштейна тоже не блещет новыми неизведанными средствами, его эпитеты не отличаются особой изощренностью или неожиданностью, его синтаксис прост и обычен. Но это та трудная простота, о которой мечтают лучшие из наших художников. Чтобы не быть голословным, приведем цитату из описания воздушного боя под Парижем (глава 30):

„Однажды на рассвете английские сторожевые самолеты заметили в небе германский цеппелин, который плыл прямо на них, очевидно, направляясь к Парижу. О появлении цеппелина летчики немедленно донесли в штаб, и английская зенитная артиллерия встретила неприятельский воздушный корабль зажигательными снарядами.

Зажигательные снаряды — это самое верное средство истребления дирижаблей. Как только снаряд попадает в оболочку дирижабля, водород, которым наполнена оболочка, мгновенно вспыхивает, и дирижабль сгорает как солома. Из ста двадцати трех цеппелинов, построенных в Германии во время мировой войны, сорок погибло от зажигательных снарядов.

Но на этот раз цеппелин не сгорел. Снаряд пробил прорезиненную ткань оболочки и раненый дирижабль, медленно истекая газом, поплыл обратно“.

Характерная особенность научно-технического очерка—дробность его структуры, сложность, отражающая действительную практику научной и изобретательской работы. Раскрытие трудностей, стоявших на пути ученых и изобретателей, преодоление ими различных препятствий, историчность, показ преемственности научной работы, — основа такого очерка. Вот почему в нем большей частью нет основного образа, нет героя, а есть ряд людей, каждый из которых охарактеризован вынужденно скупо.

Основное художественное средство такого очерка — не система образов-характеров, а образная характеристика этапов научной работы, самого ее предмета. Сюжет такого научно-художественного очерка — история борьбы за познание истины.

Авторами научно-художественной литературы этого рода являются, главным образом, научные сотрудники, обладающие литературными дарованиями и овладевающие литературной техникой (М. Бронштейн — научный работник, М. Ильин — инженер), или же писатели, хорошо знакомые с разнообразными областями науки и техники. Создаваемые ими книги, в том числе и „Солнечное вещество“, книги большой художественной и познавательной ценности.

А. А.

Шервуд Андерсон. „История рассказчика". Пер. с американского Е. Романова. Предисловие Динамова. ГИХЛ. Москва. 1935 г., стр. 316.

Все новеллы Андерсона из сборников „Уиндсберг Охайо", „Триумф яйца", „Кони и люди" строились на скрытом трагизме одиноких и затравленных героев — застенчивых, угловатых, непризнанных окружающими. Героев, неопределенно мечтающих о лучшей жизни и косноязычных в выражении своих чувств и желаний. Эти желания и страсти никогда не воплощаются в сознательные, решающие поступки. Отношение к миру пассивно, бездейственно, скованно. Но ощущение неблагополучия и скрытого бунта, накопленное на всем протяжении их судьбы, наконец, внезапно прорывается в судорожном, нелепом, неврастеническом жесте, одновременно выдающем и искажающем истинное лицо героя. Эта трагедия людей больших, но подавленных страстей, отсутствующей воли и малого понимания действительности. Они обречены на существование в мире неумолимых фактов. Они сознают неблагополучие этого мира, но преодолеть его не могут и не смеют.

Они могут только бежать от него в мир иллюзий, но иллюзии на каждом шагу разбиваются действительностью.

Бегство — реально воплощенное или иносказательное—лежит во всей основе творческой концепции Андерсона. Оно—ключ к характерам всех его героев. В „Истории рассказчика" Андерсон прямо говорит об этом.

> „Мои собственные рассказы, рассказанные или нерассказанные, полны побегами. Ночью, по реке, в лодке с течью, побегами от создавшегося положения, побегами от скуки, от притязаний, от тяжеловесной серьезности мнимых художников. Какой писатель не бредит побегами. Они — воздух, которым мы дышим" (стр. 41).

Понятие „бегства" блестяще воплощает в себе основную особенность мироощущения лучших художников современного капиталистического Запада, осознавших неблагополучие и гибель своего мира, но еще не пришедших к революционному пониманию истории.

Только такое понимание спасает от бесцельного бегства „из ниоткуда в ничто" (новелла Андерсона), от бегства в непрочный и условный мир „иронии и жалости", к которому призывает Хемингуей в „Фиесте", от бегства в запутанные лабиринты подсознания у Джойса.

Ведь под знаком бегства стоит все творчество Хемингуейя, Ольдингтона, Селина, Фаллады и в известной мере даже Досс-Пассоса.

Андерсон, как Хемингуей, Ольдингтон и Досс-Пассос, тоже мастер отчаяния.

Его герои скованы отчаянием бесконечного однообразия, скудости и неизменности своей судьбы. Андерсон погружается в глубины этого замкнутого неблагополучия, лирически сопереживает его. Правда, обращение к героям бессилия и безнадежности продиктовано Андерсоном борьбой с розовой лакировкой действительности, столь характерной для рекламно продажной литературы Америки, поддерживающей в читателе наигранную бодрость.

В этом смелость и своеобразие Андерсона в его ранних вещах. Но смелое и плодотворное стремление уничтожить мнимое предписанное благополучие в американской литературе, стремление ближе, интимнее, человечнее подойти к своему герою в конце концов вырастают у Андерсона в болезненное коллекционирование людей, мимо которых проходит жизнь.

В „Истории рассказчика" мы находим преодоление этой установившейся было творческой ограниченности Андерсона.

Огромная жизнерадостность, оптимистичный юмор, свежесть и реалистическая полнота изображения, ясность отношения к миру и собственному творчеству отличают эту книгу.

Только с этим новым отношением к миру Андерсон мог так живо и увлекательно, с такой человеческой теплотой изобразить собственное детство и, главное, дать превосходный образ отца—беспечного неудачника, переходящего от одной профессии к другой, с неисчерпаемым авторским и актерским энтузиазмом выдумывающего и разыгрывающего перед благожелательными, доверчивыми слушателями грандиозные эпизоды своей мнимой, но всегда заманчивой биографии. Здесь юмор Андерсона достигает высоты и проницательности Диккенса (ср. образ отца с неунывающим многодетным Микобером из „Давида Копперфильда") и в особенности с Додэ („Тартарен из Тараскона").

Образ отца — первое звено, воплощающее первичный, самый примитивный и по Андерсону, в конце концов, самый опасный импульс к творчеству—желание заменить мир фактов миром фантазии.

Первый рассказ Андерсона, первый толчок к творчеству, по его собственному признанию, „возник из чувства неудовлетворенности своим отцом и из желания изобрести на его место другого".

Андерсона увлекает путь преодоления жизни волей фантазии, но он видит, как это приводит в творчестве к ослеплению и в конце концов даже к штампу, как это закрывает путь к настоящему реалистическому видению.

> „В том-то и вся чертовщина, что, желая верить в ложь, выкидываешь вон правду..."

говорит он по поводу одного из своих центральных героев писателя-футболиста. Творческая трагедия этого писателя — основная проблема книги. Этот герой начал с того, что хотел быть чемпионом футбола. Это ему не удалось, но желание было так сильно, что он написал увлекательный рассказ о футбольном чемпионе и этим обеспечил себе славу. Первый рассказ, сделанный в порыве искренности и по-настоящему талантливый, оказался в то же время и гибельным для творчества писателя. Его приговорили к пожизненному жанру оптимистического бодрого футболизма в литературе.

Спасения от этой угрозы Андерсон ищет в совершенно противоположном творческом импульсе — в страстном любопытстве к жизни других людей, в полном растворении себя в этой жизни.

Внимание к человеку, вживание в человека становится для Андерсона необходимым условием подлинного творчества. Отсюда полное отрицание надуманной интриги, условно героических образов и готовой морали, типичных для массово-журнальной литературы американских еженедельников.

„Подлинная история жизни есть не что иное, как история моментов", — утверждает Андерсон.

Зараженность жизнью других людей, лирическое проникновение в эмоции встречных героев, — вот тот второй импульс к творчеству, который породил лучшие новеллы Андерсона и которые он не устает пропагандировать на страницах своей „Истории рассказчика".

Но для Андерсона в рассмотрении различных стадий и путей творчества существует еще и третья стадия, в высшей степени важная для него. Это вопрос мастерства, вопрос словесного воплощения накопленного, прочувствованного и пережитого материала. Андерсон остро ощущает специфику своей работы, специфику честного, добросовестного, внимательного отношения к слову. Через всю книгу проходит лейтмотив отношения к творчеству как к искусству, как к результату старинной ремесленной культуры.

Этому высокому достоинству ремесла Андерсон противопоставляет стандартизацию, фордизм, машинную, фабричную механизацию капиталистического труда. Говоря о продажной литературе, утратившей чувство жизни и чувство слова, Андерсон говорит о механизации творчества, о фабрикантах романов, о трагедии художника, потерявшего свободу и самостоятельность зрения, подчиненного законам капиталистических рынков сбыта культуры.

В пафосе мастерства, проходящем через всю книгу Андерсона, нечего бояться узко-производственного отношения к задачам писателя. Человечность подхода Андерсона к своему материалу, чувство живого человека прежде всего спасает его и от раздробленного восприятия действительности у писателей последующего поколения, и от условности, и от чисто словесной экспериментальности.

Жанр творческой автобиографии оказался необычайно живым и актуальным для современной Америки. В этом смысле одинаково показательны и недавно опубликованная автобиография Марка Твена, и „Книга о себе" Дрейзера, и „История рассказчика" Андерсона.

В „Истории рассказчика" поражает необычайная свежесть жанра. Попутные новеллы, данные в книге, как неосуществленные замыслы подобны плодам, еще не сорванным с дерева. Они полны нерастраченной творческой энергии. В этой книге процесс производства как бы неотделим от результата. Мы видим не готовые вещи, а как бы материал авторского зрения, авторского размышления над ними. Автобиографический фон превращает все попутные образы книги в образы основные и иносказательные. Мысль автора осуществлена в этих неосуществленных новеллах яснее и полнее, чем в самостоятельных и отделившихся вещах. Потому что при всем многообразии как будто бы случайных и разрозненных образов автор решает для себя одну существенную и органическую проблему — проблему творческого и национального самоопределения.

> „Эта книга и по замыслу не должна быть изложением фактов, не в этом ее цель. Это просто записи впечатлений, собрание праздных мыслей, чаяний, идей, про-

носящихся в мозгу одного американца нашего времени".

„Возможно, что я не вложил и не вложу в эту книгу ни одной истины, с точки зрения общепринятых стандартов. Моя цель — не грешить против сущности вещей" (стр. 67).

Тамара Хмельницкая.

Рамон Дель Валье Инклан. Арена иберийского цирка. Том 1. Двор чудес. Перевод с испанского Б. Н. Загорского. Гослитиздат. М. 1936. Стр. 321.

Валье Инклан за последние сорок лет был самым спорным, самым необъяснимым из испанских писателей. Никто не вызывал ни такой ожесточенной полемики, ни таких противоречивых, порою диаметрально противоположных суждений. Защитник феодального дворянства, сторонник католических традиций, мистик и реакционер, карлист — по мнению одних, с точки зрения других он — анархист, взрывающий основы общества, революционер, идеи которого весьма опасны. Лучший знаток испанского языка и лучший стилист, владеющий всеми богатствами и всеми тайнами речи, „величайший мастер литературного возрождения Испании", по мнению многих, он не был допущен в испанскую Академию, как „дерзкий варвар, грубый мужик, засоряющий испанский язык", как писатель, „прославившийся неизвестно почему" (официальное заявление секретаря Академии сеньора Котарело).

Начало литературной деятельности Валье Инклана относится к концу прошлого века, к периоду роковой испано-американской войны, приведшей Испанию к экономическому и идейному краху. Один из основных деятелей „поколения катастрофы", Валье Инклан не пошел с той частью его, которая требовала отказа от традиций символического разрушения Пиренеев для большого контакта с Европой. Валье Инклан видел причину гибели в либеральных течениях, якобы развративших Испанию, и искал утешения в „добром старом времени", в феодальных правах, дававших возможность „доброму" королю радеть о своих подданных. Понимая, что возврат к прошлому невозможен, и не приемля настоящего, Валье Инклан аристократически презирает современную Испанию, отказывается от какой бы то ни было активной роли в ней, уходит в преслювутую „башню из слоновой кости", куда не проникает ненавистное поэту „мещанство". Отсюда заслуженные упреки в консерватизме, в реакционности.

Однако, писатель резко изменил свои политические взгляды в период диктатуры Примо де Риверы, заставившей не одного испанского писателя уйти с общественной арены в литературное кафе или вовсе замолчать. Валье Инклан заговорил особенно громко, особенно властно. К этому именно периоду относится уже известный советскому читателю его роман „Тиран Байдерас", резкий и весьма прозрачно завуалированный памфлет на испанского короля, теперь уже не существующего, но в то время еще достаточно сильного, чтобы проявить свое могущество по отношению к „зарвавшемуся" писателю.

К этому же периоду относится и „Двор чудес", написанный в 1927 году, в самый разгар диктатуры и представляющий собой первый этап задуманного, но незаконченного автором цикла исторических романов.

„Двор чудес" посвящен событиям, вернее интригам, предшествовавшим сентябрьской революции 1868 г. В центре его стоит королева Исабель II, бездарная кукла, которой вертит придворная камарилья и именем которой герцог Нарваэс и его единомышленники делают все, что им вздумается. Однако, понимая служебную роль этой „базарной торговки", суеверной, вздорной и развратной, автор уделяет основное внимание не ей, а реально действующим лицам. Гротескными, яркими и злыми чертами он рисует знатную челядь, двор, состоящий из интриганов, развратников, проходимцев, маленькие честолюбия и большие преступления которых определяют на данном историческом этапе судьбу страны.

Рядом с этой высокопоставленной группой Валье Инклан изображает и „низы", крестьянство, вынужденное заниматься разбоем, чтоб не умереть с голоду в богатейших латифундиях, которые они обрабатывают. Рядом с паразитирующей дворцовой камарильей и с бесплодно разглагольствующими „либералами" крестьяне у Валье Инглана приобретают характер единственной реальной в классовой борьбе силы. И, если крестьяне пока еще бездействуют, вернее, действуют вразброд, поодиночке, грабя и воруя, то их ближайшее будущее рисуется автором весьма недвусмысленно — это революционная борьба.

На чьей стороне симпатии автора, совершенно ясно, его отношение к правящим кругам и в частности к династии

(не надо забывать, что королева Исабель, героиня романа, родная бабка Альфонса XIII, сидевшего на престоле в дни выхода романа), тоже не вызывает сомнений.

Все общественно-политические выступления Валье Инклана последних лет говорят об его искреннем и решительном разрыве с буржуазной литературой и с буржуазией. Достаточно назвать только несколько фактов: в 1933 г. Валье Инклан председатель „Ассоциации друзей СССР" и делегат в международный антивоенный комитет. Во время октябрьских боев 1934 г. он открыто становится на защиту революции, в следующем году выступает на митингах, требует освобождения приговоренных к смертной казни рабочих, предоставления независимости Каталонии, баскам и другим национальным меньшинствам. Наконец, за несколько месяцев до смерти он избирается членом секретариата международной ассоциации писателей в защиту культуры.

Перевод романа Валье Инклана на русский язык, как и дальнейшее ознакомление советского читателя с творчеством этого замечательного писателя явление, несомненно, положительное. Вызывает серьезные сомнения только перевод, в котором роман этот издан и который говорит о формалистическом подходе переводчика и редактора к своей задаче.

Передача сложности языка, лексики и синтаксиса Валье Инклана, правда, под силу только высококвалифицированному работнику и требует исключительного умения и исключительного внимания. Свойственная испанскому языку патетичность и образность, своеобразие синтаксических конструкций и словесных узоров всегда грозят в буквальном переводе превратиться в ходульность, в нарочитость, в трюкачество. В непонимании этого — основной грех переводчика, текст которого звучит всегда тяжело, часто нелепо и комично.

Вряд ли не комический эффект вызовут фразы вроде таких (их можно привести десятки): „Дон Аделардо Лопес де Айала распускал перед дамой хвост голенастого кочета. Как великолепны были арабески его лирических кукуреку, как он чертил крылом!.." „Сквозь большие окна струился лунный свет и некроматический лай собак нарушал голубой ноктюрн кузнечиков и светляков" и т. д. и т. д.

И рядом с этим испанцы выражаются такими „истинно испанскими" выражениями, как „ни бе, ни ме", „дело-табак", „ни пуха, ни пера", „задам перцу", и такими не менее специфическими для испанской речи (хотя бы и крестьянской) словечками, как „слягавил", „кумекаю", „затакарил"... Если у автора маркиз говорит своему юному другу „откажись от мысли соблазнить крестьянку", то у переводчика это принимает такой вид: „Откажись от мысли задрать копыта (!) деревенской девке".

Книга потребует от читателя немало усердия и труда, чтоб быть прочитанной до конца. Но хуже всего то, что этот труд и это усердие не будут вознаграждены: читатель узнает не подлинное лицо автора, а его изображение в кривом зеркале.

Д. Выгодский

Ответственный редактор *М. А. Орлов.*
Редакционная коллегия: *Н. Л. Браун, Е. С. Добин, М. Э. Козаков, А. А. Прокофьев, Н. Г. Свирин, Д. Е. Тамарченко, Ю. Н. Тынянов.*
Технический редактор *Н. Дембо.*

Адрес редакции: Ленинград „131", проспект 25 Октября, 28, 3 этаж, комната 48, тел-фон 4-90-45.

Тираж 15000 экз. Сдано в набор 31/VII 1936 г. Подписано к печати 21/VIII 1936 г. Бумага печ. 62×94¼₁₆. Колич. печ. знак. в 1 печ. л. 61.600. Печ. л. 15½, бум. л. 7¾, авг. лист. 20.5. Ленгорлит 15700. Заказ № 4698.

2-я типография Трансжелдориздата им. Лоханкова.—Ленинград. Ул. Правды, 15.

ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
114	1 св.	героический	георгиевский
136	9 сн.	красноармейцы	красногвардейцы
136	18 сн.	красноарм.ейцы	красногвардейцы
161	1 св.	»чуткий,	»четкий,
163	4 св.	»революционными	»революционными«
164	19 сн.	упалектизм—	диалектизм—
180	17 св.	Убица	Убийца

Лит. Совр. № 9

(не надо забывать, что королева Исабель, героиня романа, родная бабка Альфонса XIII, сидевшего на престоле в дни выхода романа), тоже не вызывает сомнений.

Все общественно-политические выступления Валье Инклана последних лет говорят об его искреннем и решительном разрыве с буржуазной литературой и с буржуазией. Достаточно назвать только несколько фактов: в 1933 г. Валье Инклан председатель „Ассоциации друзей СССР“ и делегат в международный антивоенный комитет. Во время октябрьских боев 1934 г. он открыто становится на защиту революции, в следующем году выступает на митингах, требует освобождения приговоренных к смертной
ния незави
другим н
Наконец, з
он избир
междунар
в защиту

Перево
русский я
комление
чеством э
явление, н
зывает се
вод, в ко
торый г
подходе
к своей

Переда
и синтаксиса Валье Инклана, правда,
под силу только высококвалифицированному работнику и требует исключительного умения и исключительного внимания. Свойственная испанскому языку патетичность и образность, своеобразие синтаксических конструкций и словесных узоров всегда грозят в буквальном переводе превратиться в ходульность, в нарочитость, в трюкачество. В непонимании этого — основной грех переводчика, текст которого звучит всегда тяжело, часто нелепо и комично.

Вряд ли не комический эффект вызовут фразы вроде таких (их можно привести десятки): „Дон Аделардо Лопес де Айала распускал перед дамой хвост голенастого кочета. Как великолепны были арабески его лирических кукуреку, как он чертил крылом!..“ „Сквозь большие окна струился лунный свет и некроматический лай собак нарушал голубой ноктюрн кузнечиков
награждены: читатель узнает не подлинное лицо автора, а его изображение в кривом зеркале.

Д. Выгодский

В пути

Ответственный редактор *М. А. Орлов.*
Редакционная коллегия: *Н. Л. Браун, Е. С. Добин, М. Э. Козаков, А. А. Прокофьев, Н. Г. Свирин, Д. Е. Тамарченко, Ю. Н. Тынянов.*
Технический редактор *Н. Дембо.*

Адрес редакции: Ленинград „134“, проспект 25 Октября, 28, 3 этаж, комната 48, тел-фон 4-90-45.

Тираж 15000 экз. Сдано в набор 31/VII 1936 г. Подписано к печати 21/VIII 1936 г. Бумага печ. 62×94¹/₁₆. Колич. печ. знак. в 1 печ. л. 61.600. Печ. л. 15¹/₂, бум. л. 7³/₄, авг. лист. 20.5. Ленгорлит 15700. Заказ № 4698.

2-я типография Трансжелдориздата им. Лоханкова.—Ленинград. Ул. Правды, 15.

Цена 2 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЧИТАЙТЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
Орган Союза Советских писателей

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на год (12 №№)—
24 руб., на полгода — 12 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ,
МАГАЗИНАМИ, КИОСКАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
КОГИЗ'а, СОЮЗПЕЧАТЬЮ И ВСЮДУ НА ПОЧТЕ

СПЕШИТЕ СДАТЬ ПОДПИСКУ НА 1936 ГОД

Помните, что только своевременной сдачей подписки вы можете обеспечить аккуратное
получение журнала на весь срок подписки